

18+

Э Д У А Р Д
В Е Р К И Н



О С Т Р О В
С А Х А Л И Н

Р О М А Н

Annotation

«Остров Сахалин» – это и парафраз Чехова, которого Эдуард Веркин трепетно читит, и великолепный постапокалипсис, и отличный приключенческий роман, от которого невозможно оторваться, и нежная история любви, и грустная повесть об утраченной надежде. Книга не оставит равнодушными ни знатоков классической литературы, ни любителей Станислава Лема и братьев Стругацких. В ней есть приключения, экшн, непредсказуемые повороты сюжета, но есть и сложные футурологические конструкции, и философские рассуждения, и, разумеется, грустная, как и все настоящее, история подлинной любви.

- [Эдуард Веркин](#)
 -
 - [Итуруп](#)
 - [Монерон](#)
 - [Холмск](#)
 - [Показания Артема](#)
 - [Углегорск](#)
 - [Александровск](#)
 - [Тымь](#)
 - [Поронай](#)
 - [Показания Артема](#)
 - [Гастелло – Долинск](#)
 - [Южный](#)
 - [Ловецкий перевал](#)
 - [Невельск](#)
 - [Горнозаводск](#)
 - [Показания Артема](#)
 - [Крильон](#)
 - [Деусу](#)
 - [Эпилог](#)
-

Эдуард Веркин
Остров Сахалин

*Милая моя девочка,
за воротами райского
сада еще жив единорог,
ты же знаешь, ты
знаешь.*

Сиро Синкай

Итуруп

Пожалуй, слишком.

Фамильный макинтош выцвел именно из темно-темно-зеленого. С неожиданными красными прожилками и редкими золотыми блестками, будто под промасленным сафьяном выросла прозрачная плоть и стало можно смотреться в ее глубину. Во времена непоседливых молодых богов такие плащи шили из верхних век бестолковых драконов, выдубленных в крови стойких македонских всадников, высоленных в слезах спартанских женщин, эти плащи меняли на чистые сапфиры, собранные на том самом Другом берегу, – за них отдавали в полон села и пускали на поток города.

Слишком старательные мысли, профессор отучал меня от старательных мыслей.

В восемь лет, стоя на табуретке и примеряя этот плащ перед зеркалом, я сочиняла истории. Про воинов, и первый бой, и последний бой; про красавиц, ожидающих песчаную саранчу; про долгую непогоду, мудрых стариков и тягучие яды, прожигавшие в зеленой коже тонкие шагреневые прожилки.

И снова чересчур старательные. Как сложно бежать от этого, когда образцы смотрят на тебя с книжных полок, соблазняют и обезоруживают своей наивностью и гениальной пошлостью.

В четырнадцать я могла примерить макинтош уже без табуретки, и по плечу он был мне впору. В этом возрасте я уже не очень верила в бравых воинов и прозорливых старцев, хотя... Немного еще верила, да, все-таки верила. И книжки читала, и грезилась об Атлантиде, и в тухлом ветерке, прилетавшем с залива, надеялась услышать дыхание ледяной, великой и забытой ее детьми Гипербореи, и в октябрьских закатах, которые длились часами, видела отблески минувшего Эльдорадо.

Чуть лучше.

В мои двадцать два отец снял макинтош с вешалки и с улыбкой вручил мне, сказав, что неплохо бы его починить. С тех пор плащ висел в моей комнате и ждал своего часа.

Макинтош давно утратил первоначальный опрятный вид, но приобрел все качества настоящей, служившей вещи: потертость в плечах и на локтях, оторванные карманы, сжеванный воротник и несколько обугленный правый рукав, ну, и четыре знаменитые дырки – аккуратные на правой лопатке, там, где пули вошли в спину моего прадеда, и широкие с правой стороны

груди, где эти пули вышли.

Я изучала эти дырки, разглядывая сквозь них потолок каюты и размышляя, как прадеду удалось выжить после такого славного ранения. Еще думала – стоит ли забрать эти дырки каучуковыми заплатами или все же залить их прозрачной жидкой резиной? Остановилась на заплатках – ходить с дырками было, пожалуй, чересчур эпатажно даже в предстоящем путешествии. Я велела принести все необходимое и вулканизировала пулевые отверстия.

Потом я примерила плащ, потому что время его настало.

Он долгие годы висел в кабинете отца на почетном месте и считался семейной реликвией – от отца к сыну вместе с саблей, землей и дворянским состоянием. В отсутствие братьев и сестер все это отходило мне, благо после Реставрации и землю, и титулы могли наследовать и лица женского пола.

Предки отличались и ростом, и сложением, так что плащ был несколько мне велик, но это обстоятельство не особо смущало – погода на островах часто стояла промозглая, так что я намеревалась надевать под плащ свитер. В целом макинтош оказался весьма удобной и родной вещью, надеваешь, и между тобой и миром появляется что-то надежное, действительно надежное, прадед ведь выжил.

Конструкция плаща отличалась прочной довоенной продуманностью, в наши, окончательно одноразовые времена такой найти трудно. Под мышками и на спине были особые карманы, при попадании в воду эти полости наполнялись воздухом и не давали хозяину вещи утонуть – именно это приспособление спасло отца, когда его без сознания выбросило за борт «Конестоги», той самой. Я отметила, что эти карманы несколько мешают, не то чтобы сковывают движения, но создают незначительное неудобство, натирая под мышками, их можно было без ущерба для кроя вырезать, но из соображений скорее суеверных я эти пазухи решила оставить, мало ли? К тому же в одной из полостей с левой стороны совершенно неожиданно мною была обнаружена золотая монета, стертая из-за ношения под рукой, на ней не просматривались ни властитель, ни год, но смутные очертания хищной птицы на аверсе угадывались. Я хотела извлечь ее, но подумала, что она могла быть помещена за пазуху не случайно, возможно, это был талисман кого-то из моих предков, так что я лишь протерла монету и вернула ее обратно, надшив вокруг гурта неширокий бортик, чтобы монета сидела как бы в гнезде.

По бокам плаща раньше крепились проушины, судя по всему, с их помощью на спине фиксировалась кевларовая черепаха или иное защитное

приспособление, до наших дней не дошедшее. Заплаты на их месте разошлись, задрались и тоже требовали ремонта. Я вооружилась паяльником, клеем, иглками, плетеной леской, вулканизатором и утюгом, и пока наш сухогруз пробирался на запад, чинила и подгоняла макинтош под себя. Сначала я хотела его несколько укоротить, но, поразмыслив, пришла к выводу, что делать этого не стоит – глупо разрушать проверенный временем функционал в угоду сомнительной эстетике, плащ должен оставаться плащом. В результате я сохранила длину макинтоша, но, чтобы он не выглядел окончательным мешком, приплатила в районе талии двойные хлястики для оружейного пояса.

Чтобы руки не болтались, я снабдила просторные рукава прорезными пряжками, так что при желании можно было увеличивать или уменьшать размер обшлагов, кроме того, излишки рукавов теперь складывались на предплечьях почти вдвое, что позволяло закрепить их ремнями и использовать в качестве щита, допустим, если на тебя кинется собака... Хотя там, судя по всему, нет собак. Но броситься может и китаец, и тогда усиленные рукава помогут.

По совету отца спереди, на внутренней стороне плаща, там, где проходила линия застежек и клапанов, я нашла несколько продолговатых бляшек, вырубленных из дюралевого листа, – для того чтобы не путаться в полах, а отбрасывать их в сторону одним движением. Это дало определенный эффект – пистолеты я стала доставать быстрее.

Прибавила карманов, в том числе и потайных, – карманы в путешествии вещь неоспоримо важная. Хотела приделать эполет, но вовремя спохватилась – профессор Ода рекомендовал как можно меньше выделяться среди жителей острова и тут же ехидно поправлялся, что мне, конечно, не грозит остаться незамеченной. Эполет я решила не шить, вместо него нарастила на плечи накладки из толстой буйволиной кожи, потратив на эту операцию два часа. У меня было прекрасное настроение, запах плавленной резины радовал, качка, терзавшая первые дни плавания, уже не изводила, и даже исколотые иглой пальцы приятно болели, а приготовления к высадке вносили в душу уверенность и успокоение. Я готовилась увидеть остров, старалась предчувствовать его, и отчасти мне это удавалось. В иллюминатор моей каюты било солнце, я знала, где оно висит в полдень, и компас на столе тоже указывал направление, но и без солнца и компаса я знала, где он.

Приготовив костюм, проверив застежки, шнуровки, заклепки и клапаны, молнии и карманы, я приступила к снаряжению макинтоша; требовалось заполнить его предметами, которые могли бы пригодиться в

экстренной ситуации и облегчить мой путь. Я не собиралась оригинальничать, ничего необычного с собой не брала, только самое необходимое. Складной нож с многочисленными инструментами, от отвертки до пилы и плоскогубцев. Всепогодная зажигалка, приспособленная для розжига как в сухую погоду, так и в слякоть; к ней прилагался титановый бокс со спичками, горящими под водой. Герметичный пластиковый кейс для документов. Фонарик, миниатюрный, размером с палец, способный, однако, светить двенадцать часов. Фальшфейер. Карманная аптечка, в которую включался основной набор антибиотиков, обезболивающее, адсорбенты. Походную аптечку я укомплектовала заранее, и там набор медикаментов был более внушительный. Не забыла я и стеклянный пузырек, припасенный мною для земли. Я поместила его в особый продолговатый карманчик, укрытый за подкладкой. Вроде все.

Я примерила макинтош и в очередной раз подивилась тому, насколько ладная получилась одежда. Смотрелась я в ней так хорошо, боевито и опытно, что я рассмеялась, выхватила пистолеты и рассмеялась еще громче – из зеркала смотрела вполне себе воинственная особа, готовая в случае чего прострелить вражескую коленку. Вот, например, этому помощнику капитана с сокрушительным именем Тацуо: слишком уж часто и не по чину посматривает. С железным коленом он стал бы выглядеть гораздо представительнее, солиднее, по-морскому, надо, чтобы оно скрипело еще. Хотя он подобного прострела не перенесет, он ведь презирает свою «Каппу» и наверняка грезит об «Эноле», а туда хромоногих не принимают, туда и не хромоногих далеко не всех принимают.

Я села на кровать и стала ждать. Слушала море, бьющее в борт, Ину, периодически сверялась с картой, прокладывая курс и просто сидела, так вот, вытянув ноги.

В полдень в шестидесяти милях от порта с сопровождающего миноносца приказали перейти на самый малый ход; «Каппа» покорно замедлилась, а потом и вовсе остановилась, резко, словно наткнувшись на хребет спящего дракона. По столу со звоном покатился стакан, красные пахучие звезды качнулись под потолком и сцепились лучами, завопили сирены, и я поняла, что тревога, кажется, боевая. Поднялась на палубу.

Ни команды, ни рабочих, ни кого-либо еще видно не было, помощник услужливо разъяснил, что в соответствии со штатным расписанием во время боевой тревоги посторонним лицам находиться на палубе категорически запрещается, но для меня капитан сделал исключение. Помощник Тацуо выглядел важно, на шее у него болтался бинокль

внушительных размеров, а сам он старался держаться с достоинством, осанисто, с определенной долей превосходства над таким сухопутным существом, как я. Впрочем, что-то заискивающее в его фигуре все же было. Я поинтересовалась причиной задержки и тревоги, помощник, не отрываясь от бинокля, ответил, что мы встретили призрака, примерно в пяти милях к северу, и теперь его будут топить. Тацуо протянул мне бинокль, но перед тем, как посмотреть, я подождала несколько секунд, пока медные окуляры остынут от неприятного тепла его кожи.

Похоже, что траулер. Старый, без опознавательных знаков, но в хорошем состоянии, вполне себе на плаву, разве что корма немного просела, а так даже краска сохранилась. Типичный призрак. Ближе к материку его бы, пожалуй, осмотрели, но здесь с этим возиться вряд ли будут, слишком хлопотно и опасно, да и нет у миноносца такой задачи, так что действительно потопят. Вряд ли это беженцы, скорее всего, еще довоенная посудина, вытасченная в море последним цунами.

Я посмотрела на запад и в подтверждение своих мыслей увидела «Энолу», выходящую на боевой курс. Она ускорялась, зарываясь в волны. Неужели используют торпеду? Для цели, недостойной хорошего снаряда? Ее же легко можно разнести из пушек, каждый вакуумный кайтэн стоит как двухэтажный домик на четвертой линии...

Но Императорский флот был верен традициям и потому презирал экономию. Миноносец резко изменил курс, и тут же под призраком вздулся гигантский водяной пузырь. Он поднял траулер над океаном и лопнул с протяжным вздохом. Траулер обрушился в возникшую воронку и сгинул, вода на поверхности вскипела. Все.

Пришла слабая ударная волна, она хлестнула по нас острой соленой дробью и сорвала с меня капюшон. Помощник капитана предусмотрительно придержал свою фуражку рукой и улыбнулся. Он определенно мечтает служить на военном флоте, с детства мечтал, но не получилось. Возможно, из-за здоровья, но, вероятнее всего, подвело происхождение: в помощнике угадывалось нечто неуловимо корейское.

Пришла волна обычная, «Каппу» повело в сторону, и помощник попытался поддержать меня под локоть, за что немедленно получил. Он тут же отобрал у меня бинокль и сказал, что нам повезло – не каждый рейс удастся увидеть такое представление, это хорошее предзнаменование, водные духи будут к нам милостивы. Но, с другой стороны, и не повезло – теперь мы наверняка не успеем до сумерек, а это не есть хорошо.

Он оказался прав – «Каппа» вошла в залив поздним вечером. Погода злорадствовала: ветер сменялся дождем, остывающее дыхание вулканов

стекало в море ручьями и серым туманом, сквозь который не прорывались ни огни порта, ни свет маяка, ни газовые факелы дальних обогатительных станций. Капитан не спешил приближаться к берегу, сухогруз стал на якорь на рейде Курильска, и там мы пробыли до утра, ожидая, пока ветер отгонит от берега мглу и можно будет продвигаться наверх.

Машины перешли на холостой ход, вибрация, изводившая меня с отплытия из Кито, прекратилась, стакан не дребезжал на столе, ночник перестал рябить, и стало тихо. Только сушеные морские звезды покачивались под потолком и с деревянным звуком стукались друг о друга.

Я хотела выспаться перед завтрашней землей, но не вышло. В ушах будто вата, и вместе с ней отчего-то мигрень, я достала саквояж и из него походную аптечку. Пихтовое масло в треугольном флаконе. Если втереть по капле в каждый висок, то боль скоро отступит, кроме того, оно отлично помогает от морской болезни и от простуд.

Я прилежно втирала масло пять минут, сначала по часовой стрелке, потом против, разгоняя кровь, чувствуя, как тепло поднимается к затылку, спускается на шею, впитывается в позвонки. Чудесное средство. Бабушка утверждала, что именно с помощью него ей удалось поднять на ноги моего деда, простудившегося в легендарном Северном Походе и заболевшего там ревматизмом. Дед передвигался на костылях и с трудом говорил, и лишь чудесное пихтовое масло, баня и компрессы из меда поставили его на ноги. Мед у меня тоже имелся, но совсем немного, и я не собиралась использовать его без особой на то надобности.

Мигрень отступила, но почти сразу за стенкой завыл Ину. Никто точно не знал, как его звали, помощник капитана сказал, что они зовут его Ину, как всех каторжан. Обычно Ину рыдал днем, к сумеркам он уставал и только горько всхлипывал, окончательно замолкая в темноте, но сегодня все случилось наоборот: Ину стонал, проклиная судьбу, гремел цепями и стучал миской об пол. Я могла попросить помощника, и тот наверняка отыскал бы способ утихомирить буйного, но, если честно, помощника мне видеть совсем не хотелось. Стоны становились все протяжней и убедительней, я не могла оставаться в каюте, меня охватило странное волнение. Я поднялась на палубу.

Здесь былолюдно. Человек пятьдесят в оранжевых комбинезонах – полугодовая смена – стояли у лееров и курили, разглядывая проступающий сквозь туман остров. Иногда кто-то из рабочих шутил, нюхал воздух, отчетливо пахнувший серой, и указывал папиросой в сторону берега. Остальные смеялись, но невесело – им предстояло провести шесть месяцев на фабриках, производящих германий, на зольных отвалах, на

конденсаторах золота, в очистных забоях и шлаковых полях. А некоторых ждала дорога на Кудрявый – жемчужину Северных Территорий, место, где из палящего дыхания бездны выпаривался драгоценный и незаменимый рений. И те, кто стоял, курил и смеялся в этот вечерний час на палубе «Каппы», знали, что домой вернутся далеко не все, а те, кто вернется, останутся калеками – с силикозными легкими, с распухшей печенью, полуслепые, с лицами, съеденными саркомой. Но те, кто переживет эти полгода, до окончания дней своих будут обеспечены: едой, водой, борделями, медициной, неотчуждаемым клочком земли, на котором он сможет вырастить дерево, на котором он умрет счастливым.

Эторофу. Население 1385, не учитывая сменных рабочих.

Инфэруно. Население 1385, не учитывая сменных рабочих.

Итуруп. Мы должны были пробыть здесь сутки. Отдать смену, принять смену, разгрузить припасы и технику и забрать контейнеры с рением, золотом, с другими редкоземельными элементами.

Я не собиралась оставаться на судне все это время. В планах было посетить окрестности Курильска, побеседовать с мэром и выполнить кое-какое поручение, которым меня обременила матушка и отказаться от которого не удалось.

Помощник капитана два раза прошел мимо в парадном кителе и с короткой саблей, которую он зачем-то прицепил к поясу, видимо, пытаясь произвести на меня впечатление. Но впечатление он производил в основном на рабочих, которые при его приближении замолкали, а едва он удалялся, начинали хихикать и передразнивать его индюшачью походку и жеребцовую осанку.

В полумиле от нас к северу в море вспыхивали и гасли зеленые огни – это была едва различимая во мгле «Энола», миноносец сопровождения Императорских сил береговой охраны, при свете дня похожий на суетливую снежную борзую, а по вечерам напоминавший хищного острорылого осетра. Он тоже ждал погоды, щупал туман дальними сканерами и готовился. Здесь не водилось пиратов, но случалось, что из Охотского моря приносило мертвые субмарины, столкновения с которыми не перенес бы ни один сухогруз, их топили на дальних подступах. Рением рисковать нельзя. «Энола» была нашей тенью, чем вызывала в команде периодические приступы гордости: миноносец сопровождения во всем флоте полагался только двум судам – «Каппе» и «Астре», личной яхте Императора. Особенно это вдохновляло помощника Тацуо, он, кажется, в любой момент дня и ночи мог сказать, где находится миноносец, как я знала, где Сахалин. Тацуо то и дело поглядывал в сторону рейдера, как бы поддерживая

крепость своего духа мощью вакуумных торпед «Энолы».

Если честно, сегодня я впервые увидела ее на таком расстоянии. Их всего пять – «Тикандерога», «Мак Артур», «Айова», «Роберт Ли» и «Энола», рейдеры седьмого поколения. О них слышали все, но мало кому удавалось наблюдать их вблизи, так что некоторые считали, что миноносцев нет, что это слухи.

Но «Энола» существовала на самом деле, я смотрела в сторону океана, и раз в полминуты по лицу пробегала колючая волна от ее локаторов. «Энола» ждала. А мне ждать наскучило, и, постояв на палубе около получаса, я спустилась к себе, закуталась в плед и уснула. Мое путешествие началось.

Я рано проснулась. Рабочих на палубе уже не было, всю шла разгрузка, выли сиренами краны, скрипели тросы и лязгали цепи. Здесь не осталось ничего интересного, поэтому я закинула на плечи рюкзак и отправилась на прогулку. Кажется, я улыбалась. Точно, улыбалась, это ведь была моя первая чужая земля.

Мэр Курильска принял меня доброжелательно. И хотя у него в связи с прибытием «Каппы» возникло множество неотложных дел, он тем не менее отключил от линии телефон и уделил мне час своего времени.

День разогнал утренние тучи, выглянуло солнце, мэр пригласил меня выпить с ним чаю на веранде здания администрации, с видом на вулкан и морской порт. Мы устроились в старинных глубоких креслах, и человек принес чай на золотом подносе и в золотом же сервизе, и сам чай содержал некие едва уловимые глазом блески. Я слыхала о подобном. Ну, что начальники Северных Территорий чуть ли не поголовно сибариты и склонны к тайной роскоши. Теперь, прихлебывая чай, я думала, что в этих рассказах имелся некий резон. Впрочем, металл кружек был слишком уж светлым, вполне могло статься, что мэр пытался произвести избыточное впечатление.

Чай пришелся кстати – я до сих пор пребывала в некоей отстраненности и никак не могла ощутить новую реальность, хотя она и была под ногами, вокруг, она дышала, гремела и воняла и кружилась в чашке золотой метелью.

– Наша продукция, – мэр с удовольствием позвенел ложечкой по чашке. – Высшая проба, между прочим.

– Золото? – несколько провокативно уточнила я. – Или все-таки электрон?

– Как можно? – Мэр притворно оскорбился. – Электрон... Ну что вы, конечно, золото. Правда, не могу похвастаться, что чистое.

– Палладий?

– Немного, – улыбнулся мэр. – Золото, согласитесь, само по себе...

Мэр опять с удовольствием постучал ложечкой по чашке, и звук получился высокий.

– ... золото есть скучный металл. Это...

Снова «дзинь-дзинь».

– Это лучше, чем золото. Палладий, около двадцати процентов платины и, разумеется, он.

– Рений.

– Да-да, это он. Мы извлекаем около тонны в год... Впрочем, золота больше. Чай повторить? Есть травяной, есть натуральный, из старых запасов.

Мэр пошевелил бровями, чтобы я поняла, что это действительно *старые* запасы.

– Пожалуйста, натуральный.

Мэр принялся разливать чай, а я позволила себе отвлечься на вулкан и море. Вулкан затягивали легкомысленные облачка, вокруг «Каппы» суетились краны и погрузчики, море было спокойно, вдалеке, прикрывая вход в залив, белой стрелой застыла «Энола».

– Мне сообщили о ваших намерениях, – сказал мэр. – И они, безусловно, благородны. Мы очень рады, что Департамент Этнографии наконец решил послать инспектора...

Мэр снова пошевелил бровями в мой адрес и продолжил:

– Мы счастливы встретить инспектора, который откроет глаза этим фанфаронам в столице на наше положение. И я очень рад, что сюда прибыли именно вы, молодая, образованная девушка из хорошей семьи. Вы совершенно правы, что начали свое путешествие именно отсюда, мы – форпост Северных Территорий, фактически ворота. Я бы даже сказал, врата. Оплот!

Мэр хихикнул. Я попробовала натуральный чай, он оказался действительно не так уж плох, во всяком случае, не наводил на мысли о сушеных тараканах и вяленых лишайниках, вода же явно из опреснителя, но в меру жесткая, наверное, все-таки с таблетками. Надо привыкать, вряд ли на самом Сахалине можно легко раздобыть чистой воды, так что пренебрегать фильтрованной водой, водой восстановленной или исправленной не стоит.

– Я, собственно, не инспектор, – возразила я, вежливо отодвинув чашку. – Скорее, этнограф и полевой наблюдатель, инспекционные функции мне не присвоены, моя задача – дать общую картину. Вернее, не

общую картину, а впечатление, некий...

– Да-да, – кивнул мэр. – Все понятно, я читал представление...

Он улыбался, а я видела, что ничего ему не понятно и что он сейчас интенсивно пытается просчитать, действительно ли я не инспектор или нет, или, может, я избалованная, пресыщенная дура, решившая развлечь себя столь диким способом; говорят, такие опять завелись в Токио. Господина мэра настораживала прикладная футурология, слишком уж необычная.

– Департамент Этнографии... – Мэр почесал ложкой лоб. – У него... широкие интересы, кажется.

– Чрезвычайно широкие, – подтвердила я. – Например, нам исключительно интересен этнический состав Итурупа, в частности, как влияет национальность рабочего на производительность труда. Понимаете, эти данные...

Но мэр, разумеется, уже не слышал. Он добавил себе в чай еще одну порцию эрзац-сахара, вздохнул и, не слушая меня, принялся подготовленно жаловаться: национальный состав ему совершенно безразличен, да и едут сюда только китайцы, а разбираться в оттенках китайского... материала он просит его уволить, три китайца разговаривают и друг друга не понимают, это всем известно. Корреляции между выработкой нормы и этнической принадлежностью рабочего лично им не выявлены, и он повторяет – на все это ему глубоко наплевать. А вот на что ему не наплевать, так это на то, что Департамент тяжелой промышленности раз за разом присылает не рабочих, а каких-то неуемных обжор, которые жрут гораздо больше, чем трудятся. Он трижды подавал в Департамент предложение подвергать всех заключивших контракт китайцев принудительной резекции желудка, но его записки остаются безответными, обжоры прибывают целыми сухогрузами, а снабжение год от года все хуже. Каждому рабочему полагается по два белковых концентрата, на самом же деле до потребителя доходит всего один, второй же капитаны сухогрузов списывают под предлогом гнили и продают на черном рынке в Южном, недостаток же питания приходится компенсировать соленой черемшой. Да и качество тех белковых концентратов оставляет желать лучшего: рацион несбалансированный, откровенно дрянной, у рабочих и у технического контингента непрекращающиеся расстройства желудка (неприлично сказать, но его заместитель – мэтр Тоши, достойнейший муж, – вынужден пользоваться пластиковыми подгузниками, а он, между прочим, давно не мальчик). А в опреснителях черви, там нужно менять кассеты раз в декаду, а их не хватает, поэтому кассеты меняются раз в три месяца, и приходится давать рабочим скверную воду, от которой черви заводятся внутри самих рабочих.

С барбитуратами ситуация просто катастрофическая, их не поставляют скоро уж год, приходится компенсировать их отсутствие повышением норм выработки, потому что если не повышать нормы, то рабочие начинают собираться в бараках и рассуждать вслух. Но если повышать нормы, то амортизация рабочей силы резко возрастает, в результате чего под конец контрактного срока резко падает производительность труда, а аварийность на производстве, напротив, увеличивается, на обогатительных же фабриках задействовано сложное оборудование, и если, к примеру, в сепаратор падает какая-нибудь китайская образина, то после этого сутки сепаратор приходится чистить, а брикеты на повторную переработку...

Я попыталась прекратить этот вопль, но мэр продолжал и уже дошел в своих жалобах до погоды, которая у них обычно здесь, *как назло*, и на крыс, которых много, но которые, *как назло*, несъедобны, на отравителя, заведшегося в бараках, – травит без всякого разбора и смысла, а поймать его никак, на планы добычи, повышаемые с каждым годом. Планы повышаются, а присылаемый контингент им решительно не соответствует! Доходит до курьезов – иногда из-за низкой квалификации... да чего уж там говорить, из-за бестолковости рабочих горное управление вынуждено посылать на оголившиеся участки своих сотрудников. Мэтр Тоши был вынужден два дня проработать на Кудрявом, и теперь у него реактивный артрит.

В конце мэр еще раз пожаловался на погоду, которая, *как назло*, делает все, чтобы помешать выполнению обязательств. Ветер стал холоднее, а промозглость промозглее; чтобы согреться, тот же мэтр Тоши вынужден принимать по две термальных ванны в день, от этого у него выпали волосы и потрескалась кожа.

– А вулканы? Вулканы пробуждаются, – вздохнул мэр. – Сейсмоактивность растет с каждым годом. Тектоника нестабильна, а у нас из трех сейсмографов исправен один! Того и гляди взлетим на воздух. И во имя чего?!

Мэр сказал это слишком эмоционально и тут же осекся.

– Я все понимаю, – поправился он. – Все понимаю! И остальной персонал тоже все понимает! Двигатели нового поколения, прорыв в технике, перспективы, но и вы меня поймите – нам очень тяжело! Очень!

– Я не инспектор, – повторила я. – Я всего лишь футуролог. Департамент Этнографии, кафедра прикладной футурологии Университета, это есть в моих бумагах.

Но мэр только понимающе улыбнулся, давая понять, что я могу говорить все, что угодно, но его не обмануть, он старый волк и футурологов

на своем веку повидал немало, и прикладных, и вообще всяких.

– А цунами?! – скорбно вопрошал мэра. – Это же невыносимо... Они приходят каждый год! И хотя мы сделали все, чтобы свести последствия к минимуму, но каких усилий это стоило! А они все выше и выше! Мы не можем поднимать береговую линию до бесконечности!

Мэр стал рассказывать про цунами, которые совершенно разнуздались, что прошлой осенью мэтр Тоши инспектировал дамбы и был неожиданно смыт в залив, нахлебался воды и из-за этого приобрел язву желудка, которую вынужден лечить подручными методами, а это усугубило...

Я мучительно соображала, зачем я решила зайти к мэру, то есть, разумеется, не зайти к нему неприлично, но терпеть всю эту галиматью про цунами и чирьи не было никаких сил. Кажется, мэра это и сам понимал, но остановиться уже не мог, отработывая роль усердного чиновника, озабоченного процветанием вверенных ему земель. Пришлось терпеть. Профессор Ода учил терпеть. Бред, безумие, снова бред, терпеть, слушать, слушать, подготовленный мозг выбирает из потока бестолкового шума сияющие ноты разорванной песни...

Все равно невыносимо. Мэр Итурупа был невыносим и подозрительно сильно пах сушеным кальмаром, так что приходилось держать мимику под контролем, чтобы не позволить лицу растечься в брезгливой гримасе. Это нелегко, так стараться, но водные духи смилостивились – рассказывая о шайках хищников, повадившихся шастать по зольным отстойникам, мэра поперхнулся чаем, покраснел и замолк, смутившись. Я сочувственно похлопала его по спине и поинтересовалась, как найти экклесию Св. Фомы и ее настоятеля, к которому у меня есть поручение.

Мне показалось, что упоминание об экклесии вызвало у мэра грусть, но он быстро взял себя в руки.

– Патэрэн Павел – наша головная боль, – сказал мэра с сожалением. – Горная администрация выделяет на его заведение некоторые средства, знаете, для призрения тех, кто недужен настолько, что вернуться домой не в состоянии. А он, вместо того чтобы утешать страждущих, лишь смущает их умы...

Мэр протер лоб платком.

– Впрочем, другого патэрена у нас все равно нет, – философически заметил он. – Кто сюда поедет, кроме фанатика? А печали требуют утешения всегда.

Я была с этим согласна. Поблагодарила за обстоятельный рассказ и, сославшись на недостаток времени, удалилась. Мэр подарил мне золотую ложку и выделил для сопровождения к экклесии чиновника.

Этим чиновником оказался пожилой человек весьма скорбного вида, измученный и безрадостный, как природа, нас окружавшая. Видимо, тот самый мэтр Тоши, с пальцами, распухшими в суставах, с выпуклыми коленями и с коричневой лысой головой и, кажется, действительно в подгузниках. По исходящему от него запаху нетрудно было догадаться, что мэтр многочисленно болен и что подвергал свои недуги исцелению разными, в том числе и глубоко народными, средствами: язву желудка он врачевал, судя по всему, спиртом и, кажется, придерживался в лечении принципа «мази много не бывает».

Мы с мэтром Тоши надели поверх обычной одежды еще грязные пластиковые плащи и зашагали по дороге, проложенной вдоль моря. Местность, лежавшая окрест, производила удручающее впечатление: то тут, то там виднелись двухэтажные бараки, судя по виду, построенные еще до войны, покосившиеся, с проржавевшими стенами, с подпорками из выловленных в море бревен и ржавых рельсов. Отличить жилые бараки от брошенных было невозможно – все крыши покрывали мох и лишайник, окна забраны пластиковыми щитами и пленкой, а кое-где и камнями. Рядом с бараками виднелись и другие жилища, сложенные из чего попало: из потертых тракторных покрышек, кабин бульдозеров, перевернутых лодок, плавника, разрезанных нефтяных бочек.

Между постройками в беспорядке лежали детали различных машин, вероятнее всего использовавшихся в горных и химических производствах. Котлы, фермы, колеса и поршни, огромные, в человеческий рост и выше, изъеденные кислотой, коррозией и давлением, страшные, точно на самом деле побывавшие в инфэруно, впрочем, может, так оно и было. Глядя на них, я думала: что же здесь творится с людьми, если не выдерживают машины?

Зелени не было видно, хотя лето стояло в разгаре, лишь кое-где из-под сажи и ржавчины проглядывала трава, которая выглядела здесь чужеродной.

Не встречалось и людей. Никого. Окрестности Курильска оказались безлюдны и пустынно – все население, по-видимому, сосредоточилось в промышленной зоне и возле вулканов, лишь возле одного жилища, которое плохо соотносилось со званием дома, сидел седой и с виду абсолютно сумасшедший старик.

Мэтр Тоши, кажется, бесконечно вел меня вдоль берега, лишь изредка останавливаясь для того, чтобы покашлять, проклясть свою жизнь и восхвалить мудрость Императора и снова проклясть, но в этот раз уже Итуруп, прибывающих китайцев, патэрена Павла, опасного сумасброда и

шарлатана, выправившего себе и своей богадельне довольствие в гораздо большем размере, чем это полагается ему по всем известным табелям.

Я не спорила. Про патэрена Павла я почти ничего не знала, кроме того, что когда-то с ним была знакома моя мать, а еще я знала, что он очень высок, потому что свитер, который я должна ему передать, оказался Геркулесовых размеров – еще на «Каппе» я не удержалась и примерила: он был мне ниже колен.

– Не желаете осмотреть кладбище китов? – поинтересовался вдруг мэтр Тоши, когда мы оказались у границы поселения.

– Зачем? – не поняла я.

– В этнографических целях, разумеется. У нас прекрасное кладбище китов, совсем недалеко. Тут, на берегу. Вы же этнограф.

– Я футуролог.

– Тем более. Вы должны думать о китах.

Я не стала спорить. Возможно, мэтр Тоши прав, возможно, стоило думать о китах.

– В другой раз, – пообещала я. – Обязательно.

– Пойдемте, посмотрим, – не услышав меня, махнул костылем мэтр Тоши. – Это самое большое кладбище китов, в следующий раз его может смыть. Прошрое цунами унесло половину.

– Мне нужно повидать патэрена Павла, – сказала я. – Мэр сказал, что вы меня проводите до экклесии.

– Зачем вам нужна эта скотина патэрен Павел? – разочарованно поморщился мэтр Тоши. – Невыносимое животное, поверьте мне...

– У меня к нему дело частного характера.

– Как знаете, – пожал, видимо, еще здоровым плечом мэтр Тоши. – Только экклесия... Возможно, такой благородной девушке не стоит ходить туда, там сосредоточены не лучшие... представители нашего островного общества.

Я не стала вступать в прения с мэтром, но неодобрительно вздохнула, и чиновнику пришлось-таки проводить меня, хотя ему этого явно не хотелось, весь остаток пути он не уставал рассуждать о том, что экклесия – рассадник инфекций телесных и бацилл духовной смуты, и если бы не попустительство мэра, то он лично давно бы сжег этот клоповник и полил само место карболовой кислотой и завалил камнями.

Так мы прошли около трех километров, перевалили через лысую, похожую на плешь самого мэтра Тоши сопку и в небольшой долине увидели дымящийся ручей и на его берегу здание экклесии.

– Это здесь, – мэтр Тоши указал костылем. – Я туда не пойду, можете

меня не уговаривать, там слишком скользкие камни. У вас есть дезинфицирующая жидкость? Давайте я вас обрызгаю...

Мэтр Тоши принялся доставать из-под дождевика баллончик со спреем, но я не стала этого дожидаться – запахнула дождевик поплотнее и поспешила вниз по каменным ступеням.

Здание было целиком построено из плавника и от этого выглядело иначе, нежели все постройки, которые я здесь видела. Оно походило на кусок высушенного необработанного янтаря, который, в свою очередь, напоминал почерневшую кость – длинная хижина, крытая дерном и еще черт знает чем и брезентом, пропитанным мазутом, уходящая одним концом в землю, окаменелость древнего существа, давным-давно потерявшего имя. Рядом со входом на треноге, сложенной из промасленных кривых жердин, покачивался кем-то старательно начищенный медный колокол.

Я, постоянно спотыкаясь на камнях, вскоре приблизилась к постройке и почувствовала запах дыма, он пробивался через серу недр и йод моря. Дым. Тут топили печь и варили еду. Из здания доносился нервный высокий голос и глухой незнакомый звук, сначала голос – потом звук, голос – звук, видимо, проповедь, да, так и есть, проповедь.

Я, конечно же, не верю в бога. Сказки о том, как Деусу пожертвовал собой во имя, вызывают у меня легкое раздражение, злость разумного человека; профессор Ода говорит, что это у меня, вероятно, генетическое, многие века мой народ взывал к Деусу, но он отвечал лишь брезгливым молчанием, и от этого мой народ осердился на своего бога и превратил его в истукана. У нас есть сосед-буддист, он собирает старинные пробки от пластиковых бутылок и тайком строит из них статую Будды. Так вот для меня любая вера – это строительство Будды из пробок на заднем дворе. А моя мать, конечно же, верит, и бабушка тоже, в семье по материнской линии это традиция, передаваемая от матери к дочке вместе с цветом глаз и цветом волос – верить, преклонив колени. Скульптура изможденного Деусу, приколоченного к кресту, висит в каждой комнате нашего дома. Пробралась она и в отцовский кабинет, стоит рядом с барометром.

Мама и бабушка верили так сильно, что на мою долю уже не осталось ни зернышка, вообще мало на кого осталось. Тем не менее уважение к традициям во мне сохранилось, видимо, эта черта характера досталась от отца, ценившего в людях постоянство и приверженность. Поэтому я дождалась, пока голос и звук в экклесии стихли, и только потом зашла.

Я сразу поняла, почему пахнет едой, – рядом со входом располагалась жестяная курильня, в которой тлели угли, засыпанные мелко

настроганными китовыми ребрами. Это они производили тот самый едкий дым с привкусом жареных костей, который меня и смутил. А еще я поняла, зачем нужен этот дым – половина помещения была завалена людьми, и дым производил двойное действие: насыщал присутствующих и сбивал дурной запах, от этих самых присутствующих распространявшийся. Люди, наполнявшие помещение, были одеты очень и очень по-разному: в оранжевые лохмотья, оставшиеся от рабочих комбинезонов, в рубища, связанные из пластиковых мешков, в резиновые бушлаты и другие одежды, которые трудно было распознать. Они сидели на полу, лежали на полу, некоторые находились в странных позах – полувисели, ухватившись за стены, опирались на палки и костыли, скрючивались в тележках, они были больны, голодны и полумертвы, а некоторые, кажется, и мертвы. Глядя на мертвых, я поняла и третье назначение дыма – вдоль стен тянулись многочисленные норы, из которых то и дело в нетерпении высовывались крысиные морды, а едкий угар, растекающийся по полу экклесии, не давал им накинуться на добычу. Впрочем, они с удовольствием полакомились бы и живыми.

Оказалось, что проповедь не закончена – человек, произносивший ее, стоял на коленях спиной ко мне и что-то тихо бормотал себе под нос. Скорее всего, это и был патэрэн Павел, не по-здешнему высокий и широкоплечий.

Я не осмелилась его беспокоить, стояла недалеко от котла, поглядывая на пол, поскольку опасалась, что крысы не выдержат и накинутся на мои ноги. А патэрэн Павел все говорил.

– Лишь немногие поднимутся в небо, – говорил он. – Лишь нищих духом выдержит небесная твердь. Деусу создал этот мир в радость, Деусу низринул его в печаль. Лишь скорбные плотью выстоят перед гневом Его. Лишь те, в ком еще не остыла душа, услышат шепот Его. Деусу есть свет, есть надежда, есть воздух, и не успеет еще остынуть ваше тело, как души ваши, смешавшись с ветром, полетят в Его сияющие чертоги.

Думаю, что мало кто его тут понимал. Большинство просто присутствовали, держались из последних сил, они находились рядом и смотрели перед собой гниющими глазами, смотрели на свои руки, на свои ноги, те, кто понимал, кивали, другие же кивали, глядя на них.

– Многие из вас пали духом, – продолжал патэрэн, – многие впали в отчаяние. Многие не способны на отчаяние, многих нет, они съедены, как съедена земля севера «агентом V». Но те, кто еще стоит, помните – звезды гораздо ярче сияют со дна колодца! Вы умрете. Некоторые из вас не переживут и этот день и с последним выдохом сойдут во мрак и безмолвие,

чтобы после беззвучной и бессветной ночи очнуться в Царствии Небесном!

Патэрен замолчал. В этот момент я заметила, что он не обут. Стоит босиком. Он молчал довольно долго, потирал горло и морщился, а вся его искалеченная паства не знала, что делать, ждала, что он скажет дальше. Потом он поднялся с колен и сказал:

– Идите же. И не забывайте смотреть. В том числе и себе под ноги.

Передо мной будто неожиданно пришла в движение гравюра средневекового художника, изображавшего преисподнюю, ее самые глубокие круги, дно омута, куда со временем опускаются разорванные души, не пригодные даже к страданию. Они двигались медленно, некоторые размазывали каждое свое движение на несколько дерганных сегментов, другие, напротив, смещались рублеными рывками, все они громко и тяжело дышали, стонали и кашляли. Те из них, кто мог передвигаться относительно свободно, помогали другим, держали их под руки, вели и волокли, кроме того, они взяли тех, кто умер, и вынесли их с собой, освободив пространство. Профессор Ода вдохновился бы. Нет, точно, он пришел бы в восторг от этого макабра и отправился бы за всеми этими китайцами, чтобы вдоволь на них насмотреться.

Патэрен заметил меня. Думаю, он заметил меня раньше, но не подал вида или, может, наблюдал, как и я за ним. Все удалились, в эkkлeсии остались патэрен и странная женщина со сварочной маской на лице, впрочем, это мог быть и мужчина, трудно разобрать. Носитель маски вынес откуда-то приземистый стул с трех ножках, и патэрен с облегчением уселся на него и улыбнулся. Я приблизилась.

– Здравствуйте, Сирень, – сказал патэрен.

– Но...

– Не удивляйтесь, – махнул он рукой, – вам придется удивляться слишком часто, сохраните в себе это качество, не спешите его тратить.

– Хорошо, – согласилась я. – Но все-таки...

Человек принес медный таз с дымящейся водой, расположил его на полу перед патэреном.

– Вы похожи на свою мать, – пояснил патэрен. – Вы очень похожи на свою мать – глаза, волосы... Я давно не видел таких глаз.

Он опустил ноги в таз, поморщился.

– Присоединяйтесь, – предложил патэрен. – Это безопасно. И полезно. Во всяком случае, приятно.

Я отказалась. Я не собиралась помещать свои ноги в горячую воду совместно с посторонними ногами, пусть даже это и давний знакомый моей мамы.

– Присоединяйтесь, – сказал патэрен уже по-русски. – Пожалуйста.

Очередное удивление отразилось у меня на лице, и патэрен это, конечно же, заметил.

– Нет-нет, – сказал он. – Не смотрите на меня так, я японец. Но я еще помню... Да, помню. И помню вашу мать. Так что мы можем поговорить, если хотите. Все-таки память – удивительная вещь...

Он вытянул рукава шахтерской куртки, погрузил в них руки и сложил на груди. Первый человек, который знал русский, от которого я его слышала. Кроме матери, разумеется, и кроме бабушки. Говорил он с заметным акцентом, но все равно говорил.

– Горячая вода – единственное, что эта земля дает даром, – пояснил патэрен. – Пить ее нельзя, однако погреть кости можно. Наверное, этим я и держусь. Попробуйте.

Патэрен придвинул таз поближе и велел принести стул; на стул я села, но греть ноги не собиралась, хотя патэрен всеми силами демонстрировал, насколько это чудесно, закатывал глаза, причмокивал и развевал над тазом поднимающийся пар; вода была явно горячая, так как он то и дело выбирал из воды ступни и ставил их на бортик тазика, и в конце концов патэрен Павел вытащил из таза ноги и пошевелил красными пальцами и подмигнул, упорно соблазняя меня на эту процедуру.

– Спасибо, в другой раз, – отказалась я и стала снимать рюкзак. – У меня к вам поручение. Мама просила...

Патэрен вернул ноги в таз, существо в маске сварщика стояло недалеко, не двигаясь и, кажется, не дыша. Из таза поднялся пар, точно вода в нем была холодная, а ноги патэрена, напротив, чересчур горячими, запах серы снова усилился, он уже перебивал запах жженных костей.

– Горячая вода – это знак нам, – произнес Павел, – что в самую лютую стужу нам будет даровано тепло утешения. Тьма есть всего лишь низшая мера света, самая слабая искра уничтожает тьму. Попарьте ноги, Сирень.

Сварочная маска согласно кивнула, а меня это немного разозлило, я не сдержалась:

– Все, что вы говорите, – неправда. Зачем вы обманываете их?

– Ничуть, – помотал головой патэрен. – Я их не обманываю, я даю им надежду в последний час. И кто знает...

Патэрен улыбнулся шире, и я увидела, что зубов у него нет, ровные розовые десны, при всем при том он умудрялся говорить довольно чисто.

– Надежда, – усмехнулась я. – Где же вы видите здесь надежду? В серном кипятке, склизких камнях и сушеных водорослях? В горчичных ваннах?

– В наших сердцах, – ответил патэрен. – И несомненно, в рении.

Патэрен перешел на японский.

– Ну да, рений... – усмехнулась я. – Вы знаете, там, на сопке, меня дожидается мэтр Тоши, достойный человек в подгузниках. Я не увидела в нем никакой надежды.

– Рений, звездная медь... – как будто не услышал меня патэрен. – Это проклятие и надежда оставшегося человечества. За каждый грамм его заплачено двадцатью тысячами душ, рухнувших в бездну. И цена будет расти с каждым днем, с каждым часом, это та цена, с которой придется смириться. Но это и надежда, конечно, надежда. Он был здесь, когда не было еще ничего, кроме кипящего газа, когда наша Земля напоминала малиновую каплю, плывущую в сияющем эфире...

Патэрен замолчал, закашлялся, вынул ноги из воды, и ему тут же подали валенки. Павел поежился, ему тут же подали жестяную банку, и он долго в нее отхаркивался, а в промежутках рассказывал, в основном про свое, сверкающее и грохочущее, ну, про то, как Дэзусу Кирисито явится к нам во второй раз в огне и сиянии своей ярости, он и все его светлое воинство – патэрен не сомневается – будут закованы в сияющую рениевую броню, вы увидите, обязательно увидите это, Сирень. Люди, работающие на обогатительных фабриках, пропитываются рением, и пусть они жили подло и скверно, но само их тело несет в себе искру творения...

Я глядела на него с опаской, думая о том, что профессор Ода, разумеется, прав – нигде я не встречу столько необычных людей, как здесь. Путешествие едва началось, а патэрен Павел уже плевал в банку черной легочной грязью и рассказывал про паруса солнечных клиперов, которые рано или поздно заполнят небо, вот-вот, надо ждать и не забывать греть ноги.

Я вздохнула и огляделась.

– Не волнуйтесь, – успокоил патэрен, – я не сумасшедший, хотя меня многие хотят таким выставить. И я не стал язычником и не поклоняюсь Вулкану. Но в этом все-таки есть доля истины, как вы не понимаете?!

Это он почти выкрикнул и тут же протянул банку, в которую сплевывал свою мокроту зачем-то, но, видя мое брезгливое сомнение, добавил:

– Возможно, это и есть пропуск в Царствие Небесное, вы поймите!

– Сомневаюсь, – сказала я. – Очень...

– Это же замысел! Это путь! Я давно его увидел! Пробить твердь и напомнить Ему о себе! Только так! Он любит, когда его удивляют.

Я улыбнулась. Все-таки сумасшедший, мама предупреждала.

– Вот, – улыбнулся патэрен. – Смотрите! Смотрите же! Звездная медь!

Он протянул мне на ладони небольшой кусок тусклого белого металла, по форме похожий на белемнит, по цвету вовсе на медь не походящий. Олово, возможно, чуть более блестящее.

– Не волнуйтесь, он не токсичен, – успокоил патэрен. – Токсичны агенты, с помощью которых его обогащают, здесь металл в связанном состоянии...

Тяжелый, пожалуй, тяжелее золота, и плотный. Он же дорогой, за этот кусок патэрен мог бы... вернуться домой. Вернуться к человеческой жизни. Вернуться.

Мама когда-то была в него влюблена. Когда-то он был социологом. Впрочем, какая разница? Он мог изучать античное искусство, или историю, или лингвистику. А теперь он, кажется, верит в близкое небо и в звездную медь.

– А, вы не верите, я вижу, – улыбнулся Павел. – Я вас понимаю, в наше время это тяжело, порой невозможно. Но ничего. Сразу не у всех получается... Спасибо тебе.

Он поднялся со стула и пошлепал босиком к выходу, разговаривая на ходу сам с собой. Дверей в экклесии не предусматривалось, Павел остановился на пороге:

– Спасибо твоей матери, что прислала тебя, ты – чудо, ты – радость глаз моих. Север близок, каждый день заполнен жестокими чудесами, я вижу их вокруг... но ты этого не понимаешь...

Я достала сверток из рюкзака, развернула бумагу. Свитер, красный. Патэрен Павел вдруг резко выхватил у меня свитер и стал надевать, спешно, лихорадочно, точно боялся, что я вздумаю забрать его обратно. Он надел его прямо поверх своей куртки и уселся на порог, выставив ноги, он продолжал бормотать, в уголках глаз поднималась пелена, патэрен Павел старался проморгаться через катаракту и шептал, втягивая голову в плечи:

– ... цель всего, Альфа и Омега, из каждого, проработавшего полгода на Кудрявом, можно извлечь полграмма... он оседает в легких, впрочем, как и золото. Администрации невыгодно, чтобы они возвращались домой, выгодно, чтобы они оставались здесь и догнивали оставшуюся пару лет в этой дыре. Потом трупы помещают в испаритель... Ну, дальше легко, вы понимаете, Сирень, вы же понимаете, каждый будет взвешен и найден слишком легким или слишком тяжелым, когда в твоих легких полграмма, вы понимаете – полграмма!

Те, кто приходил его слушать, поднимались по лестнице, медленно втягиваясь за сопку, как мусорная гусеница, как щупальце мертвого

осьминога, кошмар жены рыбака.

Патэрен поежился внезапно от налетевшего ветра, а я протянула ему слиток. Патэрен поглядел на меня, узнал, поглядел на свои руки в свитере, забрал слиток. Кажется, он пришел в себя.

– Насколько я поняла, администрация острова не заинтересована возвращать рабочих в Японию?

– Не заинтересована, – кивнул патэрен. – Это нерентабельно, рабочие есть одноразовый материал. В этом весь мой ужас... Знаете, у некоторых начинают светиться глаза...

– Но ведь насильно нельзя никого удерживать, – сказала я. – Рабочие заключают официальный контракт, в нем предусмотрено возвращение и льготы...

Патэрен отмахнулся:

– Это все так, но... После четырех месяцев в промышленной зоне многие не могут покинуть остров. Я сказал «многие», но на самом деле их большинство. Посмотрите на них, – патэрен указал пальцем вслед уходящим. – Посмотрите. Половина из них ходит под себя. Другая половина не может самостоятельно питаться. Третьи не помнят, кто они и зачем они. Они никому не нужны. Если физически они еще живы, то души их больны, в каждой по полграмма...

Патэрен замолчал. Он вовремя спохватился и стал смотреть на меня. Он как будто уснул с открытыми глазами, улетел на свое четвертое небо. А потом раз – и очнулся, и снова здесь, и ноги озябли.

– Не печальтесь, – сказал он. – Не печальтесь, ваша мать не любила печалиться. И идите своим путем, главное – идите, идите.

– Но как...

Патэрен Павел поймал мою руку и неожиданно поцеловал:

– Карафуту... Карафуту никому не нужен и ни для кого не интересен, зачем вам он нужен?

– Департамент Этнографии считает иначе, – возразила я, он сбил меня этим поцелуем, старый больной психопат. – Предполагается, что изучение состояния дел в южной части острова позволит заложить основу для дальнейшего развития промышленности и для рекультивации земель. Кроме того, моя миссия преследует гуманитарные цели – изучения положения дел ссыльно-каторжных, условий их заключения и окрестного быта для дальнейшей гуманизации...

– Да-да, – согласился он. – Смягчение нравов, это всегда. Думаю, у вас все получится.

Патэрен улыбнулся, и мне почему-то расхотелось с ним спорить, уж

тем более спорить о проблемах смягчения нравов. Я вообще его не понимала, такое всегда происходит, когда пытаешься общаться с сумасшедшим.

– Я, собственно, всего лишь наблюдатель. У меня нет задачи что-то менять, в моих силах лишь предоставить обществу... непредвзятую картину.

– А я, кажется, догадываюсь, зачем вы туда собираетесь. – Патэрен натянул ворот свитера до подбородка. – Это достойное желание, да, я вижу... Посмотреть им в глаза, да, это достойно. Вы храбрая девушка, но вы не представляете, что там...

Я пожала плечами; разумеется, я не представляла, что там, в этом заключалось мое преимущество. Свежий глаз.

– Там ад, – сказал патэрен. – Итуруп с его серой, жаровнями и живыми мертвецами – всего лишь преддверие инфэруно. Там ад. Я всей душой желаю, чтобы вы вернулись домой, но вы не вернетесь. Как и не повернете вспять. Храни вас Бог.

Патэрен перекрестил меня и обнял и некоторое время не отпускал, положив голову мне на плечо; у него была горячая голова, я чувствовала это через толстую кожу макинтоша.

– Идите, – сказал он через минуту. – Идите, погода портится, а вы должны успеть.

Я хотела сказать ему, что моя мама просила передать...

– Спешите, Сирень, а мне пора звонить.

И как-то получилось, что я оказалась вдруг на каменной лестнице, и я отправилась по ней вверх, шагая по плоским ступеням, но прошла немного, потому что услышала, как меня вдруг зовет патэрен, я остановилась и оглянулась. Он спешил ко мне, он подбежал и стал снимать с себя свитер.

Я попыталась его остановить, но патэрен неожиданно взволновался: его речь сделалась невнятной, патэрен перескакивал с японского на русский, жевал и ломал слова, и я уже никак не понимала это бормотанье. А он стащил с себя свитер, свернул его и протянул мне. Я не поняла зачем, снова и снова повторяла, что это подарок, но патэрен не слышал, настаивал, протягивая этот злосчастный свитер, и когда патэрен Павел вдруг заплакал, я свитер взяла. Он мгновенно успокоился и отправился к себе, а я осталась, стояла, опираясь на камень, и не понимала. Зачем?

Погода действительно стала портиться, к тому же стремительно – со стороны вулканов приближалась туча, и что-то мне подсказывало, что попадать под эту тучу не стоит. Я поднималась по лестнице, а за мной поднимался звон, и когда я оглянулась, то увидела, как патэрен Павел

бешено звонит в рынду.

Не знаю, от этого или от чего другого, но туча так и не перевалила через сопку, хотя дожидавшийся меня мэтр Тоши волновался и курил в наперстке канифоль, отгоняя от себя запах, оставшийся на камнях после того, как мимо проследовали прихожане Павла. Мэтр устал, он боялся дождя, но, видимо, патэрен звонил в свой колокол слишком хорошо – туча, зависнув над сопкой и постреляв молниями, развернулась обратно. И, глядя на это, мэтр Тоши пришел в настроение и убедил меня все-таки посетить кладбище китов, и я не пожалела, что поддалась на его уговоры.

Биосистема острова Итуруп пребывала в статично-угнетенном состоянии: на суше практически отсутствовали растения выше колена, прибрежная полоса была безжизненна, поверхность воды покрывала серая мутная пена, сама вода... собственно, не вода, а жидкость, субстанция, состоящая из стоков коллекторов обогатительных станций и шламовых накопителей, из сора, пепла и кислоты, из бочек, бутылок и ящиков, она колыхалась с механическим звуком и распространяла аммиачную вонь. Воздух здесь пуст, ни чайки, ни крачки, ни другие пернатые не украшали его своими голосами и движением, впрочем, глупо предполагать, что птицы сохранились здесь, на окраине. Кстати, единственное пернатое существо, виденное мною в жизни, – престарелый гусь в Императорском зоопарке в Токио, да и тот, справедливости ради стоит сказать, был некогда реплицирован, периодически умирал от рака и периодически же был воскрешаем кудесниками Императорской медицинской академии; в теле гуся насчитывалось семь имплантов, в целом же процент имплантации не дотягивал до сорока процентов, что позволяло считать гуся живым. Иногда он даже немного летал.

На всякий случай я спросила, не наблюдали ли здесь каким-либо чудом птиц, на что мэтр Тоши ответил, что последнюю птицу он видел лет в семь-восемь, он тогда жил в Вакканае. Его отец служил дровотаском, а он помогал ему в меру сил. Однажды на побережье вместе с плавником вынесло мертвую гагару, отец, опасаясь, что их обвинят в убийстве пернатого, велел маленькому Тоши молчать и закопал птицу в полосе прибоя. С тех пор птиц мэтр Тоши не видел, зато кладбище китов у них здесь выдающееся, вот здесь, рядом.

Кладбище китов меня не разочаровало. На относительно небольшом куске пляжа море собрало, по моим подсчетам, около пятидесяти мертвых китов, то есть их скелетов. Они выглядели как в старых романах про забытые берега и псоглавцев, их населявших: выглаженные ветром, изъеденные дождями и выбеленные солнцем кости и черепа морских

исполинов лежали на черном песке и ничего не делали; мэтр Тоши при виде всех этих останков пришел в волнение духа и стал подробно рассказывать об этих скелетах, как о своих друзьях.

Его неожиданное воодушевление было так велико, что я не решилась прервать его, и мы ходили по кладбищу около двух часов, в течение которых мэтр Тоши рассказывал о породах китов, об их возрасте, о том, что вот это кашалот, а вот это косатка, а вон полосатик, который умер от опухоли на позвоночнике. Под конец нашей экскурсии мэтр уселся на огромный череп и признался в том, что он мечтает умереть как можно скорее и быть сброшенным в море, хочет, чтобы рыбы и крабы объели его бестолковую плоть и очистили суть и чтобы его скелет вынесло вот сюда, на этот древний пляж, чтобы лежать рядом с этими костями, ведь он, мэтр Тоши, ценит удаленность, одиночество для него есть безусловное блаженство, так он и сказал.

Произнеся это, мэтр Тоши безобразно утратил лицо и стал плакать и бормотать о том, что в его мечтах у него нет никаких надежд и иллюзий, мэр не исполнит его посмертное желание, что мэр погряз в казнокрадстве и коррупции, у него есть неопровержимые доказательства, он собрал их в тетради...

Мэтр принялся копаться в своей одежде и извлек из нее пухлый, грязный блокнот красного цвета, протянул мне. Я не хотела его принимать, но мэтр Тоши почти насильно всунул его мне в руки, уверив, что в блокноте достаточно доказательств для отстранения мэра и предания его рукам правосудия, что правда должна восторжествовать.

Мне ничего не оставалось, кроме как пообещать донести до официальных лиц Департамента блокнот и скрытую в нем жгучую и выстраданную истину. После этих слов мэтр Тоши успокоился и на обратном пути к порту по большей части молчал, и лишь в порту он отчего-то опять растрогался, стал хлюпать носом и под конец тоже подарил мне золотую ложку.

Таким образом, на «Каппу» я вернулась во второй половине дня, тем самым пропустив погрузку смены и избавив себя от лицезрения отработавших на Кудрявом и других предприятиях Итурупа свою долгую смену.

По возвращении помощник капитана предложил мне согревающего чая из сушеных древесных грибов, но я отказалась: мне требовалось время, чтобы осмыслить увиденное и услышанное. Я устроилась на койке и стала думать. Они были немолодые, нездоровые, с тяжелым дыханием и слабонервные, впрочем, возможно, это от возраста, с годами многие

становятся слезливыми и сентиментальными, сам профессор Ода иногда бывал таким, что можно ожидать от людей, у которых в легких полтора грамма... то есть полграмма мерцающей звездной меди.

Я закрыла глаза и сразу почему-то увидела патэрена Павла; он стоял там, возле самой эkkлeсии, и бил в колокол, и на патэрeне горел красный свитер, который я видела издалека, причем я одновременно видела, что этот свитер лежит в кресле моей каюты, и опять же видела, как моя мама сидит у печки и вяжет этот самый свитер, наверное, из-за этого я поняла, что это сон. В этом сне была еще и вода, и какие-то птицы, не могла разглядеть, наверное, я бы их в конце концов разглядела, но тут закричали. Кричали долго, с дурной животной настойчивостью, а я все пыталась зацепиться за свой спокойный сон, но уже понимала, что это невозможно, что скоро я проснусь; и когда крики стихли, я проснулась и выглянула в коридор.

Возле каюты моего соседа-каторжанина стояли трое: матрос, суперкарго и помощник капитана. Матрос и суперкарго курили, а помощник капитана фиксировал что-то в черном блокноте. Оказалось, что Ину покончил с собой. Я не знала, как на это реагировать, и сказала, что мне, наверное, жаль.

Помощник капитана отмахнулся, заметив, что так ему будет гораздо лучше.

– Он был торговец зонтами, – с презрением сообщил помощник, – галантереей и плетеной мебелью. А потом убил молотком свою жену и ее мать. Он бы все равно никогда не вернулся домой. Для него это лучше, на каторге не любят женоубийц. К тому же он шел на «Легкий Воздух», так что тут ничего удивительного нет.

Я поинтересовалась почему, помощник ответил, что те, кого определяют в «Легкий Воздух», частенько предпочитают не затягивать дело и разбираются с собой еще по пути к острову, едва узнав, куда их распределили. Я спросила, разве «Три брата» не самая страшная из тюрем Сахалина, ведь именно про нее ходят наиболее жуткие слухи, именно она окружена множеством легенд, фантазий и домыслов; на это помощник капитана лишь усмехнулся.

А еще я поняла, почему Ину. В стену каюты был вварен крюк, к которому крепились цепь. Цепь обхватывала шею каторжанина, эта же цепь и свернула набок его голову. Рядом на полу стояла железная миска, в которой узнику раз в день подавали еду.

Его смерть не расстроила ни помощника Тацуо, ни остальных членов команды, наоборот, вызвала среди них некоторое оживление. По правилам

требуется бросить труп в катализатор, но боцман со вторым помощником, предварительно выписав надлежащие бумаги и доложив капитану о проведенной санации, спустили тело в трюм, где положили его в ящик с солью. На мой вопрос, зачем это нужно, помощник ответил, что по прибытии на Сахалин он обменяет труп у корейцев на экстракт клоповки – целебного средства, за которое по возвращении домой можно выручить неплохую сумму. Насколько я поняла, укрывательство трупов является частой практикой, потому что, по рассказам помощника, у них в ящиках всегда есть несколько мертвецов для обмена. Когда я спросила, зачем нужны трупы корейцам, боцман и помощник расхохотались, помощник же капитана посоветовал мне не забивать голову всякой ерундой, самоубийства случаются каждый рейс в количестве двух штук, а иногда и чаще, так что думать про это не стоит, вместо этого лучше отдохнуть, а трупы пусть отойдут к трупам. Я вернулась в свою каюту, но уснуть так и не смогла – лежала, смотрела в окно. Курильск мы покинули поздним вечером, успев выскочить в море до наступления сумерек, до того, как с вулканов начал сползать смог и ночная мгла полностью поглотила остров.

Не знаю, как так могло получиться, но я умудрилась проспять пролив Лаперуза во второй раз.

Монерон

Разглядывая остров сверху, я пыталась представить там себя.

Профессор Ода, пользуясь связями, сохранившимися со времен его службы в силах самообороны, раздобыл старый атлас, изданный еще до Войны. Естественно, никаких выходных данных, но, без сомнения, съемки довоенные – после Войны и уничтожения орбитальной спутниковой группировки картография откатилась на столетие назад и, судя по всему, обратно в обозримом будущем не поднимется, так что эти карты лучшее, что удалось найти.

Карты действительно были хороши; вооружившись лупой и устроившись в кресле на веранде, я изучала остров; снимки в разрешении Н, сквозь выпуклое, теплое и чуть желтоватое от старости и пропахшее табаком увеличительное стекло я наблюдала жизнь, какой она была много лет назад.

Остров Сахалин был зелен и покрыт дорогами, я глядела сверху на солнечные города, на праздничные улицы с развевающимися флагами, на машины, спешащие по своим неотложным делам, на детей, гуляющих с шариками, на ручьи, на мосты, на разогретые крыши, на просторные площади, на рыб, которыми кишели ручьи и реки, тысячи и миллионы рыб, стремящиеся к жизни и к смерти.

Там, внизу, под выпуклым стеклом, сияло лето. На площади, похожей на косую звезду, на широкой поляне среди ярких красных цветов отдыхали люди, некоторые сидели, другие лежали и читали книги, и рядом синел пруд, и вокруг бежала железная дорога. А рядом с цветущими кустами шиповника на красном клетчатом пледе лежала девушка и смотрела из-под ладони в небо. Снимок четкий и резкий, я видела лицо этой девушки, и мне представлялось, что она показывает язык.

Я изучала атлас и схемы, измеряя расстояния, вчитываясь в русские названия и сверяя их с японскими на старых и новых картах. На месте канувшей в атомную Лету Сахалинской области давно восстановлена префектура Карафутто, но это название используется исключительно в официальных документах и на академических картах. На практике большинство населенных пунктов Северных Территорий сохранили названия, которые они имели до Войны. Если честно, меня всегда занимал этот парадокс, я пыталась выяснить причины этого топонимического перекоса, но без какого-то внятного результата, в каждой из версий имелся

изъян.

Отец говорил, что тут все понятно: после Войны японцам больше не требовалось доказывать приоритет на Северные Территории, и интерес к этой теме упал, вплоть до того, что на уровне Императора было решено сохранить все прежние топонимы в качестве исторического назидания, в качестве напоминания о бренности сущего. Император-де, когда ему предложили проект переименования, улыбнулся и сказал, что до тех пор, пока жив хоть один русский, названия будут сохранены.

Мама утверждала, что это из-за чувства исторической вины. В первый день Войны Россия прикрыла Японию, перехватив стартовавшие баллистические ракеты Ким Ён Юна и расстреляв снаряды, направляющиеся в шахтах и на стартовых столах. После Недели Огня, уничтожившей Европейскую Россию, Западную Сибирь, Китай и Северную Америку, после того как на континенте вспыхнуло мобильное бешенство, Япония ввела режим изоляции, и силы самообороны в течение трех месяцев только в Татарском проливе сожгли и пустили ко дну около пятисот судов под российским флагом. Когда же бешенство охватило все побережье, территория Хабаровского края была санирована с применением ядерного и химического оружия. По самым скромным подсчетам, тогда погибли около восьми миллионов человек, не считая китайцев. В память об этом и чтобы не гневить духов, русские названия городов, рек и островов были сохранены, а всем русским беженцам, уцелевшим в Войне, назначили усиленный паек. По данным нашего департамента, на сегодняшний день на территории Империи находилось порядка семнадцати этнически русских. Все они проживали на острове Сахалин.

Мой коллега, инженер отдела приборного сканирования Ясуда, объяснял это топонимическое противоречие несколько иначе, скорее в духе средневековых романов: якобы отец нынешнего Императора, тогда еще наследный принц Ясухито, в пору своей военной службы провел восемь лет на базе сил самообороны в Анивском заливе. В то время на Сахалине еще жили относительно многочисленные русские, в начале Войны спасшиеся с материка, и якобы принц был влюблен в девушку Аню, дочь погибшего гвардейского генерала. Но Аня умерла, так и не оправившись от всех ужасов, через которые прошла их семья во время Амурской резни, учиненной дезертирами корейской народной армии. Принц, ставший впоследствии Императором, в память о своей возлюбленной велел сохранить все русские названия Сахалина. Кстати, именно с принца Ясухито и его «Закона об исключении» пренебрежительное и несколько презрительное отношение к корейцам стало нормой в нашем обществе,

никто без особой надобности не унизит себя прямым общением с корейцем, нахождение в обществе корейца вызывает у большинства подданных Императора дискомфорт и желание отдалиться. В крупных городах даже существуют общества корейского презрения, содержащиеся исключительно на добровольные пожертвования.

Нельзя не вспомнить также предположение известного антрополога Исами Като, озвученное им на юбилейной тридцатой конференции Императорской Академии Наук. Профессор Като полагал, что сохранение за Северными Территориями прежних названий есть не что иное, как проявление своеобразной охранительной магии. Северные островные земли хотя отныне и входят в Большой кадастр в качестве исконных территорий, но в метафизическое пространство Империи до сих пор не включены в силу того, что территории префектуры Карафуто не были приобретены надлежащим путем – ни завоеваны силой оружия, ни присоединены мощью экономики, ни отторгнуты хитростью дипломатии. Они достались без усилий, без видимых жертв, в качестве куска, отвалившегося от великой страны, а следовательно, сакрально они не могут являться полноценным уделом Императора. Это пограничные территории, вымороченные и малоначальные, даже географически пребывающие на рубеже между Японией, удержавшей огонь цивилизации, и материком, погружившимся в пучину хтонического хаоса. Отсюда проистекает некоторое инстинктивное нежелание сообщать (или пусть возвращать) этим землям японские названия, Император, как всегда, мудр и смотрит вперед, смотрит гораздо дальше, чем мы, да здравствует Реставрация.

Кстати, профессор Като, достойный престарелый магистр, узнав о том, что мне все-таки удалось добиться разрешения на посещение Сахалина, просил в письме собрать как можно больше свидетельств наличия или, напротив, отсутствия на острове проявлений явной духовной жизни; профессор же Ода, узнав об этой просьбе, назвал своего коллегу пошлым дурнем и советовал не занимать голову этим бредом. Сам же Ода полагал, что подобная топонимическая политика не связана ни с духами, ни с прочей мистикой; по его мнению, за последние пятьдесят лет менталитет японцев претерпел изменения, причем такие, которые не претерпевал и в эпоху открытия Японии в веке девятнадцатом. В частности, ирония, ранее присущая лишь японцам высоких сословий, сейчас стала одной из самых заметных черт национального характера, причем эта ирония, как и прочие семена, попавшие на послевоенную японскую почву, проросла причудливыми, необычными, отчасти большими цветами. Чем еще можно объяснить сохранение старых названий и дичайшую для японца начала

века практику присвоения кораблям, самолетам и прочей технике откровенно американских имен? Именно поэтому Холмск есть Холмск, а не Маока, и воды Татарского пролива бороздит не «Хаябуса», а «Энола». В качестве доказательства профессор Ода предъявлял уличного пса Джейфа, наглого попрошайку, с утра до вечера болтавшегося по кварталу и своим жалким видом добывавшего пропитание. Пес был в своей стезе так хорош, что разожрал такое здоровущее пузо и на некоторое время лишился мизерабельности и подаваний.

Кстати, путешествие по Сахалину я планировала начать именно в Холмске, который сейчас считается административной столицей острова, Южный же, хотя и является самым густонаселенным городом, управленческих функций лишен. Оттуда я намеревалась направиться на север, в мои планы входило посещение трех действующих на территории острова каторжных тюрем, беседы с чиновниками, военными и каторжанами, описание экономики и, если ее можно так назвать, социальной сферы, одним словом, составление путевых записок и собирание впечатлений, хлеба прикладной футурологии.

Я предполагала, что уже сегодня вечером смогу ступить на землю префектуры Карафутто, однако выяснилось, что между Итурупом и Холмском наше судно должно посетить еще одно место. После полудня помощник капитана Тацуо постучал в дверь и позвал на палубу – «Каппа» вошла в Татарский пролив. Помощник капитана, его упоенная самовлюбленность и архаичная привычка помадить волосы успели мне сильно надоесть, и я даже подумывала его немного покалечить, но, выйдя на воздух, забыла об этом.

Стояла прекрасная погода, солнечная и спокойная, практически безветренная, не подразумевавшая лишней суеты, не располагавшая к взаимодействию с помощником Тацуо. Воздух был прозрачен и чуть горьковат, вода напоминала желе, на ее поверхности не играли блики, я прищурилась и смогла разглядеть ярких морских звезд на дне и длинные полосы морской капусты, они привычно напомнили косы русалок, ничего не поделат, некоторые вещи могут напоминать только то, что могут.

Я посмотрела на запад, в сторону континента, и на мгновение показалось, что я его вижу – над тонким горизонтом поднимались тяжелые и темные фата-морганы, то ли отражения берега в небе, то ли тучи, то ли гарь от все еще пылающих лесов; между «Каппой» и невидимым берегом белела «Энола», она, как щепка, балансировала на переломе горизонта и была наготове. На северо-востоке в легкой неправдоподобной дымке плыл близкий Сахалин, он выглядел неожиданно зелено и нарядно, после слов

патэрена Павла я ожидала увидеть нечто другое, впрочем, это мог быть обман зрения – впечатление от солнца, утра и чистого воздуха, навалившегося на меня после душной каюты.

Перед нами же лежал Монерон, большой камень, оброненный здесь в суматохе творения; при ближайшем рассмотрении создавалось впечатление, что остров шевелится, его поверхность была подвижной и живой, сначала я подумала, что мне это почудилось.

Помощник капитана не вдохновлялся воздухом и ветром, он уныло продолжал оказывать неловкие знаки внимания, однако в этот раз не пытался впечатлить меня ни саблей, ни сверкающим кителем, ни бравой выправкой, а неожиданно подарил небольшую книжку – «Путеводитель по островному региону». Она была издана в карманном формате почти сто лет назад, за это время основательно обтерлась и скруглилась, но бумага оставалась плотной и сохранной, буквы расползались лишь по краям страниц, текст оказался пригоден для чтения, я открыла нужную страницу и, пока «Каппа» аккуратно приближалась к острову, прочитала две страницы про Монерон. По мере приближения становилось понятно, отчего остров казался живым.

Его заполняли китайцы. На первый взгляд казалось, что они занимали половину острова, но это, разумеется, было не так – просто китайцы плотно сгрудились на пологом берегу у залива, к которому подтягивалась «Каппа». Удивительное зрелище. Нет, мне и раньше случалось видеть большое скопление людей, например, на праздники на площадях собирались десятки тысяч, но здесь...

Помощник капитана протянул бинокль, но я не хотела смотреть на китайцев. Помощник же, ходивший по маршруту Вакканай – Курильск – Холмск четыре раза в год, отметил, что в этот раз беженцев на Монероне меньше, видимо, в силу суровой бесснежной зимы. Я заметила, что для пережидания зимы на берегу нет ни барачных, ни палаточных, ни каких-либо других обиталищ. Помощник капитана Тацуо сказал, что зиму здесь переживают в норах и землянках, что, безусловно, играет положительную карантинную роль – к моменту эмиграции на острове остаются самые здоровые и выносливые, готовые лицом к лицу встретиться с Сахалином. Кроме того, к Монерону прибывает большое количество разнообразного морского сора, который осенние и зимние шторма исправно загоняют в Татарский пролив; ожидающие эвакуации с Монерона мастера из этого материала самые удивительные вещи, так, например, некоторые умудряются плавить пластиковые бутылки, распылять их в вату и из этой ваты шить ватники. По слухам, на острове есть и постоянные жители:

семья, обитающая в старинных бункерах и от долгих лет пребывания на Монероне утратившая человеческий облик.

Помощник Тацуо ухмыльнулся и немедленно рассказал, что тут утрачивают человеческий облик достаточно быстро, большинство же высаживается здесь уже безо всякого облика, в частности на Монероне процветает... Помощник капитана ухмыльнулся чересчур доверительно, так что я испугалась, что сейчас он сообщит особо омерзительные детали и поведает о разнузданных повадках островитян, но, к счастью, его оборвала сирена, которая вызвала на берегу серьезное оживление. Помощник Тацуо от сирены поперхнулся и теперь кашлял, сплевывая за борт мокроту, а я смотрела на Монерон.

Несмотря на лето, остров был желт и местами черен; я спросила у помощника, отчего здесь не держится растительность, ведь и на выжженном Итурупе она прозябала по берегам ручьев. Тацуо, отплевавшись, снисходительно усмехнулся и объяснил, что всю случайную траву, лишайники и прибрежные водоросли пережидающие зиму съедают подчистую, так что остаются лишь камни, землю с Монерона съели давно, сейчас там вылизанный камень, причем сидящие на острове умудрились обглодать старую часовню, построенную из красного кирпича.

Сирена снова проревела, и шевеление на острове усилилось, китайцы сгрудились у берега, отчего возникло ощущение, что остров накренился и вот-вот зачерпнет воды. Помощник Тацуо засмеялся, сказал, что это самое смешное – когда они все бегут и давят друг друга, а если в этот момент чиркнуть с кормы пулеметиком, то станет еще смешнее.

Я думала, что мы подойдем ближе к берегу, что будут спущены лодки или плоты, но этого не произошло, наш сухогруз развернулся бортом к острову, и почти сразу все началось. Первыми в воду бросались женщины. У каждой в руках пустые пластиковые бутылки, держась за них, женщины плыли к «Каппе».

Видя мое удивление, помощник принялся пояснять ситуацию; то и дело он указывал пальцем и снова пытался всучить бинокль, но он опять нагрел его своим лицом, и я отказывалась, тогда он стал предлагать мне пулемет, и я не могла понять – всерьез или нет, поскольку команда внезапно вооружилась ручными пулеметами, а помощник Тацуо бубнил, что, если я захочу, он быстро сбегает в оружейку и принесет буллпап, отличную машину, изящную, тонкую, калибр небольшой, но пули с урановыми сердечниками, секут, как гвозди...

Меня немного затошнило. Эти женщины слишком старательно плыли к нам, слишком усердно, от этого почему-то тошнило. Их движение,

наполненное животной силой, выглядело неприятно, впрочем, вполне могло стать, что тошнит меня от близости помощника капитана, который тяжело дышал рядом и рассказывал.

На сегодняшний день там, в Татарском проливе, дежурит порядка пятидесяти разных судов, обеспечивающих режим изоляции, в основном это катера и переоборудованные рыболовные сейнеры, которые ежедневно вылавливают в проливе беженцев с материка. Этих беженцев до сих пор много, хотя и не так, как раньше. Большинство из тех, кто пытается спастись с материка, – мужчины, женщин гораздо меньше, еще меньше детей, которых, разумеется, сразу же отправляют в Японию. Остальные же свозятся на Монерон, в карантинную зону, откуда по мере заполнения острова, но не чаще чем раз в три месяца, их собирают идущие в Холмск суда.

Первое время эвакуация с Монерона осуществлялась бесконтрольно, однако скоро администрации префектуры пришлось вмешаться, поскольку женщины на острове не выживали, а префектура заинтересована прежде всего в женщинах. Поэтому вводилась определенная квота, и отныне эвакуация осуществлялась в соотношении один к десяти, то есть для того, чтобы эвакуировать десять мужчин, надлежало поднимать на борт одну женщину, выживаемость женщин на острове повысилась, поднимать же на борт их надлежало первыми, вот они плывут, смотри.

К помощнику капитана приблизился незнакомый судовой офицер, и они стали делать ставки, кто доплывет первым, и кричали, подбадривая своих фавориток. Помощник капитана Тацуо выиграл.

Женщин подплыло к судну, думаю, не меньше пятидесяти; волны качали их, и было слышно, как стучат о сталь «Каппы» пластиковые бутылки и головы. В воду сбросили грузовую сеть, и женщины тут же стали торопливо по ней карабкаться, они переваливались через борт и, тяжело дыша и выплевывая воду, лежали еще некоторое время на палубе; к каждой подходил судовой врач в резиновом костюме, совершал осмотр, глядел в глаза, в рот, в уши, после чего матросы пинками загоняли счастливиц в трюм. Некоторые из женщин обессилели настолько, что сами влезть по борту не могли, они едва приподнимались над водой, как тут же обрушивались обратно, теряя силы с каждой попыткой; команду «Каппы» это очень веселило, они подбадривали беженку плевками и оскорблениями. Когда отставшие лишились сил и стали просто болтаться в воде, держась за веревки, всех сразу подняли краном, в сети, и, подвесив над трюмом, высыпали в люк.

«Каппа» дала два длинных гудка – это означало, что пришла очередь

мужчин, и тут же все, собравшиеся на берегу, поплыли к нам. Я отметила, что беженцы не только соревнуются в скорости, направляясь в сторону нашего корабля, но по пути еще активно убивают друг друга, используя для этого кулаки и камни. Помощник капитана Тацуо пояснил, что мужчин всегда больше, чем требуется, поэтому каждый, кто плывет, знает, что его место может быть занято другим, и стремится при первой же возможности этого «другого» нейтрализовать, освободив жизненное пространство для себя.

Мужчины добрались до сухогруза быстрее женщин: они уперлись в борт и стали стучать в него кулаками, дружно и настойчиво, так что я, стоя наверху, почувствовала их силу и злость и невольно представила, что может быть в том случае, если они выйдут из повиновения. Вряд ли их остановят пулеметы. Но такое, конечно, маловероятно. И даже не из-за пулеметов. Бегущие с материка знают, что уйти на сухогрузе – единственный шанс, и разменивать его они не собираются.

«Каппа» качнулась, и начался подъем, мужчины действовали деловито и самостоятельно, взбирались по сети, подбегали к доктору, открывали рот и выпучивали глаза, спрыгивали в трюм. К трюмным люкам тотчас устремились матросы, одни зажигали вонючие санитарные фейеры и кидали их вниз, а другие, вооружившись лопатами, разбрасывали над головами вновь прибывших белый антисептический порошок. Все происходило слаженно и отработанно, погрузка продолжалась.

Вода вокруг «Каппы» кипела китайцами. Они бултыхались возле борта, кричали, убивали друг друга, гроздьями висли на сети, продолжали переваливаться через борт, их было так много, что они не успевали спускаться в трюмы, и скоро вся палуба оказалась заполнена мокрыми беглецами. Я смотрела. Помощник капитана Тацуо, видимо желая произвести на меня очередное впечатление, выхватил револьвер и застрелил несколько китайцев, практически достигнув цели, но это не остановило прочих, они продолжали и продолжали наступать.

Неожиданно сухогруз дал несколько резких гудков, матрос, стоящий справа от меня, поднял пулемет и дал длинную очередь в воздух; помощник капитана пояснил, что «Каппа» приняла на борт порядка тридцати тонн китайцев, и больше принимать не станет, поскольку сухогруз в его нынешнем состоянии рассчитан только на такое количество.

Однако беженцы не думали униматься, они лезли и лезли по сети, и тогда матросы стали стрелять уже не в воздух.

Холмск

Холмск поразил меня своими значительными размерами, грязью и бросающейся в глаза нищетой. Некогда относительно небольшой портовый город расплзся по окружающим сопкам и холмам, занял все побережье и теперь решительно походил на огромную кучу отбросов. Перед началом путешествия я использовала наш фамильный доступ к закрытым фондам библиотеки Императорского Университета, где смогла ознакомиться с обширным корпусом литературы, посвященной Тихоокеанскому региону и бассейну Охотского моря, в частности, в моем распоряжении были фотографические альбомы, созданные в самом начале века. В девятнадцатом и двадцатом веках Холмск выглядел аккуратно и привлекательно, теперь же все изменилось в худшую сторону; город одряхлел, выцвел и замшел, не осталось и следа от той веселой зелени, что некогда издали приветствовала мореплавателей и дарила отдохновение их глазам и душам, исчезли аккуратные постройки, сопки, казалось, просели сами в себя, небо над городом приобрело неприятный горчичный цвет, впитав в себя дым и гарь.

Грузовой порт выдвинулся далеко в море пирсами и волноломами, многочисленные башенные краны напоминали любопытные скелеты, угольные терминалы походили на инструменты трудолюбивых великанов, суда, ждущие погрузки, терялись на фоне терриконов и выглядели игрушками; вся эта индустрия размещалась безо всякого явного плана, практически друг на друге, она дымила, лязгала, выпускала пар и ревела сиренами, и было удивительно, что все это работает.

Сам город точно высыпали сверху из жухлого мусорного мешка; в нагромождении кособоких рыжих халуп и двухэтажных, составленных из металлических морских контейнеров бараков не просматривалось никакой планомерной застройки; в этой бесхозной россыпи серело несколько крупных зданий-пугал, оставшихся от прежних времен.

Я настроилась на долгое и томительное ожидание в бухте, однако, к моему удивлению, все случилось достаточно быстро – «Каппа» причалила к бетонному пирсу, помощник капитана, сопроводивший меня до контрольного поста, посоветовал держаться осторожнее и напомнил, что через три месяца, перед самым началом зимы, судно снова придет в порт Холмска. Кроме того, он пообещал, что закроет мою каюту, и я, если имею лишние вещи, могу их без опаски оставить, никто в нее не войдет до моего

возвращения. Перед самым постом помощник покраснел, сказал, что он знает в порту приличное заведение, там подают салат из гребешков, выращенных на изолированных фермах, очень неплохой салат. Я попросила напомнить, как его зовут, и он, конечно же, обиделся.

Сразу за контрольным пунктом меня встретил чиновник из островной администрации, господин Т.; я, кажется, вызвала в нем скорбные чувства – он осведомился, захватила ли я оружие для случая самообороны. Я ответила, что оружие есть, и, распахнув макинтош, продемонстрировала пистолеты. Господин Т. не сильно успокоился и тут же, прямо в порту, надел мне на левую руку браслет, дающий право на ношение и применение револьверов, пистолетов и автоматического оружия на территории префектуры и в трехмильной прибрежной зоне; браслет выглядел уродливо и обхватывал запястье чересчур плотно.

– Ношение и хранение огнестрельного оружия на острове строго запрещено, – пояснил господин Т. – Любой, нарушивший положение, подлежит немедленному уничтожению без расследования. Разумеется, на свободных подданных императора этот запрет не распространяется, но формальности должны соблюдаться, это остров. Вам, как путешественнице, иметь оружие надлежит обязательно. Да, наши китайцы безропотны и безобидны, однако среди каторжных имеют место случаи бегства.

И господин Т. рассказал, что весной из Александровской тюрьмы бежали шестеро заключенных, которые впоследствии три месяца терроризировали население, творили насилия, грабежи и иные бесчинства; что для их поимки пришлось снять команду с миноносца. Побег, по словам господина Т., явление регулярное. Однако каторжные бегут не от непереносимых условий, от жажды воли или от тоски по дому, а в основном из-за своих дурных наклонностей. Остров закрыт так надежно, что за все время изоляции и существования каторжных тюрем не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая удачного бегства. Бегут не для свободы, а для того, чтобы погулять. Как правило, такие побег заканчиваются зверствами, творимыми беглецами над поселенцами, поджогами имущества, прочими злодеяниями, нападениями на посты береговой охраны, уничтожением коммуникаций.

Обычно в таких побегах участвуют несколько каторжных, причем практически всегда это бессрочные, сосланные на Сахалин без права возвращения на родину и пребывающие в каторге до состояния недееспособности. Те, кто прислан отбывать каторжные работы на десять, пятнадцать и двадцать лет и имеют надежду перейти в состояние

ссылных, бегут редко, причиной их побега в основном становятся тяжелые условия содержания, изнуряющие работы и притеснения со стороны тюремных надзирателей. Впрочем, имеются и так называемые «регулярные беглые» – каторжники, отправляющиеся в бега в начале лета и возвращающиеся к наступлению первых холодов; тюремная администрация выписывает такому полсотни ударов палками и отправляет на месяц в карцер, после выхода из карцера каторжный живет как ни в чем не бывало и потихоньку готовится к новым странствиям. Такие беглецы не чинят безобразий над поселенцами, а бродяжничают по острову, иногда добираясь до северных его районов, промышляют собирательством и мелким воровством. Обычно они не опасны. Но вот беглецы из первой категории отчаянны и зачастую кровожадны, так что господин Т. настоятельно рекомендует держать оружие при себе и днем, и ночью.

– Завтра мы предоставим вам охрану, сегодня же вам лучше воздержаться от прогулок по городу без сопровождения.

Господин Т. позвал рикшу, мы погрузились в довольно опрятную велотележку, и рикша бодро потянул нас прочь из порта, в гору, на холм, где раскинулся японский квартал. Рикша попался старательный и расторопный, бежал быстро, но плавно, умело огибая колдобины и ямы, так что я смогла осмотреть город без особого дискомфорта.

Если закрыть глаза на обильное китайское население и нищету, Холмск мало чем отличается от безобразных приморских городков, во множестве разросшихся в последнее время в наших западных префектурах. Порт и прибрежная индустриальная полоса, за ней жилой сектор, затем холмы с домами подданных первых категорий. Город густо и сверх ожидания населен, смраден и тесен, в нем не видно следов использования электричества, дороги скверны, движение бессистемно, что, однако, не препятствовало нашему продвижению, – встречные китайцы расступались, снимали шапки и кланялись, а если кто умудрялся зазеваться, рикша загодя предупреждал его свистком.

В пути господин Т. рассказал про Холмск. Про то, что город развивается в соответствии с утвержденным планом, строится порт, крупнейший на острове, он обеспечивает около восьмидесяти процентов грузоперевозок, восстановлена ведущая на север железная дорога, запущен проект по разработке и вывозу оставшихся плодородных почв, одним словом, индустрия на подъеме, если нужны данные, он может предоставить. Я спросила насчет населения, господин Т. ответил, что население стабилизировано ориентировочно на полутора миллионах, и есть

еще ресурсы по сокращению; впрочем, увеличение численности администрацию префектуры не пугает – здешние инженеры разработали технологию обогащения земли питательными элементами и прессования ее в питательные брикеты, что отчасти снимает продовольственную проблему. Индустрия растет поступательно, в частности, два года назад запущена и успешно функционирует модельная электростанция, работающая на сушеных мертвецах, пропитанных отработанным торфяным маслом. Эта электростанция обеспечивает энергией четыре рыбных садка и освещает центральную улицу. Точных данных о количестве смертности, равно как и рождаемости, у господина Т., по понятным причинам, нет, однако каждый год только из Холмска в Японию отправляется примерно двенадцать тысяч условно пригодных к труду лиц в возрасте до двадцати лет, что превышает норму в полтора раза, если экстраполировать это на примерное число женщин фертильного возраста...

Наша коляска катилась по однообразным нешироким грязным улицами; когда-то они были чисты и просторны, и возможно, здесь росли деревья; сейчас же все это сгнуло, улицы сузились под натиском полутора миллионов китайцев и корейцев, пришедших сюда с континента, по сторонам высились бараки с многочисленными пристройками, надстройками, переходами и дверями, в которые с трудом протиснулся бы взрослый человек, походившие, скорее, на обиталища насекомых, а не на человеческое жилье. Лишь иногда сквозь убогую личину новой жизни проступали очертания прежнего – красивый дом с полукруглыми окнами и свободной крышей, высокое трехэтажное здание, выкрашенное неожиданно розовой краской, водонапорная башня, в баке которой размещалось нечто похожее на обсерваторию.

Коляска мягко покачивалась на рессорах, господин Т. монотонно бубнил про вывоз рабочей силы и строительство третьей очереди опреснителя, я же после недели на борту «Каппы» почувствовала усталость и близкий сон, однако старалась держаться и проявлять вежливый интерес к рассказам сопровождающего. Думаю, рано или поздно я бы уснула, но внезапно послышались крики, и рикша остановился, в испуге обернувшись на нас; господин Т. рассердился, несколько раз хлестнул рикшу по шее и отчитал его за неверно выбранный маршрут.

– Извините меня, – вздохнул господин Т. – Я совершенно забыл, что сегодня надо держаться подальше от площадей. Но теперь уже поздно отворачивать.

Отступить было действительно нельзя – толпа прибывала, выдавливаясь из домов и проулков, я никогда не видела столько китайцев.

На нас они старались не смотреть, огибали, оставляя между собой и повозкой просвет, спеша вперед, где между строениями просматривалось свободное пространство.

– Что там происходит?

Рикша улыбнулся и несколько раз кивнул.

– Это некий обычай, – сказал господин Т. с некоторой долей брезгливости. – Своеобразный здешний феномен, если есть желание посмотреть, то извольте... Боюсь, это может показаться вам варварским, но с познавательной точки зрения... Очень хорошо характеризует нашу нынешнюю жизнь.

Господин Т. печально вздохнул, я увидела, что он еще не очень старый человек, хотя, как и многие здесь, выглядит значительно старше. А местным обычаем полюбоваться я согласилась. Т. отдал приказ рикше, и тот принялся свистеть пронзительнее и проталкиваться вперед, используя для этого силу своих плеч и иногда короткую плотную дубинку из черного материала – по-видимому, дубинка эта оказывала болезненное действие, во всяком случае, китайцы разлетались по сторонам, как деревянные шары. Благодаря этим усилиям мы сумели быстро продвинуться глубоко в толпу и оказались на площади. Мы покинули палантин и поднялись на особое возвышение, откуда было удобно наблюдать за происходящим.

Здесь собрались в основном китайцы в серых мешковинах и пластиковых халатах, их присутствовало подавляющее количество, однако я заметила и некоторое число каторжных; они были обряжены в одинаковые комбинезоны из брезентовой ткани и по старой каторжной традиции носили на спинах пришитые желтые ромбы. Каторжные держались отдельно от китайцев, большинство имели на руках и на ногах кандалы, а некоторые держали у ног железные ведра. Собравшиеся волновались, пребывая в приподнятом настроении, они оживленно переговаривались и ожидали начала.

– А что это за обряд? – поинтересовалась я.

– Мордование негра, – ответил господин Т. – Сегодня шестое, а шестого и девятого числа каждого месяца у нас мордование негра, вы не слышали?

Господин Т. указал в центр площади, где доделывали невысокий, в половину человеческого роста, помост из досок и автomotorных покрышек, из центра помоста торчал крепкий высокий столб. Вокруг столба бродил удивительно упитанный человек, на шее его болталась свернутая удавкой веревка длиной метра в четыре. Руки и ноги у него тоже оставались свободны; я отметила, что привязанный к столбу человек вовсе не негр, а

скорее латино, южный американец. Господин Т. пожал плечами и ответил, что причина подобного названия ему неизвестна, видимо, первый из замордованных в эти дни был негром, а потом и название, и сама традиция прижились и распространились по остальному острову.

– Здесь у нас мало развлечений, – сказал господин Т. – Особенно у каторжных и ссыльных. Так что многие ждут этих дней с нетерпением, готовятся к ним. Это большие праздники, особенно для нас – мы не можем себе позволить такой размах, как в прочих местах.

Господин Т. стал сравнивать Холмск с другими населенными пунктами префектуры, в частности с обнаглевшим Южным, который, по уверению господина Т., совершенно бесполезен для острова, более того, вреден, поскольку проживающие в нем китайцы, корейцы и прочий сброд давно утратили страх, они объединяются в секции и наращивают экономическую мощь. Того и гляди мы получим у себя под боком миллион кровожадных дикарей. Центр не видит этой проблемы, а между тем она назрела и вот-вот полыхнет, а части самообороны, находящиеся на острове, пребывают в известной степени разложения, причем государственно ориентированные чиновники, военные и коммерсанты не перестают доносить до руководства горькие слова истины. В частности, он, господин Т., имеет ряд предложений по организации и оптимизации, а именно: необходимо возобновить практику «ночей клинка» в окрестностях Южного – это во-первых, во-вторых, имеются простые, но чрезвычайно эффективные соли и агенты, опробованные еще во время кампании в Индокитае, достаточно распылить эти соли и агенты в надлежащем количестве над Южным, и среднегодовое количество осадков сократится в три с половиной раза, что положит решительный предел этой ползучей реконкисте. А в-третьих, – тут господин Т. переключился на шепот, – в-третьих, настоящие патриоты, коих немало еще осталось даже здесь, эти патриоты давно думают – господин Т. оглянулся, – думают о том, что неплохо бы вспомнить старое доброе время, когда высоко и гордо реяли флаги...

Сказав это, господин Т. пошевелил глазами, сдвинул рукав и как бы невзначай продемонстрировал татуировку. 731. Я ничуть не удивилась.

Тем временем действие, ради которого мы собрались, началось. Затрубили, толпа сдвинулась, и в упитанного негра стали бросать камни и все подручное – гайки, раковины, палки.

Негр, невзирая на комплекцию, оказался человеком довольно вертким – он умудрялся уклоняться от брошенных в него предметов, причем делал это до того ловко, что некоторые снаряды перелетали в толпу китайцев и калечили их. Среди самих китайцев это вызывало энтузиазм, никто и не

подумал отступить или использовать что-нибудь для своей защиты, напротив, они, казалось, с удовольствием получали удары, встречали их смехом, причем, если камень или гайка наносили ощутимый ущерб – рассекали лоб или выбивали зубы, толпа начинала радостно гудеть, а некоторые сразу кидались собирать в пыли площади выбитые зубы, зачем – непонятно, вполне возможно, из них потом приготавливали лекарства или носили их как амулеты от сглаза или как украшения, не знаю.

Господин Т. заметил, что кидать в негра могут лишь каторжники или же японцы, вышедшие в состояние поселенцев, китайцам дозволено мордовать иначе – плевать и поносить американца бранными словами. Я спросила, что это за каторжные с ведрами? Первоначально я полагала, что в ведрах они держат метательные снаряды, но потом заметила, что нет; к тому же ведра были достаточно тяжелы – лишь немногие из них могли удерживать их на весу, большинство ставили к ногам.

Господин Т. пояснил, что это так называемые Прикованные к ведру – каторжные, совершившие тяжкие преступления и отныне обязанные всюду носить с собой ведра, заполненные свинцом. Вес ведра определяется тяжестью проступка, некоторые ведра так тяжелы, что каторжные не могут полноценно перемещаться даже внутри территории тюрьмы, у других же вес относительно небольшой, и они могут относительно свободно путешествовать по острову для производства различных работ, разумеется, это они делают под надзором тюремного старосты или солдата. Если патруль или надзиратель заметит, что Прикованный к ведру перемещается без ведра, то такому нарушителю немедленно выписывается до тридцати палок, а за повторное в течение года нарушение и до пятидесяти.

Я спросила, какой смысл в этом странном установлении – разве может ношение тяжелого ведра способствовать исправлению осужденного, на что господин Т. ответил, что скоро я перестану искать смысл в каторге, потому что его нет. Что-что, а исправление осужденного в задачи тюремного начальства не входит.

Между тем мордование продолжалось: американец сумел раззадорить публику, он корчил рожи и оскорбительно оголял задницу и, когда это вызывало ропот негодования и шквал снарядов, отпрыгивал в сторону или подставлял под камни брюхо. Тактика его, насколько я поняла, заключалась в следующем – как можно быстрее двигаться и держаться возле столба, который хоть немного прикрывал от ударов. Кроме того, защитой служил и жир, покрывающий тело негра, и, хотя по лицу и телу американца в изобилии текла кровь, я отметила, что серьезных повреждений нет, а ужасные кровавые раны есть не более чем рассечения кожи и жирового

слоя. В сущности, весь этот кровавый спектакль есть не что иное, как цирк, представление, корнями, да и названием своим восходящее к легендарному американскому реслингу, в котором, как известно, одни негры притворно ристались с другими.

Господин Т. сказал, что бывает по-разному: случается, что публика входит в азарт и тогда мордуемого закидывают насмерть, а случается и наоборот – мордуемый вызывает у публики уважение своей наглостью, ловкостью и храбростью, так что вместо камней, железок и плевков ему кидают что-то из провизии, особенно в конце. Иногда на площадь являются специально обученные метатели, чьи броски поражают негров с высокой эффективностью, ломают кости, разрывают плоть и отсекают пальцы, и для мордуемого такой расклад, разумеется, много шансов на успешный финал не оставляет. Но в целом смертельный исход не приветствуется – с каждым годом американцев становится все меньше и меньше, и очень скоро их может не остаться совсем. А между тем присутствие в поселении негра для битвы весьма благотворно сказывается на психологической атмосфере поселенцев и на социальной сфере.

На мой удивленный взгляд господин Т. улыбнулся и сказал, что наличие кого-то еще более угнетенного пробуждает во многих поселенцах нравственные чувства, но особенно в присутствии негра возвышается национальный дух, улучшается единство народа, многие после представлений приобретают портреты Императора и записываются в добровольческие фаланги. Как бы в подтверждение этого утверждения в негра угодил чугунный черепок, брошенный кем-то с силой и высоким умением, чугун отсек негру ухо и, видимо, задел крупные кровеносные сосуды, поскольку кровь не просто потекла, но брызнула тонкой струйкой. Негр повалился на землю, одной рукой он зажимал кровь, другой шарил вокруг себя в поисках оторванного уха; толпа загоготала и вдруг затянула незнакомую песню, в которой присутствовали слова о далекой родине, забывшей своих непутевых детей, о ненаглядной и единственной, которая устала ждать, глядя на молчащее море, о том, что самое сладкое вино чужбины всегда горше скупых слез отчизны, образ которой хранится в сердце каждого. Негр нашел ухо и комически пытался приставить его к голове, в негра больше не кидали, господин Т. заметил, что это хороший негр, исправный, публика его любит и со свойственным нации милосердием не желает непременно негритянской гибели. Так уже в первый день моего пребывания на острове я стала свидетелем чрезвычайно интересного и вместе с тем несколько бесчеловечного спектакля; видимо, глядя на то, как негр пытается приставить к голове свое утраченное ухо, я

невольно поморщилась, на что господин Т. предложил:

– Если хотите, можете его пристрелить. У вас ведь, кажется, есть оружие?

– Кого? – не поняла я.

– Негра.

Он с совершенной серьезностью кивнул на помост. Видя мое еще большее удивление, господин Т. сказал:

– Я думаю, вам мы простим эту маленькую слабость. Ваши предки так много сделали для нашей страны, что вы можете позволить себе несколько больше других.

Я могла бы не удивляться – недавно, во время визита на Монерон, помощник капитана предлагал пострелять по китайцам, так что комплимент господина Т., надо признать, совсем уж таковым не был.

– Более того, – улыбнулся господин Т., – вы окажете нам большое уважение...

Я ответила, что у меня, разумеется, есть слабости, однако отстрел негров к ним не относится, и вообще, я считаю, что от таких привычек следует отходить, и при чем тут вообще уважение? Как можно выказать кому-либо уважение таким странным способом?

– Это Сахалин, – пояснил мой провожатый. – Здесь свои представления, зачастую самые причудливые...

Позже господин Т. несколько смутился, извинился за бестактное предложение, но отметил, что, если у меня вдруг возникнет желание, я могу пристрелить любого каторжного, не снявшего при моем появлении шляпу, оставшегося сидеть или посмеявшегося посмотреть в глаза. Если же мне вздумается пристрелить китайца, я могу это также сделать беспрепятственно, за исключением маленькой формальности – потом надлежит заполнить уведомительную карточку и сдать ее в участок. Корейцев можно стрелять без ограничений. Разумеется, добавил господин Т., стрелять в женщин, детей и подростков запрещено, равно как и в лиц свободного состояния.

Все это было сообщено будничным и усталым голосом, отчего смысл сказанного не сразу достиг моего сознания. Я слышала о дикостях и варварстве, распространенном на Северных Территориях, и кое-что наблюдала сама, но я и предположить не могла, что подобное происходит с ведома, а то и под эгидой администрации. Закрытость и недоступность Сахалина для посещений породила в японском обществе множество слухов, которым просвещенная публика не склонна верить, но первые же часы моего пребывания здесь внушали подозрения, что не все слухи

являлись плодом фантазии.

Я спросила, почему сам господин Т. не носит с собой оружия. Он не ответил, лишь пожал плечами. Впоследствии я неоднократно замечала эту особенность среди свободных японцев Сахалина – оружие с собой не имел при себе почти никто. Сначала я думала, что это объясняется презрением к окружающему их безвольному контингенту, бесстрашием, верой в судьбу, но потом поняла, что причины несколько иные.

Меж тем торжество продолжалось. Окровавленного негра унесли прочь, толпа, распевая народные песни и славя Императора, бушевала, ударили барабаны, сначала нестройно, потом в ритм, все громче и громче, и вот разрозненные ритмы слились в один, воздух наполнился вибрацией и силой, звук проник в толпу, подхватил ее и объединил. Рядом со мной прыгали, постепенно к прыжкам присоединялись новые и новые китайцы, и вот уже скакала вся площадь. Кислород заканчивался, земля плясала под ногами, меня повело, но господин Т. вовремя поймал за руку, я увидела его лицо, озабоченное и чуть снисходительное, как бы сообщающее – это Сахалин. Это Сахалин, и ничего с этим не поделаешь.

Наверное, я побледнела, поскольку господин Т. испугался. Он провел меня до рикши, который оказался немного избит. Необходимо принять пилюли и хорошенько отоспаться, судя по всему, у меня началась акклиматизация, вернее сказать, адаптация – мой сухопутный организм не очень хорошо перенес морской переход, и теперь в ближайшие дни я буду испытывать определенный дискомфорт. Это все господин Т. кричал мне в ухо, поскольку шум на площади стоял невообразимый, равно как и вонь, которую я вдруг стала замечать.

Потом рикша бежал, а я глядела по сторонам, точнее, в одну сторону, чтобы голова кружилась меньше.

Японский квартал Холмска мало отличался от кварталов, в которых проживает просвещенное сословие в самой Японии. Небольшие аккуратные домики, брусчатая мостовая, простор и воздух, тротуары, до которых долетает свежий морской ветер; конечно, от вида на грязный порт и китайские кварталы никуда не деться, но через некоторое время я с ним смирилась и перестала замечать.

Я остановилась в небольшом отеле «Хрустальный ручей», в хорошем чистом номере с видом на горы; в отеле имелось все необходимое, и я, впервые за время своего путешествия, смогла принять ванну и нормально помыть голову. Приближался вечер, я заказала в номер чай и, закутавшись в плед, устроилась на балконе; передо мной расстилались укрытые туманом горы, я смотрела на них, и предчувствие чего-то необыкновенного

заставляло учащенно биться сердце, в первую же ночь моего пребывания на Сахалине пришел шторм. По утверждению горничной, пожилой женщины, двадцать лет назад присланной сюда за поджог и пять лет как переведенной в поселенческое состояние, сильные шторма в это время года скорее исключение, нежели правило, обычно погода ровная, а ветры умеренные, правда, в этом году жарко, очень жарко. Но в тот вечер пришел шторм.

Я чувствовала себя нехорошо и непривычно и, полюбовавшись волнами четверть часа, устроилась ко сну. Действительно ли началась адаптация к суше, про которую говорил господин Т., повлиял ли на это сегодняшний распорядок дня, не знаю; так или иначе, спала я крайне плохо, мне чудились крошки в постели, и сначала я пыталась с ними мириться, но потом испугалась, что это клопы... К счастью, это были не клопы, а всего лишь моя расшалившаяся психика, но все равно я просыпалась еще несколько раз и проверяла простыни, а еще мне слышался Ину, продавец зонтиков, в эту ночь он не выл и не стучал ногами, а негромко скребся ногтями по стене.

Утром стало хуже. В желудке появился кислый спазм, точно я проглотила согнутый замороженный и заточенный китовый ус, и теперь он в соответствии с заветами алеутских охотников медленно распрямлялся в животе. И навалилась необыкновенная слабость, пол качался, так что приходилось держаться за стены, в ушах буйствовали вчерашние барабаны, и невидимые миру клопы набрасывались на меня, едва я пыталась прилечь. Наверное, поднялась температура, при температуре бывают странные эффекты.

На ноги я смогла подняться ближе к вечеру, да и то не без помощи походной аптечки и отвара, приготовленного горничной. Отвар этот следовало не пить, а прикладывать компрессом ко лбу, и он оказался чудодейственным. Болезнь моя, впрочем, приключилась весьма кстати – ночной шторм учинил в порту множество разрушений, так что глава префектуры, загруженный многочисленными и неотложными делами, перенес нашу встречу на завтра. Город погрузился в суету и беспокойство – шторм вынес к берегу несколько судов, и теперь их разгружали и пытались снять с мелей; в порту тоже случились серьезные повреждения, это угадывалось по дыму, периодически возникавшему то тут, то там, и по сиренам пожарных катеров в акватории, и по газовым факелам, вспыхивающим над холмами, и по огню, текущему по воде.

Я провела весь день в кровати, поглядывая в окно и изучая довоенные книги, весьма кстати оказавшиеся в номере, – в основном литература о

минеральных и биологических богатствах острова, весьма познавательная. Книги меня увлекли, и я не заметила, как подкрались сумерки, неожиданно светлые и неожиданно розовые; меня заинтересовал необычный для этих широт цвет, и я поднялась на крышу отеля, где располагалась летняя веранда и откуда прекрасно просматривались порт и бухта.

Никогда раньше я не видела таких насыщенных цветов; ветер за день изрядно раздул пожар, и теперь вдоль воды тянулась полоса бешеного огня, поднимавшаяся до небес и распространявшая вокруг оранжевое сияние. Мощное, в чем-то величественное, грандиозное зрелище, которое трудно, да, наверное, и невозможно увидеть за проливом, дома.

Пожар продержался до утра, я не стала ждать его окончания. Горничная принесла очередную порцию отвара, на этот раз с мятой и с сиропом из пахучей местной ягоды, видимо, той самой клоповки, она и на самом деле несколько попахивала, но не клопами, а скорее керосином, клопы, пристрастившиеся ко мне прошлой ночью, отступили, пусть и невидимые, но клопы не любят запах керосина.

На следующий день в десять часов за мной прислали посыльного с рикшей, я быстро привела себя в порядок и буквально несколько минут спустя оказалась на приеме у префекта Карафуту. Он принял меня в деловой обстановке в своем кабинете, в котором недавно завершилось совещание, посвященное вопросам муниципального хозяйства, в кабинете до сих пор висел дым и на полу в изобилии валялась рваная бумага и ошметки растоптанной бамбуковой корзины. К сожалению, в мои формальные обязанности наблюдателя включена необходимость в посещениях чиновников губернаторства. Профессор Ода не видел смысла в этом, однако настаивал на исполнении протокола, помимо этого, я по возвращении обязалась составить записку о настроениях среди гражданского и военного контингента острова. Так что я заранее запаслась терпением и решила воспринимать эти визиты как неминуемое зло.

– Я имел честь знать вашего батюшку. – Господин префект Карафуту пожал мне руку. – А ваш дед служил с моим отцом на Иото. В те самые деньки, в те самые деньки, да...

– Он рассказывал. Без сомнения, это были великие времена.

Некоторое время мы, отдавая дань приличиям, вспоминали доблести отдаленных и не очень предков, а исчерпав исторические пересечения наших семей на полях славы Империи, приступили к настоящему, и префект по моей просьбе вкратце рассказал о состоянии дел на Сахалине:

– Насколько я знаю из бумаг, вас интересует положение дел каторжных категорий населения. Должен отметить, что вопрос о реорганизации

каторжных тюрем давно уже приобрел насущные черты. Без должного финансирования местная администрация не в состоянии наладить надежное содержание, про исправление же говорить не приходится...

Префект вздохнул с такой искренностью, что я на секунду поверила, что ему действительно не безразличны судьбы заключенных и поселенцев.

– Не совсем так, – ответила я. – Передо мной не стоит конкретных задач по инспекции островных учреждений, в том числе и исправительных, хотя их посещение и входит в мои обязанности. Академию Наук, Университет и Департамент Этнографии, в частности, гораздо больше интересует общая картина. Этаким очерк о положении дел в префектуре. Впечатления свежего человека. Вы же знаете, режим изоляции настолько строг, что до Академии не доходит практически никакой информации, а это, в свою очередь, порождает подчас крайне искаженное представление о существующем положении дел.

– Да-да, – кивнул префект, – понимаю. Это важно. Положение дел, да...

Показалось, что и он не поверил, заподозрив во мне тайного агента. Странное предположение – если бы я действительно являлась тайным агентом, то гораздо логичнее было прибыть на остров в качестве каторжного, вольнонаемного, но никак не в открытую.

– Положение дел у нас не очень веселое. – Префект подошел к окну, сдвинул жалюзи. – Положение у нас сложное и скверное...

Перенаселение, голод, эпидемии. Земля истощена. Чистой воды катастрофически не хватает. Биологические ресурсы использовать невозможно – экосистема серьезно разрушена, заражение прибрежной территории и рек позволяет использовать воду исключительно в технических целях. Лес вырублен, а тот, что не вырублен, выгорел, либо засох, либо не пригоден к переработке. На сегодняшний день на острове приблизительно пятнадцать тысяч каторжных, из которых более четырнадцати тысяч – мужчины. Около ста тысяч лиц вольного состояния, включая администрацию, солдат и чиновников. Порядка пятнадцати миллионов условно свободных, им разрешено перемещаться по острову, но не покидать его. Велика вероятность, что условно свободных гораздо больше. И разумеется, никакой статистики не ведется.

– Как обстоит дело с промышленностью? – спросила я. – Судя по вашему порту, она развивается в соответствии с планом.

– Сахалин дает меньше трех процентов валового продукта Империи, – отмахнулся префект. – Итуруп с его вулканами и копиями – десять. Промышленность на острове не главное...

– А что главное?

– Каторга, – ответил префект. – Разумеется, каторга в широком смысле – это не три каторжные тюрьмы и не несколько тысяч бессрочных поселенцев. Каторга – это всё, что вы видите вокруг.

Префект постучал по стене согнутым пальцем; получившийся звук был не каменным, а скорее картонным.

– Сахалин – это всего лишь буфер, – сказал префект. – И у него достаточно простые функции. С одной стороны, он вбирает в себя нежелательные элементы социума Империи – убийц, разбойников, растлителей, психопатов и прочих негодяев, даже малое количество которых может разрушить любое общество. С другой – Сахалин принял всех, кто бежал после Войны с материка. И до сих пор принимает. Если говорить проще, это огромная...

Префект применил для характеристики вверенной ему территории выражение, малоупотребимое в приличном обществе, но, на мой взгляд, характеризующее остров как нельзя точно.

Префект заметил, что смутил меня своей матросской лексикой, смутился сам и попытался сгладить грубое впечатление:

– Сахалин – благо для мира и ад для его обитателей, так бы я сказал. Остров – последний рубеж перед наступающими силами хаоса. Мы здесь как некие полуденные стражи...

Я давно заметила одну особенность – многие чиновники средней руки обожают философствовать вслух. Они точно ждут слушателя, и стоит тебе только появиться, как чиновник начинает рассуждать про смысл бытия, предназначение человека и тяжелый крест, причем это всегда заканчивается неременной жалобой на скудное содержание. Поэтому, чтобы не доводить столь почтенного чиновника до жалоб, я переключила разговор на другую тему.

– А как обстоит дело с мобильным бешенством? – аккуратно поинтересовалась я. – Общество хочет знать, надежно ли защищен остров от проникновения инфекции с материка? Потому что ходят некоторые тревожные слухи...

– Абсолютно защищен, – заверил префект. – Вы же знаете, в связи с изменениями климата пролив никогда не замерзает. В нем регулярно дежурят суда береговой охраны, само побережье острова патрулируется, через каждые двадцать километров расположены посты. Ветер всегда восточный, так что пересечь воду сложно... Справедливости ради надо признать, что последний случай зарегистрирован около шести лет назад. Впрочем, это случилось за проливом, кажется, где-то в районе условного

Хабаровска. Так что...

Префект улыбнулся и стал говорить тише:

– Бешенство не передается по воздуху, МОБ – это всегда носитель, а носителей за проливом с каждым годом все меньше и меньше.

И еще тише:

– Знаете, мне иногда кажется, что МОБ – это пугало, используемое для выбивания финансирования. Всем известно, что силы самообороны поглощают практически половину бюджета Империи, в то время как мы едва сводим концы с концами...

Последнее префект произнес трагическим шепотом, поглядев на меня с такой обидой, что я почувствовала и себя виновной в том, что на Сахалине сложилась подобная ситуация.

– Я подготовил некий проект. – Префект взял с подоконника папку и протянул мне: – Если вы ознакомитесь на досуге, то я буду счастлив.

Я поняла, что отказаться от изучения проекта нельзя, и приняла папку.

– Это весьма актуально, – улыбнулся префект. – Вы завтра отправляетесь в Углегорск, а я в своем рассмотрении предлагаю наладить производство угля из вторичного леса...

– Из вторичного леса? – не поняла я.

– Вокруг Углегорска сохранился выгоревший лес, сотни гектаров. При некоторой обработке его несложно превратить в древесный уголь для отопления жилищ зимой. Я уже сделал все для организации пробного производства...

Я вдруг ясно осознала, что префект хочет отсюда сбежать. Сбежать домой из этой каторги. Наверняка он направлен сюда отнюдь не за заслуги, хотя... Он знал еще моего деда, а это поколение идеалистов, они стремились к великому, и вполне возможно, что префект прибыл на остров добровольно – отстраивать порт, тянуть железную дорогу на север, бороться с последствиями войны, строить будущее, на которое тогда надеялись. Но шли годы, лета и зимы, тайфуны и туманы, и теперь у префекта ревматизм и люмбаго, у него нет жены и нет детей, и вся его жизнь прошла здесь, в заботах и мечтах. Постепенно забот становилось все больше, а мечтаний все меньше, и сами мечтания эти изменились: теперь он мечтает о теплой комнате, медном тазе для ног с горчичной водой, горячем камине и бокале вина, он придумывает стратегии для угольных мануфактур и наверняка собирается подарить мне золотую ложку и платиновую вилку.

– Я изучил план вашей экспедиции и, если позволите, могу порекомендовать вам другой путь. Насколько я понял, конечной точкой

маршрута является Александровск?

Я утвердительно кивнула.

– Разумеется, если вы пожелаете, префектура предоставит вам автомобиль, – улыбнулся префект. – Однако смею вас заверить, что эту часть пути можно проделать с гораздо большим комфортом. Вы, наверное, слышали, что железнодорожное сообщение между южной и северной частями острова некоторое время назад начало восстанавливаться? Мой личный вагон... он в вашем распоряжении.

Префект поклонился и поглядел на меня с какой-то тоской, словно не личный вагон собирался предложить, а зачитать предсмертное хокку.

– До Углегорска и до Александровска, впрочем, железнодорожных дорог пока нет, – сообщил с печалью префект. – Но я распорядился оказывать вам все возможное содействие, местным чиновникам разосланы предписания оказывать вам всю необходимую помощь, в том числе транспортную. Мы очень надеемся, что ваш визит способствует...

Префект неожиданно покраснел и, смущаясь, стал рассказывать, чему именно будет способствовать мой визит на Сахалин, и в этом перечне было много чего: от повышения урожаев модифицированной черемши до желанного всеми смягчения нравов и общей гуманизации поселенцев. Ведь поселенцы в большинстве своем пребывают в озверелом состоянии – они необразованны, темны и зачастую подвержены фантастическим предрассудкам, впрочем, об этом я могу подробнее поговорить со своим сопровождающим.

– Сопровождающий... – вздохнула я.

Я уже смирилась с неизбежностью сопровождающего, но, если честно, до конца принять это так и не смогла; я планировала путешествие по острову в одиночку, а тут мне упорно цепляют какого-то товарища.

– Увы, – сокрушался префект, – увы, без сопровождающего никак. На Сахалине, несмотря на все наши невероятные усилия, все-таки беспокойно. Взять хотя бы медведей...

– Медведи?! – удивилась я.

– Это бедствие, – махнул рукой префект. – Конечно, отстреливаем, как можем. Но нападения случаются регулярно, особенно на западных окраинах. Слишком много легкой добычи, остров заполнен гнилым мясом...

Префект поморщился.

– У медведя нет радиометра, он жрет все подряд, – сказал префект. – В реках собирается бездна грязной рыбы, медведи и развелись. Так что обеспечить вашу безопасность – моя прямая обязанность. Первоначально

планировалось дать вам трех солдат...

Я побелела от раздражения. Солдат еще не хватало! Я немедленно представила, как за мной станут таскаться болваны с винтовками наперевес...

– Но, поразмыслив, решили остановиться на одном. Поверьте, это очень хороший специалист...

– В чем? – довольно невежливо перебила я. – В чем он специалист?

– В безопасности. И я думаю, он вам должен понравиться.

– Почему он должен мне понравиться? – не поняла я.

– Он в какой-то мере ваш... – Префект сбился и несколько мгновений размышлял, как сказать аккуратнее. – Соплеменник.

Уточнить он не успел: господина префекта острова вызвали по неотложному делу, кажется, взорвался газгольдер.

Остаток дня я посвятила порожним хлопотам. Первоначально я планировала побродить по городу и познакомиться с Холмском поближе, однако из этой затеи ничего не вышло: город кишел китайцами, и пробираться сквозь них не только неприятно, но и опасно, вызывать же официального рикшу не хотелось. Поэтому и следующий день своего пребывания в Холмске я провела на веранде отеля, читая книги, наблюдая за вращением городской жизни в бинокль и угощаясь травяными чаями. В городе до сих пор что-то горело и взрывалось, но я начинала к этому привыкать; вечером в номер заглянула горничная, смущаясь, она подарила мне рукавицы, связанные, по ее уверению, из натуральной собачьей, лишь с небольшой примесью синтетического волокна, шерсти. Я испугалась, что и горничная сейчас станет жаловаться на недостаток финансирования и скудную жизнь, но женщина неожиданно попросила меня рассказать про Японию.

Я рассказывала три часа, а она слушала, иногда начиная плакать, иногда задавая вопросы, интересуясь, не собираются ли пересмотреть законы о ссылке, не думают ли ссылкой, отбывшим срок и зарекомендовавшим себя с законопослушной стороны, разрешить возвращаться на родину. Я отвечала ей, а когда ответы кончились, горничная попросила передать письмо ее дочери, живущей в Такамацу, и я не смогла отказать. После этого женщина стала плакать еще сильнее и благодарила так искренне, что мне в очередной раз стало неудобно. Я взяла конверт и спрятала его в герметичный бокс. Горничная удалилась, а я стала укладываться спать.

Ночь прошла быстро, утро выдалось ясным и солнечным. Горничная разбудила меня в шесть и сказала, что вчера вечером звонили из

префектуры и сегодня горячая вода без ограничений. Это была удивительно приятная новость, горячий душ – это необходимость, но горячая ванна... Короче говоря, я целый час провалялась в пене, глядя в потолок и гоняя по воде желтых резиновых осьминожек. Со стороны это выглядело глупо и странно, наверное, но я уже вступила на территорию зыбкой странности, передо мной в мерцающих туманах лежала долгожданная Гиперборея.

Поезд отправлялся в одиннадцать часов утра, в восемь я в полной боевой готовности спустилась в холл гостиницы. Меня уже ждали – прибыл сопровождающий, обещанный господином префектом.

Повторюсь – изначально я никакого сопровождающего не хотела, хотелось составить непредвзятое впечатление об острове и его состоянии; к тому же у меня имелись серьезные подозрения, что сопровождающий стал бы так или иначе подталкивать мой интерес в нужную сторону, вольно или невольно способствовать искажению картины восприятия. Именно поэтому я планировала отделаться от сопровождающего при первой же возможности, однако, поразмыслив хорошенько, я поняла, что спутник из местных, пожалуй, не помешает.

Сопровождающий оказался молодым человеком лет... Если честно, я не смогла с первого раза определить, сколько ему лет; я давно заметила, что есть некоторые люди, возраст которых определить сложно. Их лица, выглядящие вроде бы молодо, обладают при этом какой-то неподвижностью и несвойственным юности покоем, точно все лицевые нервы отключены, и эмоции умирают глубоко под кожей, не успевая добежать до поверхности. При этом почему-то кажется, что такой человек вот-вот заплачет.

Это было весьма необычно – лицо равнодушного обиженного ребенка, вислые плечи, оружие. Сразу я не очень поняла, что это такое, некий странный предмет, больше всего похожий на багор, – я видела такие у бойцов пожарных команд. Однако багор, лежащий у ног моего сопровождающего, имел несколько иную форму – изогнутый, с дополнительной рукоятью посреди древка, приспособленный для носки на плече, крюк обмотан мешковиной.

Когда я спустилась в гостиную, сопровождающий поднялся из кресла, поцарапав при этом кожаную обивку ножнами. Он оказался невысок, впрочем, как и все люди, встреченные мною на Сахалине, чуть ниже меня, не широк в плечах, если честно, я думала, что он будет повыше. А еще... Я вдруг поняла, откуда эта странная неподвижность в лице моего сопровождающего, собственно, это не неподвижность даже, просто лицо было настолько *другое*, что я определила его как неподвижное, чуть ли не

мертвое.

Потому что сопровождающий не был азиатом. Ни японцем, ни китайцем, ни корейцем.

Я вспомнила про то, что сказал префект. Сопровождающий – мой соплеменник. Соотечественник.

Он был моим соотечественником.

Русским.

Я его не узнала, потому что вживую никогда не видела русских лиц; я помнила бабушку, но она была так стара, что по ее лицу ничего не читалось и не виделось, мама же моя, несмотря на свой безупречный русский, походила все-таки скорее на японку, хотя и с голубыми глазами. Как у меня.

А этот...

– Привет, – сказал он. – Ты Сирень?

Он обратился ко мне на «ты», но я ничуть не обиделась, хотя прежде я не терпела фамильярности, особенно от незнакомых. А сейчас...

– Так ты Сирень? – повторил парень.

– Да... – неуверенно ответила я. – Сирень...

– Меня зовут Артем.

Все по-русски. На том самом русском, на котором говорили мои бабушка и мама и я, на том языке, который я знала по книгам и по старым фильмам, и любила слушать его.

Наверное, я растерялась. Наверное, это проявилось на лице – лицо меня всегда подводит, отец учил, как надо контролировать мимику, чтобы ни мускул не дернулся, чтобы маска...

Артем улыбнулся и сказал вдруг:

– Ты красивая.

И я смутилась. Сначала. На некоторое время.

Но Артем произнес это так обычно и свободно, что я не нашлась, что сказать. Сказать этому наглецу... Что-нибудь да сказать.

Артем поднял с пола вещмешок и багор, забрал у меня рюкзак, закинул на плечо, а я все молчала, хотя сама должна...

– У нас скоро поезд, – сказал он. – Хотя нас, наверное, подождут?

– Наверное, – согласилась я. – Но все равно...

– Все равно надо спешить.

– Надо спешить.

Мы вышли на улицу. У входа приплясывал рикша, он схватил наши вещи, закинул в багажное отделение, сам же замер в полупоклоне; на крыльцо выскочила горничная и принялась плакать, и я вдруг совершенно

ясно поняла, что больше ее никогда не увижу. Я даже не успела узнать ее имя.

Всю дорогу Артем молчал; рикша, расталкивая встречных головой, тянул коляску к порту, я смотрела по сторонам; я стеснялась смотреть на Артема, да и он на меня не очень-то внимание обращал, видимо, нам обоим было неудобно. Артем достал большой складной нож, выхлестнул лезвие и начал его править о рукав толстой кожаной куртки. А я зачем-то изучала улочки, переулки, косые заборы, торговцев водой, торговцев жареными крысами, торговцев морской капустой, потом снова торговцев крысами, продавцов диковинной обуви и не менее диковинной одежды и масок, масок встречалось много, так же как фальшивых сабель. Рикша свистел, и звонил, и ругался, мы продолжали пробираться сквозь толпу к железнодорожному вокзалу.

На одной из улиц к нам пристал продавец старых книг, настырный такой, изо всех сил старался всучить мне толстенный, в кожаном переплете, том. Забегал перед рикшей, старался ухватиться за колеса, сунуть книгу в руки, верещал на жутком китайско-корейском, улыбался. А я вдруг подумала, что это, может, не торговец, а последний книголюб Маоки, и он хотел не продать эту книгу, а спасти ее. Может, это была последняя книга Маоки, остальные давно пустили на папироски. Мне вдруг захотелось посмотреть, что это все-таки такое, и я собралась подать рикше знак, однако в этот самый момент продавец запнулся и упал, и рикша не успел затормозить и переехал торговца. Конечно, большого вреда это ему не причинило, но рикша, разъяренный внезапной помехой, остановился и стал избивать книголюб, книгу же он попросту выкинул куда-то вбок, то ли на крышу ближайшей фанзы, то ли в канаву.

Драка никак не могла прекратиться, рикша и книготорговец сцепились и катались в грязи, ни одному, ни другому не удавалось одержать верх, закончилось тем, что Артем кашлянул. Этого оказалось достаточно – книголюб мгновенно уполз в щель, а рикша немедленно впрягся в коляску и поволок ее по пути, несколько при этом прихрамывая.

Нужный состав ждал нас возле третьего пути – это был эшелон, состоящий из порожних угольных вагонов, покореженных, черных и страшных. Даже не двигаясь, они умудрялись издавать натужные лязгающие звуки, выпрямляясь после многотонной тяжести, точно вздыхая. В голове состава пыхтел старинный паровоз, в Японии такой нельзя увидеть и в музее, а здесь он находился в исправном и рабочем состоянии, выпускал струи серого пара и торопился в путь.

Вагон префекта прицепили последним, и мы направились к нему вдоль

путей, перешагивая через масляные лужи, горки сажи и прогнившие шпалы. Я молчала, Артем неразборчиво бормотал под нос песенку и иногда для придания ей ритма постукивал багром по железу, выбивая из платформы глубокие и протяжные ноты.

Префект не обманул – вагон оказался практически в полном моем распоряжении, и хотя он состоял из пяти отдельных купе, мне досталось первое и самое лучшее, видимо, как раз то, в котором обычно путешествовал сам префект. В купе имелось все необходимое и, пожалуй, даже больше этого – бархатные подушечки для удобства путешествия, небольшой электрический самовар, чай в фарфоровых банках – и, как сообщил проводник, специальный презент от господина префекта – набор шоколада в коробке из тонких кипарисовых пластинок.

Артем занял соседнее купе, а я, расположившись, упала на мягкие, обитые полосатым велюром диваны. В вагоне было поразительно тихо, точно мир умер окончательно, и мне очень понравилась эта тишина, я опустила в нее и почувствовала себя немного дома: такая тишина стояла в кабинете отца. Отец, уходя на службу, оставлял мне ключ, и, хотя входить в кабинет в его отсутствие строго-настрого запрещалось, я пробиралась в него после обеда, пряталась в кресле, похожем на гору, выдвигала ящики стола и доставала сокровища. Компас в тусклой латунной оправе, кинжал с витой рукоятью – камни выкорчеваны, но насечка по серебряной проволоке еще радовала ладонь, хотя и почернела, подзорную трубу с именем «Долгий глаз», старинные карты, коробочку с землей – двадцать склянок.

Коробочкой отец гордился особенно, поскольку ее подарил нашему прадеду Император, еще в те времена, когда никто не мог и помыслить о Войне и Реставрации. Двадцать склянок, девятнадцать заполнены землей с разных мест – с Красной Площади, с берега Иордана, с Огненной Земли, песок из пустыни Гоби, черный прах вулканических островов Индонезии, в бутылочке номер восемнадцать пять граммов серого лунного грунта, доставленного еще «Аполлоном», в бутылочке номер девятнадцать хранился Марс – несколько отчего-то ярко-синих крупинок. Каждая бутылочка имела свое ощущение; абсолютно одинаковые внешне, с одинаковой гладкостью и чистотой стекла, но стоило взять их в руки, как я начинала чувствовать и словно переносилась в то место, откуда эта земля была добыта.

И каждая из них пахла по-своему: Гоби – высохшим деревом, Антарктида – каменистой пустотой, острова Индонезии – огнем и пеплом, морем, солью. Сильнее всех, к моему удивлению, пахла Луна: она пахла космосом, и запах у него был вполне определенный – запах льда, глины и

отчего-то канифоли; каждый раз, услышав Луну, я улыбалась, вспоминая рассказы про Деусу и творение им Вселенной. Я представляла, как старый, бородатый Деусу в заплатанном белом халате, с паяльником в руке и выпуклыми очками на носу мастерит Мирозданье. И всюду пахнет канифолью. Марс же, напротив, был холоден и безразличен, как и его цвет.

Бутылочка номер двадцать стояла пустая, и где земля из нее, отец не мог ответить, поскольку не мог вспомнить, имелся ли там грунт вообще; я же, глядя на прозрачный пузырек, всегда воображала, что этот пузырек в коробке лежит не просто так, а для меня. Что когда-нибудь я наполню его чудесной землей моей Ultima Thule.

Поезд тронулся, за окном двинулись вагоны и цистерны, предназначенные, вероятно, для эрзац-топлива, и платформы, платформы, с бревнами на вывоз, с горами изношенных покрышек, с ломом цветных металлов, еще с красными камнями; что это такое, я не знала. Дома я редко пользовалась железнодорожными линиями и никогда не ездила в вагонах такого класса, в лучшем случае в поездах с протертыми пластиковыми сиденьями и торчащей проводкой; в настоящих поездах, обстоятельных, неторопливых, я не путешествовала.

Паровоз тянул состав не плавно, а рывками и с дребезгом, но сквозь толстую обивку купе звуки доносились будто издалека, я вытянула ноги и положила их на скамеечку.

Через пятнадцать минут заглянул проводник – он сообщил, что наше путешествие займет сутки с небольшим, поскольку дорогу еще не восстановили до конца и на многих участках приходится снижать скорость, к тому же это паровоз, его периодически следует заправлять водой. Проводник также сообщил, что мой спутник прекрасно устроился в соседнем купе и сейчас спит, что титан кипит и чай скоро подадут, что он сам в моем распоряжении.

Проводник оказался почти моим земляком – до Сахалина он служил тоже по железнодорожной части, но потом, когда в семье появился пятый ребенок, завербовался сюда; и вот он здесь скоро десять лет, работает на поезде, дома бывает редко, раз в три года, но доволен – жалованье высокое, кроме того, по возвращении домой ему положена достойная пенсия. Безусловно, жизнь на острове связана с риском и не так спокойна, как дома, но свои прелести можно отыскать и здесь.

Я поинтересовалась, чем же опасна жизнь на Сахалине, и проводник уже хотел ответить, но тут запел свисток в титане, и он убежал, а вернулся с тремя стаканами на серебряном подносе, в серебряных же подстаканниках.

– Старинный здешний обычай, – пояснил он. – Подавать чай именно так. Наш префект уважает традиции прежних народов, знаете ли, он культурный человек, закончил университет. Интересуется историей, кстати ...

Я стала пить необыкновенно вкусный чай, таким он был, скорее всего, из-за воды, но мне хотелось думать, что это из-за чудесного способа подачи. Прихлебывая горячий и приятно пахнущий серебром чай, я все же смогла узнать у проводника об опасностях, случающихся на острове. Опасностей этих не то чтобы много, как правило, все они природного характера – землетрясения, оползни, пожары, эпидемии, но бывают и другие случаи. По его словам, скученность населения частенько приводит к возникновению массовых фобий и психозов, тогда, конечно, некоторая опасность возникает. И каторжные, случается, бегут. Разумеется, такого *беспредела*, как раньше, давно нет, но искоренить в китайцах страсть к бунту и тайной деятельности нелегко. К тому же, в противовес китайским тайным домам, возникли, по слухам, дома японские, еще более жестокие.

– Но вам-то нечего волноваться, – улыбнулся он.

Я поинтересовалась почему, и проводник ответил, что с таким спутником, как у меня, беспокоиться о безопасности не стоит; на мой вопрос, что такого особенного в моем спутнике, проводник снова улыбнулся.

– Поверьте уж, все, кто находится в трезвом рассудке, предпочтут быть от него как можно дальше.

Это проводник произнес с уважением.

– Почему? – Мне стало интересно.

Если честно, ничего особо страшного я в Артеме не увидела, ну, разве что некоторая гармония движений, какую я замечала раньше у старых мастеров; отметив эту черту, я еще подумала, что, скорее всего, это случайно – вряд ли Артем, живя здесь, на Сахалине, мог овладеть техникой динамического контакта, и в Японии-то лишь немногим доступной. Однако после слов проводника я решила, что к Артему стоит присмотреться внимательней.

– Почему же? – повторила я вопрос. – Неужели он так опасен?

– А вам разве не сказали, кто он? – доверительным шепотом спросил проводник.

– Нет. То есть сказали, разумеется. Сказали, что будет сопровождающий из местных, что его зовут Артем, что он опытный и надежный человек.

– Опытный, – кивнул проводник и взял чай. – Он действительно

опытный. Он – Прикованный к багру!

Это проводник произнес шепотом и несколько ко мне наклонившись, вероятно, для некоей еще большей доверительности.

– Вы знаете, что это такое?!

Проводник оглянулся.

В моей памяти будто что-то шевельнулось, строки прочитанной еще в детстве и сейчас забытой книги, но точных ассоциаций не возникло. Я пожала плечами и раскрыла коробку с шоколадом, по купе пополз изумительный кофейный запах. Оказалось, что проводник за годы пребывания на острове собрал массу интереснейших фактов и наблюдений, касающихся истории острова, его природы и нравов его обитателей, и теперь он рассказывал, обстоятельно, с отступлениями, паузами, как подобает рассказывать в длительной поездке.

На острове проживали несколько категорий населения, которые условно можно было разделить на три большие группы. Первая, самая малочисленная, включала в себя всех действительных каторжных, отбывающих наказание в тюрьмах или на поселении. По отбытии положенных сроков каторжные переходят на положение условно свободных и могут наниматься на работу, открывать лавки и ремесленные мастерские, свободно перемещаться по территории префектуры, разумеется, в пределах острова. Жениться. Впрочем, эти вопросы не регулировались совершенно; единственное, что интересовало администрацию, – это эмиграция лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста. Надо отметить, что каторжные были исключительно японцами.

Вторая группа – условно свободных поселенцев – являлась самой многочисленной, точных данных на настоящий день не имелось, но по самым общим оценкам, население Сахалина составляло порядка двадцати миллионов человек. В основном, китайцы, бежавшие на остров до и во время Войны и продолжавшие прибывать туда после через фильтрационный лагерь на Монероне. Присутствуют также корейцы, впрочем, по сравнению с китайцами представленные незначительными количествами; остальные народности в единичных экземплярах. Условно свободные фактически предоставлены сами себе, организацией их существования префектура не занимается никак, немногочисленные промышленные предприятия, функционирующие на острове, не занимают и процента поселенцев, остальные ведут неприкаянный образ жизни.

Третья категория населения – свободные. Их тоже немного, в подавляющем большинстве это японцы: чиновники префектуры и каторжной администрации, инженерный и технический корпус, военные.

Японцы, как правило, находятся здесь по найму, или по службе, или в полудобровольной ссылке – как провинившиеся дома по незначительным делам; они в любой момент могут вернуться домой. Фактически это единственная полноправная категория населения, осуществляющая императорскую власть и надзор над остальными. Однако в силу малочисленности, японцы неспособны поддерживать пусть и относительную стабильность своими силами, поэтому для придания власти дополнительной устойчивости в управлении во многом применяются неофициальные методы.

Корни этой системы стоит искать в послевоенном времени и времени установления над Сахалином протектората, именно тогда, как ответ на хаос и беззаконие, захлестнувшее остров, была инициирована организация некоей параллельной иерархии. Иерархия эта была проста, но эффективна и способствовала установлению на земле префектуры Карафуто относительного порядка; в сущности, для обуздания анархии сформировалось несколько отрядов, в течение десяти лет покончивших с самыми одиозными китайскими бандами, преступными кланами, разветвленным маоистским подпольем и чудовищными сектами, расплодившимися на севере. В соответствии с историческим прошлым бойцы этих отрядов стали называть себя Прикованными к тачке и носить на теле соответствующие татуировки; в отряды, как правило, набирали бывших военных из числа беженцев с континента; практически все были этническими русскими.

Прикованные к тачке имели ряд привилегий, отличавших их от прочего неапонского населения, – они могли носить огнестрельное оружие, могли без ограничений применять его к каторжным и условно свободным, вершить суд и возмездие; они пользовались определенными экономическими преференциями, в частности, им позволялось взимать подати с условно свободных, захватывать наиболее выгодные земли, контролировать ручьи и родники. Но главной привилегией Прикованных к тачке стало право на выезд в Японию после десяти лет службы.

После того как установился порядок, отряды Прикованных к тачке официально распустили, оружие изъяли, большинство же бойцов предпочли перебраться в Японию. На Сахалине их сменили Прикованные к багру – что-то вроде полиции, вооруженной мачете, топорами и саблями. Прикованные к багру уже не назначались префектурой, ими становились самые физически развитые и ловкие, обладавшие навыками в обращении с оружием, зачастую потомки Прикованных к тачкам. Прикованные к багру занимались поддержанием порядка, им доверялись и определенные

хозяйственные функции – расчистка и вырубка леса, поддержание дорог, похоронное дело, отслеживание беглых каторжных, патрулирование побережья, распределение воды между условно свободными.

По мере того как на волю выходили отбывшие свой срок каторжные, начала формироваться еще одна группа поселенцев, пользующаяся особым статусом. Заключение, отбывавшие срок за серьезные государственные преступления (в основном сторонники республики) и на время пребывания в каторге прикованные к гилям в форме ведер, по выходе в состояние условно свободных стали организовывать группы так называемых Прикованных к ведру. Прикованные к ведру – практически исключительно японцы, это закрытая каста, занимающаяся в основном подпольными промыслами: торговлей краденым, самогонварением, игорными домами, курильнями, борделями, спекуляцией продовольствием и другими товарами, ограниченными в обороте. В силу того что эти люди и до водворения на Сахалин занимались нелегальной, а зачастую и подрывной деятельностью, их организации оказались более чем жизнеспособными.

Между Прикованными к багру и Прикованными к ведру существует серьезная конкуренция и негласное противостояние. Если первые находятся практически на официальном положении и во многом являются чиновниками префектуры, вторые составляют теневую сторону власти и причисляются к незаконным организациям. Условно свободные поселенцы, этнические китайцы, до ужаса боятся Прикованных к ведру, поскольку те, памятуя о многовековом противостоянии с Нефритовым Утесом, поддерживают во многих районах острова атмосферу националистического террора. В частности, префектура неоднократно и безуспешно пыталась ликвидировать боевое крыло Прикованных к ведру – «Фракцию 731», целью которой было отделение Карафуту от Империи, создание на его территории военизированной тоталитарной республики, построенной на принципах либерал-демократии, с обязательным низведением лиц неяпонского происхождения до положения рабочего скота.

– В прошлом году «Фракция 731» разорила за одну ночь четыре китайские деревни и перекрыла железнодорожное сообщение между севером и югом, – сообщил проводник. – Они захватили даже вагон префекта! К счастью, сам префект в нем не путешествовал, но мне, к сожалению, посчастливилось познакомиться с этими варварами. Это было ужасно!

Нападающие привели к железной дороге двести человек и велели им лечь на рельсы. Китайцы, особенно те, кто живет не в городах, а на отшибе, от одного упоминания «Фракции 731» приходят не то что в ужас – они

впадают в беспамятное и безвольное состояние, они абсолютно покорны и беззащитны, поэтому уложить их на железнодорожные пути не составило никакого труда.

Разумеется, машинист нажал на тормоза, поезд остановился, тогда-то «Фракция» и ворвалась в вагоны и захватила всех, кто там находился. Машиниста поезда, проводников, в том числе и моего собеседника, боевики «Фракции» привязали к шпалам, поскольку добровольно ложиться под поезд те отказались. Проводник рассказывал, что в таком положении он провел почти два часа. Бандиты сначала попытались сдвинуть паровоз самостоятельно, однако ни умений, ни смекалки у них для этого не нашлось; тогда они стали истязать машиниста и его помощника, но те проявили твердость и двинуть паровоз на людей, хоть и на китайцев, отказались; террористы пришли в ярость и стали придумывать различные способы умерщвления значительного числа человек. Все это время они распевали хулильные песни, мерзейшими словами оскорбляли Императора и его семью, выкрикивали республиканские лозунги и грозились, что рано или поздно Сахалин сбросит иго Императора-предателя и что на его территории начнется новое японское государство.

Проводник уже готовился к смерти, сожалея, что так и не увидел перед ней свою семью, но неожиданно на помощь подоспело подразделение Прикованных к багру. Они без особого труда перебили и разогнали весь этот республиканский сброд и освободили пленников.

После этого случая были проведены облавы в крупных городах, многих Прикованных к ведрам казнили, но многие до сих пор на свободе. Более того, некоторые из них не стесняются ходить по улицам с жестяными ведрами в руках, как бы демонстрируя свою нелояльность существующей власти. «Фракции 731» тоже удалось нанести чувствительный удар, группировка затаилась, во всяком случае, резонансных акций не проводилось уже давно, но, по слухам, в центральной части острова их влияние до сих пор значительно.

Я поинтересовалась, почему нельзя покончить с Прикованными к ведрам совершенно, ведь это наверняка технически несложно – префектура имеет списки всех, кто прошел каторгу за последние десятилетия, и всех, кто перешел из каторжан в условно свободные поселенцы. Проводник ответил, что сделать это не получится по ряду причин. Во-первых, переходя из каторжного состояния в состояние условно свободного поселенца, заключенный выходит из-под контроля, он может свободно перемещаться по острову и делать что ему вздумается. Во-вторых, – и по секрету, – с архивами большая беда; пятнадцать лет назад в ходе реформы

системы каторжных тюрем архив сгорел, и восстановить его не удалось, поскольку судно, на котором в Японию вывозились фотокопии всех документов префектуры, в шторм наткнулось на бродячую субмарину и затонуло. Разумеется, кое-что отыскать удалось, однако значительная часть данных безвозвратно утеряна, так что сейчас никто не может с точностью сказать, сколько сейчас на острове бывших каторжных. В-третьих, – и это не по секрету, – префектура не заинтересована в полной ликвидации Прикованных к ведрам, поскольку они являются той силой, которая помогает держать преобладающих на острове китайцев в страхе и подчинении.

– Сахалин – очень запутанный остров, – сказал проводник и поставил стакан на столик. – Чего тут только не накручено. Змеиная яма. Извините, чай, наверное, остыл, сейчас подгорячу.

Проводник собрал стаканы и удалился, а я достала блокнот для заметок.

В ходе моей подготовки к экспедиции на Сахалин я, разумеется, намеревалась изучить имеющуюся информацию, опросить тех, кто побывал на нем по службе, тех, кто проработал здесь долгое время, для того, чтобы составить хотя бы общую предварительную картину, однако когда я сообщила о своих планах профессору Ода, он категорически запретил мне это делать. По мнению профессора, это могло серьезно исказить картину и повлиять на объективное восприятие. Единственно, что, по утверждению профессора, стоило сделать, – это собрать впечатления тех, кто никогда на Карафуто не был; то есть собрать слухи, легенды и домыслы, чтобы потом, по возвращении, сравнить их с реальным положением дел. Именно в столкновении между Сахалином легендарным и Сахалином реальным следовало искать те зерна, из которых произрастает будущее, именно этот диссонанс, по словам Ода, и являлся хлебом практической футурологии.

Сейчас, угощаясь прессованными шоколадными пластинками, я вспоминала слухи о Сахалине, долетавшие до меня еще во времена школы. В нашей семье, семье крупного военного чиновника, обсуждение сплетен не приветствовалось, однако после ужина я могла отправиться на кухню, где отдыхала прислуга, и услышать жуткие и фантастические истории про Карафуто.

Про то, что там до сих пор сохранились птицы, но птицы эти сухопутные, совсем не умеют летать, зато очень хорошо бегают. Птицы эти охотятся стаями и, подкравшись к спящему, первым делом выклевывают ему глаза, а потом следуют за слепым, дожидаясь, пока он не сломает ноги,

и тогда они набрасываются и расклевывают несчастного за несколько минут.

Про северных островных людоедов, живущих в болотах и давно покрывшихся чешуей и издали напоминающих червей.

Про айну, которые, несмотря ни на что, выжили и вынашивают планы мести. Что каждый айну носит с собой кисет, в котором хранит сухие кости пальцев рук убитых им японцев. Что при встрече айну играют в особую игру, и проигравший или должен за сутки принести победителю голову японца, или быть самому убитым. И всегда айну неуловимы, мужественны и кровожадны.

Про то, что уголь, присылаемый с острова, радиоактивный и что от его использования начинается гниль кожи и рак легких.

Про то, что на острове нет никаких каторжных тюрем, что всех преступников вывозят в море и бросают на съедение акулам, которые целыми стаями идут за каторжными сухогрузами в ожидании поживы.

Про то, что с Сахалина ни в коем случае нельзя вывозить никакие вещи и прочие трофеи, поскольку все они прокляты, и каждый, кто возьмет сахалинскую вещь, заболит и скоро умрет.

Я вспоминала эти истории, рассказанные в полумраке таинственными голосами, а поезд между тем вышел на побережье; за окном в солнечном молочном мареве поплыл Татарский пролив, он казался теплым и мирным, лишь темные силуэты далеких миноносцев береговой охраны напоминали о том, что действует режим изоляции, что между островом и материком проведена граница, перейти которую не может ни один человек.

– Ваш друг тоже был там, – сказал вдруг проводник, вернув меня к реальности.

– Где? – не поняла я.

– Там, на железной дороге, когда нас хотели давить поездом. Он был там и спас много людей. Жаль, очень жаль.

– Что жаль? – снова не поняла я.

– Что он уедет. Он ведь наверняка уедет с вами в Японию.

– С чего вы взяли?

Проводник пожал плечами.

– У него на шее, вот здесь, – проводник потрогал себя за горло. – У него вот здесь пять полосок. Это означает, что он может уезжать. Это означает, что он совершил много полезного. Неужели тот, кто может отсюда уехать, предпочтет здесь остаться?

Теперь уже я пожала плечами. Откуда знать, какие планы у Артема? Он показался мне не очень разговорчивым. Он постоянно о чем-то думал,

поглаживая багор, или морщился. Он очень любил морщиться и почесывать нос, отчего казалось, что он мучается насморком. Если честно, мне хотелось с ним поговорить. Расспросить про его жизнь, узнать, как он смог... выжить здесь.

– Нет, он уедет, – с сожалением произнес проводник. – Это плохо.

– Почему?

– Порядка станет меньше. А время не то... Впрочем, надо как-то жить. Знаете, я завидую вам...

Проводник указал в сторону соседнего купе.

– Завидую, что вы можете поговорить с ним на его языке. Завидую. Скажите, а вы...

Проводник замолчал, видимо обдумывая просьбу. Обдумывал он ее достаточно долго, но никак не мог высказать, вспотел, снял фуражку и стал промокать лоб. Он явно пребывал в затруднении, и, чтобы помочь ему, я спросила про другое – про Углегорск.

– Углегорск...

Проводник достал из кармана форменного сюртука замшевую тряпку и стал протирать поручни, зеркала и другие полированные поверхности, их в купе было предостаточно.

В Углегорске нет ничего интересного, сказал проводник, лишь угольные копи, обогатительные фабрики, энергетические установки, заводы по производству эрзац-топлива, газгольдеры и бесконечные шахтерские бараки; из достопримечательностей там, пожалуй, только секта ползунов, ее проводник рекомендовал посмотреть непременно, особенно если я интересуюсь этнографией.

– Впрочем, насколько я понял, вы еще и футуролог?

– Да, – кивнула я. – Кафедра практической футурологии Токийского Императорского Университета, сейчас служу в Департаменте Этнографии.

Не думала, что проводник на линии Холмск – Тымовское хотя бы знал такое слово – футурология, но проводник его знал, даже более того.

– Профессор Ода, – с какой-то ностальгией произнес он. – Да-да...

Как выяснилось, в юности проводник посещал лекции вольнослушателем, но дальше дело не пошло, однако профессора Ода и его эксцентричные семинары он помнил до сих пор. Странно здесь встретить человека, который видел профессора, воистину стал тесен обитаемый мир, сжался, сдулся.

– Профессор был заметной фигурой. Знаете, его борода восхищала студентов и пугала студенток...

– Борода? – переспросила я.

– Борода. Сейчас у него нет бороды?

– Нет.

– Жаль. Его борода часто выступала предметом анекдотов...

– Сейчас у него нет бороды, – сказала я. – Сейчас у него вместо бороды полевая футурология.

– Да, это, несомненно, актуально, футурология, будущее. Я помню, тогда все смеялись над ним, а сейчас, я смотрю, правительство заинтересовано...

Я пожала плечами.

– Если вы футуролог, то секта вас должна заинтересовать, – повторил проводник. – Это и смешно... И печально, впрочем. Хотя, если мне не изменяет память, ползуны возникли еще до Войны, и во время тогдашней смуты их движение было понятно, но сейчас...

Проводник сокрушенно покачал головой.

– Что самое удивительное, численность секты растет, – это проводник передал доверительным шепотом. – Причем, по некоторым слухам, в нее вовлечены даже некоторые чины местной администрации.

– Японцы? – удивилась я.

Проводник скорбно согласился.

– Это Сахалин, – сказал проводник. – Здесь возможно все. Если вы собираетесь дойти до Александровска, то вам лучше подготовиться – в пути вы увидите много чего, и японцы, ползающие по земле как ящерицы, не будут самым поразительным. Это Сахалин. Хотите шоколада?

Он принес еще шоколада.

А я спросила его о будущем.

Показания Артема

– Нет рыбы, нет птиц, нет кроликов, нет жратвы, нет чистой воды, нет салфеток, нет аспирина, нет табуреток, нет бумаги, нет газет, нет баб, нет бензина, нет лопат...

– Зачем тебе лопата? – спросил я.

Чек не ответил.

Но замолчал. Это хорошо, а то я стал немного уставать от его причитаний. Чек в последнее время совсем плох. И я знаю, зачем ему лопата.

Чек плох. От голода он стал похож на акулу. Лицо заострилось и вытянулось вперед, и зубы заняли в нем центральное место, а все остальное – нос, губы, глаза, лоб, все стало как бы прилегающим к зубам частями. Короче, Чек весь сосредоточился в своих зубах, по-другому и сказать не могу. Он стал своими зубами, его душа прочно вселилась в полированную нержавеющей сталь челюстей – да, зубы у Чека не свои. Свои у него выпали еще лет десять назад, разом. Утром проснулся, стал чай пить – и в кружку сплюнул. Помню, в бешенство тогда он пришел, меня побил и пошел в ханов стрелять из рогатки. А зубы сначала берег в пластиковом пузырьке в память о прошлом мире, но потом потерял и два года ходил беззубым. За эти два года у него окончательно испортился пищеварительный тракт и характер, раньше Чек беседовал о философии и литературе, сейчас исключительно о жратве и испражнениях.

– Опять жидко погадил, – трагически сообщил Чек. – Вроде пробку жую, кипяток пью, а все равно... А ты как?

– Нормально, – ответил я.

– Молодой еще, – объяснил Чек. – Я, когда молодой был, знаешь как гадил! Ого-го! Как бомбардировщик! Как слон! Не то что вы, богатыри, вать машу...

Чек стал рассказывать, как славно он гадил сразу после Войны, а на Войне у него с этим проблем вообще никаких не возникало, там все хорошо гадили.

Ему, наверное, лет восемьдесят, не меньше. Если он Войну застал, то не меньше. И все жив. Правда, лопату уже стал выпрашивать – это чтобы закопаться и не попасть на электростанцию. Он все боится, что я его сдам, и поэтому где-то роет себе могилу. Говорит, что не хочет, чтобы косоглазым достался хоть один ватт тепла из его тела. Человек.

Восемьдесят лет. Трудно представить. Он говорит, что помнит, как оно все было раньше. Еще десять лет назад он скакал вполне себе здоровым мужиком, легко катал свою тачку, теперь сдал. Голодные годы. Цинга. Прошлую зиму пережили с трудом – ханы разорили всю черемшу на западном склоне, пришлось дотягивать на короедах. Человек иногда сутками не вставал с печки.

Старый.

Чек вдруг перестал гундеть про повадки своего кишечника, замолчал на секунду и снова запустился:

– Нет рыбы, нет птиц, нет кроликов, нет жратвы, нет чистой воды, нет салфеток, нет аспирина, нет табуреток, нет бумаги, нет газет, нет баб, нет бензина, нет лопат.

Он извлек из особой баночки бархотку и начал полировать зубы.

– Нет рыбы, нет птиц, нет кроликов, нет жратвы, нет чистой воды, нет салфеток, нет аспирина, нет рыбы...

Это как молитва. Однажды я засек – Чек бубнил тринадцать минут и ни разу не повторился. Все-таки почти доктор философии, если не врет.

– Рыба есть, – поправил я.

– Считаю, что нету, – отмахнулся Чек. – Все равно ее жрать невозможно.

Зубы поблескивают, Человек с удовольствием в них посмотрелся, как в зеркало, подышал на них. Свои новые железные зубы он выменял на йод, йод он украл в фельдшерской, в фельдшерской он помогал препарировать трупы.

– Раньше у нас этой рыбой свиней кормили... Ты знаешь, что такое свинья?

– Видел, – ответил я.

– На картинке. А я еще живых застал! Восхитительные животные! Умные, неприхотливые, вес быстро набирают, а жрут все подряд. Ты знаешь, сколько блюд можно приготовить из обычной свиньи? Десятки... Нет, сотни великолепных блюд! Свиные уши, шашлык, кебаб... Я вчера видел собаку.

Приехали, подумал я. Он видел собаку. Нехороший признак. На соседней сопке жил Кочан, он тоже начал видеть собаку. Говорил, что по вечерам к нему приходит и смотрит. Повесился. Я сам его труп снимал, а потом сдавал.

Чек посмотрел на меня ехидно.

– Думаешь, я соскочил? – усмехнулся он. – Нет, я не соскочил! Я ее точно видел! Ханы завели собаку.

– Не знаю...

– Точно! Настоящую собаку! Ты представляешь, сколько блюд можно сделать из собаки?! Котлеты! Собака на ребрышках! Собака под маринадом! Собака по-польски! Томленные спинки! Собака, запеченная с грушами...

И так тринадцать минут подряд.

На собаке с имбирем Человек сбился и сказал:

– Шторм идет. Чую, чую, шторм! Нанесет тебе падали... Интересно, куда это собака прячется в шторм, а?

Кажется, все-таки свихнулся.

Я не стал дальше слушать, пошел к роднику.

В день примерно сорок литров. Нам с Человеком хватает, двадцать литров в неприкосновенный запас, остатки продаем ханам. У них есть свой ручей, бежит под нашей горой и впадает в речку. Но он грязный. Не то чтобы нестерпимо активный, пить можно. Но недолго, лет через пять печень отлетает. Поэтому ханы собирают воду с листьев, строят фильтры, покупают у нас. А несколько лет назад пытались подкопаться под гору, чтобы к нашему роднику прицепиться, метра четыре прорыли, наткнулись на скалу. Ну, а мы потом с Чеком им задали. Спалили три фанзы, вытоптали огороды, помню, Чек был в полной ярости. Рвал и поджигал. С тех пор ханы нас боятся, но родник мы все равно минируем.

Сам родник прикрыт кирпичным колпаком и имеет стальную дверцу с замком. Замок хороший, хитрый, с первого раза не откроешь, а если откроешь, то нужно быстро нажать на пружину. Если за тридцать секунд не нажмешь, в воду выливается ведро бензина. А по-другому никак.

Цинковая бочка оказалась заполнена наполовину, я открутил кран, набрал канистры и отнес наверх. Тут у нас два пятисотлитровых бака с неприкосновенным запасом. Один хранится для питья, из другого поливаем огород. То есть поливали. Две недели назад Чек почувствовал былую страсть к земледелию и решил полить грядки. Он полил капусту, морковь и картошку. И забыл закрыть вентиль. Пятсот литров вытекло на тыквенную грядку и смыло ее. Чек сделал вид, что потерял сознание. После этого на бак с питьевой водой я тоже повесил замок.

Лето выдалось жарким, морковь и капуста быстро подвяли, на очереди пеклась картошка, а тыквы не осталось, так что я был уверен, что зима продлится долго. Черемша черемшой, но от нее кишки заворачиваются. Голод такой, что до морской капусты докатишься, тогда до весны можно протянуть.

Чек это понимал. Именно поэтому он решил помирать, не откладывая

до февральских поносов. Думал, что я держу на него зло за воду и отомщу. Но собака его вдохновила.

Я достал спрятанную лопату и до вечера перекапывал грядки. Земля просохла. Есть полмешка гороха, если повезет, можно к зиме кое-что собрать. Сидеть зиму на горохе – не очень веселое дело, и желудок Чека взвует от восторга, ну да сам виноват. Никто его за руки не тянул.

Я работал. Иногда из дома показывался Чек и продолжал рассуждать о собаке, хищно поглядывая на горох. Попытается откопать. Точно, попытается. Придется, наверное, побить.

Работал до вечера. А ночью ударил шторм. Значит, Человек еще из ума не выжил. Может, он и собаку видел. Если тут на самом деле есть собака, то это очень хорошо. Ханы за нее горло перегрызут, но может, получится договориться. Сменять их собаку на нашу воду и морковь. Конечно, я не собирался ее есть, это глупо. Хотел попробовать натаскать ее на соболя. По слухам, на севере много его развелось, но без собаки не взять. Если...

Так получилось, что и я стал думать о собаке, а шторм в это время развернулся. Залепил окна липкой водой, затряс стены, заволновал землю, я перебрался с кровати в гамак и покачивался, стараясь не слушать ветра, стонущего в жестяной крыше, и скрежета, доносившегося со стороны города. Завтра будет работы – ветер повалит небоскребы, построенные из мусора, перемелет трущобы и набьет ханов, и придется прицеплять к труповозу прицеп, а может быть, и давилку...

Шторм – это хорошо. За каждого мертвеца выдадут по талону, а талон легко сменять на полкружки ячменя. Если повезет, наберу полмешка, ячмень можно запаривать или молотить и печь лепешки, можно прорастить и пережарить в солод...

Но работы оказалось гораздо больше, чем я ожидал. Меня подняли утром, часа в четыре, – приехал оранжевый грузовоз береговой охраны, и злой водитель-поселенец сообщил, что все муниципальные служащие обязаны в течение часа прибыть в бухту в костюмах химзащиты, в противогазах и с оборудованием для утилизации. Я спросил – опять, что ли, лодка, но водитель ответил, что ночью «Мирный» сорвался с якорей, опрокинулся и выбросился на берег. Содержимое танков оказалось в воде, и вся гавань теперь похожа...

Я примерно представлял, на что похожа гавань. На суп. Отправился будить Чека.

– Я сдох, – отмахнулся он. – Сдох, обоссался и не поднимусь.

– «Мирный» сорвался, – сказал я.

Чек ожил. Сел на койке, заблестел глазами.

– Сколько там? – спросил он.

– Тысяч пятьдесят, – ответил я.

– Прекрасно! Там весь берег, наверное, усеян! Это здорово! Слушай, давай и я пойду, а?

Чек вскочил и стал натягивать кальсоны.

– Вдвоем мы всяко больше наберем, – бормотал он. – Я еще ничего...

– А тачка? – спросил я.

– С тачкой еще лучше! – воскликнул он. – Ты будешь их вытаскивать, а я на тачке отвозить! Пшена поднимем! Я сто лет не ел каши!

В глазах у него неожиданно проявился вполне трезвый разум, и я согласился.

Стали собираться.

Чек переключился на возможную пшенную кашу и стал вспоминать, как хорошо ее готовила мама. Он натягивал комбинезон и вспоминал вкус и цвет этой каши, ее густоту и рассыпчатость и то и дело добавлял, что единственное, чего не хватало в той каше до совершенства, – это немножечко свеженькой собачатинки.

Он повторил про пшено и собачатинку так много раз, что меня затошнило, и я отправился греть двигатель труповоза.

Через десять минут явился Чек во всем облачении, в химзащите, с противогазом на боку, с багром, с кандалами. Велел мне катить тачку.

Тачка у Чека настоящая. Из старых. Иногда мне кажется, что из старых. Из доэлектрических времен. Полностью железная, с тяжелым чугунным катком вместо колеса, ни подшипников, ни какого-то облегчения. Я сам с этой тачкой стал только недавно справляться, а Чек с ней почти жизнь. Конечно, в последнее время он с горы редко спускался, а раньше он с этой тачкой до города и обратно по три раза туда-сюда бегал. Помню, когда я закоростел лет пять назад, весь покрылся толстой коркой, ходить не мог – двинусь, а короста трескается, и больно. Так он меня сажал в эту тачку – и в Холмск таскал к лекарю, потому что тот сам на гору не хотел подниматься. А тачка эта весит никак не меньше пуда, а то и полтора.

Вот и сейчас выволок я тачку и посмотрел на Чека с сомнением.

– Что смотришь? – насмешливо спросил Чек. – Да я еще тебя переживу. Давай, цепляй.

Я быстренько приковал ногу Чека к кольцу на тачке, мы погрузились в труповоз и покатали с сопки. Тормоза кипели и воняли.

У подножия собралась толпа ханов, они смотрели на нас с завистью и злобой.

– Сдохните, ханьские свиньи! – в сердцах крикнул им Чек.

Труповоз подбросило на камне, и Чек как всегда выронил свою бесценную челюсть, едва поймал и больше после этого ее не вставлял.

Через полчаса мы обогнули город и спустились к северной гавани.

Гавань была оцеплена силами самообороны, солдаты в противогазах разворачивали бухты колючей проволоки по второму ряду и строили оцепление, на берегу собрались все санитарные команды. Примерно в полумиле от нас лежал на боку танкер «Мирный», используемый для хранения и переработки трупов перед отправкой их на энергостанцию. Шторм загнал его в бухту, опрокинул, содержимое танков заполнило собою гавань.

Трупы. Мертвецы. Бревна. Много.

Удача. Нет, определенно удача.

При правильной организации процесса труп горит долго и жарко, так что мертвецы – ценное сырье. Кроме того, при таком перенаселении их просто некуда девать. Раньше поступали легко – набивали ими попавшийся старый сухогруз, выводили в море и топили. Но обнаружилось, что это не очень правильно – мертвецы часто всплывали, и их приносило обратно к берегу. Впоследствии разработали новый метод. Мертвеца обезвоживали в соли, сушили, пропитывали отработкой, потом обваливали в промышленных прессах и в хлыстах отправляли на берег. Дошло в городе много, недостатка в топливе энергостанция не испытывала.

– Не зря мне сволочи снились! – радостно воскликнул Чек. – Ты посмотри! Сегодня счастливый день!

Я уже успел посмотреть. Гавань была заполнена медленно покачивающимися трупами. За ночь они успели набрать жидкости, и теперь вода в бухте походила на густой неприятный суп из окурков. Или из фасоли.

У пропускного пункта я остановил машину, предъявил документы. Дежурил Кадо, жадный такой тип, любитель морковного вина и улиток, и хотя он прекрасно знал и меня и Чека, но рожу соорудил неприветливую, будто мы с Чеком и не муниципальные служащие. Пришлось представиться по форме:

– Добровольно ограниченные номер сто семнадцать...

– Прикованный к тачке, – с гордостью произнес Чек.

– И номер пятьсот сорок восемь, Прикованный к багру, – закончил я.

Кадо изучал наши карточки, тянул из вредности время.

– Корейцами пахнет, – сказал Чек. – У вас что тут, и корейцы бревна ворочают?

Кадо поморщился, но ругаться не стал, возможно, у него на самом деле

имелись корейские корни.

– Проезжайте, – он махнул рукой.

– Я тебя, парень, помню, – Чек указал на Кадо пальцем. – Твоя мать торговала солеными крысами в корейском квартале, это были самые дрянные крысы на всем побережье, она надувала их через трубку, чтобы они выглядели упитаннее...

Я сдернул Чека на сиденье и направил машину к воде. Кадо злопамятный, может выработку понизить, лучше его не злить.

Чек беззубо засмеялся и затаил про пятнадцать человек на сундук мертвеца и про смерть, заблудившуюся в лесах под Охтой. Давно не видел его таким воодушевленным. Он будто сбросил лет двадцать, распрямились его колени, спина перестала хрустеть, руки сжимали багор, он то и дело гремел цепью и ругался.

Говорят, на восточной островной гряде мертвец еще в большем почете, там их развеивают в мусоросжигателях, а после выбирают из пепла редкоземельные крупы. Но и здесь мертвецы в цене, так что «Мирный» опрокинулся весьма кстати, шторм принес к нашему берегу удачу. Так что не зря Чек веселится. Конечно, они за ночь немного раскисли, ну, мертвецы то есть, но ничего, нацепляем.

Бойцы сил самообороны закончили с колючей проволокой и теперь проверяли огнеметы, выпуская в воздух оранжевые факелы. Пахло керосином, санитарный режим. Хотя мертвецы, как правило, не заразны, но на всякий случай. А колючая проволока нужна для того, чтобы не искушать поселенцев. За каждый труп администрация платит муниципальному служащему продовольствием, немного, но все же. Поэтому, если не выставить охрану, сюда нахлынет стая китайцев, они растащат все за полчаса, попрячут мертвецов под кроватями в надежде потом сдать их на энергостанцию, и через месяц в городе начнется эпидемия. Кстати, среди китайцев распространена такая штука: собираются два китайца и играют в чёс, кто проиграл – тот вешается, выигравший получает труп и все имущество трупа в карманах.

Я остановил машину, и мы высадились на пляж. Тут собрались, наверное, все официальные божедомы Холмска, все, кто имеет разрешение работать с мертвецами. Понятно. Будем вылавливать бревна из воды, складывать их на берегу. Хранить их негде, новый танкер пригонят не скоро, так что скорее всего будут жечь. Какая разница, лишь бы заплатили.

Чек спрыгнул на гальку, с лязгом выволок из машины тачку и закинул на плечо багор.

– Привет, нищоброды! – крикнул он. – Я погляжу, со всего Холмска

параша стеклася...

Собравшиеся на Чека внимания не обратили, продолжили смотреть в воду. Они знали, кто он такой, и вступать с ним в ссоры не решались.

– Ну что, – ухмыльнулся Чек, – надо и поработать немного. Мне кажется, вон там хорошее место, много трупов.

Чек указал багром в дальнюю сторону гавани. Там на берег выбросился вельбот, своим корпусом он создал дополнительную ловушку, в которую успело набиться множество бревен. Отмель, трупов на ней скопилось особенно много, и достать их было легче.

Чек взялся за ручки тачки и, толкая ее перед собой, направился вдоль пляжа. Он шел широко, направляя тачку на встречных божедомов, плюя в их сторону, кашляя и сморкаясь. Останавливался, замахивался багром на стоящих непозволительно близко и ругался. Он ругал ханов, которым давно пора вернуться в свой ненаглядный Китай и сдохнуть под радиоактивным пеплом. Ругал японцев, которые сыто устроились в своей косоглазой империи, они там всю жрут собак, а мы тутдохнем. Корейцев, которые вообще недостойны называться людьми, потому что все это затеяли именно они, Ким Ын Юн, будь ты проклят вовек. Американцев – он соберет в себе силы и девятого пойдет в город кинуть камень в проклятого чипсожора, который раскормился на его, Человека, костях, говорят, он в день съедает по полсобаки.

Я шагал за ним. Божедомы, в большинстве своем ханы, были покорны. Лишь у немногих в глазах вспыхивала быстрая ненависть, и тогда я останавливался и ждал, пока она погаснет. Потому что ханов надо держать в строгости. А то на голову сядут.

Место у вельбота оказалось занято. Два довольно крепких мужика с вызывающими баграми, крашенными в яркий зеленый цвет. Высокие и белые – то ли финны, то ли поляки, не знаю, раньше я их не видел. Наверное, из новеньких, с прошлогоднего парохода. На спинах бубей нет, но, может, просто набить еще не успели.

– Вот тут и будем стараться, – сказал Чек и наехал тачкой на ногу финна.

Финн не отступил. Напротив, стал упертее. Только финнов нам не хватало...

– Отошел! – рявкнул Чек. – В сторону! Я вам покажу сейчас Калевалу, вать машу! Вы, трупоеды чухонские, в сторону!

Финн остался на месте. Устойчивый такой. Другой несколько посторонился. Потому что Чек умел быть страшным.

– Ты кто такой, пермоляйнен?! – спросил Чек. – Ты кто такой, немочь

самоедская? Я – Прикованный к тачке! А ты, ты кто? Ты, перхоть подзаборная, муми-тролль недовыжатый...

Финн оглянулся в поисках поддержки у другого финна.

– Вон! – рявкнул Чек. – Вон пошел, пока ходится!

Финн отступил на шаг.

Чек достал из кармана железную челюсть и вставил в рот.

– Я тебя сейчас на кадык поставлю, и мне за это ничего не будет, – сообщил Чек и начал необычайно ловко раскручивать над головой багор.

Финны сдались и побрели прочь, искать новое место.

– Вот так с ними и надо, – сказал Чек. – Примитивные этносы понимают только грубый язык силы, запомни это.

Он воткнул багор в гальку и уселся на тачку. А руки дрожали, я заметил. Нет, Чек решительно постарел.

– Работы много, – кивнул он на воду. – Скорее всего, зажмут по полкружки за штуку. Ну, если хотя бы по четверти и то неплохо. Тут за пару часов на мешок можно повытаскивать. Начнем, что ли?

Но мы не начали, пока не появился представитель Санитарного Департамента с мегафоном и не объявил, что работы можно производить единственно по сигналу, а вытащенные бревна складывать на берегу штабелями как можно дальше от береговой линии.

– Докатились, – Чек презрительно плюнул в воду. – Корейцы учат меня, как надо штабелировать жмуров! Да я этим сорок лет занимаюсь! Скоро они меня будут учить, как правильно собак жрать...

Со стороны «Мирного» послышался тяжелый мясной звук, точно внутри что-то оборвалось.

– И куда мы их девать станем, – спросил Человек, – когда повытаскиваем? Другой танкер подгонят?

– Вряд ли. Так быстро свободный танкер не найдешь, они все расписаны...

– Закапывать, что ли? Куда закапывать? И так земли не осталось, а если еще мертвяков закапывать... Слушай, а если их в котлован обогатительной фабрики завалить, а? Наверное, войдут. Там же солидный какой котлован...

С чего-то вдруг Чек озаботился проблемой утилизации бревен. Хотя у него сейчас хорошее настроение, вот фантазия и разыгралась.

– Не, – помотал головой я. – В фундамент нельзя закатывать, потом пустоты образуются. Будут жечь, скорее всего.

– Как жечь? Они же сырые теперь. Размокли... Как их жечь-то?

Какая разница? Наше дело вытаскивать, жгут пусть пожарные.

Подошел знакомый кореец из Санитарного Департамента, доктор Пхен. Я узнал его – два года назад он заведовал в нашем округе публичными виселицами, а сейчас, значит, поднялся. Странно, обычно корейцев на официальные должности не пускают, а этот пробрался. Доктор Пхен, толстый такой Пхен, что для нашего времени необычно. Корейцы страдают от голода сильнее остальных, отчего крайне неразборчивы в пище, зачастую питаются земляными червями и поклоняются Чучхе, бесу из чащи.

Доктор Пхен изложил план – вытаскиваем трупы баграми, складировать их вдоль откоса, жжем напалмом и из огнеметов, закапываем бульдозерами, снова жжем. Работы много, но к вечеру должны успеть, и лучше успеть, поскольку ночью снова ожидается шторм, и никому не надо, чтобы бревна унесло в море.

– Поспешай! – прикрикнул доктор Пхен. – Поспешай-поспешай! Работай!

– Я сегодня ночью обоссался, – громко сообщил Чек Пхену. – От страха и отвращения. А знаешь почему? Мне приснилось, что я – это ты.

Доктор Пхен посмеялся и отправился дальше, Чек плюнул ему в спину, но доктор Пхен не обернулся.

Я двинулся с багром к воде.

Чек потащился за мной с тачкой, по пути рассказывая свою очередную историю. Они у него каждый раз другие, так что я подозреваю, что Чек их все-таки выдумывает. Если бы не выдумывал, то он бы повторился, а он не повторяется.

– А ты знаешь, что «агент V» придумал дерматолог? – начал Чек. – Цернштоллер, известный ученый, гений. Все знали, что рано или поздно война случится. И готовились. Кожу жидкую разрабатывали, чтоб в полевых условиях можно использовать. А потом вдруг выявилось побочное воздействие. Совершенно случайно он опрокинул пузырек в аквариум...

Мне не хотелось болтать о гениях былых времен, хотелось, чтобы поскорей наступил вечер. Послепослезавтра чтобы наступило. Трупы – это здорово. Когда один-два. Но таскать их целый день... Нет бы подогнать дночерпалку, полчаса работы – и все бревна на берегу. Но черпалка дорогая, а мы, трупорезы, бесплатные.

– Когда Цернштоллер понял, что изобрел, он сошел с ума, – с каким-то удовольствием сказал Человек, – и выбросился из окна. Знаешь, такая древняя богемская традиция, дефенестрация называется...

– Ему надо было раньше выброситься, до изобретения.

И всем бы им, этим изобретателям, выброситься раньше. Мобильное

бешенство, кажется, в своем первоначальном варианте являлось лекарством от герпеса.

– Я слышал вот, что война началась из-за боксеров, – сказал я. – В городе говорили...

– Не совсем так, – тут же подтвердил Чек. – Война началась во время матча, это да, Северная Корея против Америки. Хен Вон против Илая Малика. Матч устроили в Мумбае, заранее называли «Мумбайской бойней»... Хен Вон лег в седьмом раунде, как сейчас помню...

Чек улыбнулся. Опять непонятно, врет или нет. С Чеком теперь все непонятно.

– Он лег в седьмом раунде, этот негр Малик его уронил левым апперкотом, я смотрел по телику. А через восемнадцать минут Северная Корея нанесла ядерный удар по американским базам на островах. Нас к вечеру мобилизовали, а на следующий день... На следующий день уже была ночь. Во всяком случае, над континентом...

Мы приблизились к прибою, и я начал работать. Зацепил багром бревно, выволок на гальку. Затем второго. Затем третьего, четвертого выволок. Все ханы. У них от сушки лица становятся кукольными, и звук деревянный, поэтому их бревнами и называют. Правда, уже успели размокнуть, но все равно держались на воде хорошо и были не очень тяжелыми.

Чек не работал, сидел на тачке, рассуждал, как обычно:

– Участь интеллигенции в постъядерном мире незавидна. Интеллигенция приняла на себя первый натиск тьмы, от нее почти ничего не осталось. Но кто, если не мы, сможет донести до потомков весь шум и всю ярость тех дней? Это наш крест, наше бремя. В окружении ханьского зверя и корейского хама сберечь святое пламя духа! Передать его грядущим поколениям! Я чувствую себя Данко, честное слово.

– Вчера ты чувствовал себя Монтесумой, – напомнил я.

– Вчера я был жалок.

Человек задумался, потом выдал:

– Вчера я был жалок – и гадил жидко. Сегодня я кремень – здравствуй, запор!

Чек расхохотался.

– Слушай, я, пожалуй, выпущу небольшую книжку афоризмов – в качестве приложения к «Теории посмертной мобильности». Назову ее «Овечьи шарики», ну или что-то вроде...

Мертвецы у берега закончились, и мне пришлось зайти чуть глубже, до пояса. Чек продолжал громче, чтобы я слышал:

– ...так и обозначу: «Теория посмертной мобильности. Двоеточие. Введение в прикладную эсхатологию». Это будет достойно! Шум и ярость! Мир падет в огне! Как же! Хрен вам, господа, – мир падет в дерьме! В дизентерии! В нечистотах! В кровохарканье, в бубонной чуме и радиоактивных мокрицах!

Волны качнулись и подогнали к берегу стайку трупов. Я к этому времени неплохо размялся и теперь работал с полной отдачей, широкими движениями цепляя и выкидывая на берег бревна. Главное, войти в ритм: раз – два, раз – два. Чек тоже старался не отставать, грузил, таскал, сбрасывал. Болтал меньше.

Через час на нашем берегу высился вполне себе изрядный курган из бревен, по моим подсчетам, около полутора сотен. Еще штук пятьдесят я выволок из воды, но до кургана дотащить не смог от усталости. Сделали перерыв. Человек опять за свое:

– Никакого льда! Никакого пламени! Никакой полыни! Дерьмо! Водопадами дерьмо, таков Его нам ответ!

Я чувствовал, как у меня начинают болеть плечи и спина, а Чек, напротив, держался удивительно бодренько, ну, или умело делал вид. Ему тут нравилось: публика есть, движение, интересно. Курил еще. Он до сих пор иногда курит мох, хотя меня от курения отучил еще в самом раннем возрасте. Курил.

Чек закашлялся, сплюнул коричневую слюну на колено и провозгласил:

– Конец света – это тоска. Ничего веселого. Тоска и мертвецы. Подвижные мертвецы... – он указал на меня. – И уже неподвижные, – он указал на бревна, колышущихся в гавани, как прибрежный мусор.

– Подвижные, неподвижные. А разницы никакой. Мертвецы. Знаешь, судьба удивительно иронична, я заметил это еще в школе...

А вот это я хорошо знаю. Что судьба иронична. Что он, кандидат философских наук, большой знаток немецкой философии, вынужден большую часть своей удивительно трудной жизни быть трупорезом. А он, между прочим, Кьеркегора в подлиннике читал и диссертацию защищал по проблемам и перспективам форсированного прогресса.

Про немецкую философию это правда. Я от этой философии с детства страдаю. Чек ведь меня не только багром учил орудовать, он меня еще и по философической части продвигал. Вещь в себе, звездное небо надо мной, мы то, что мы думаем.

– Да, – продолжал Человек, – мы интеллигентные люди. Старик Ницше все это еще давным-давно предвидел, он вот лошадь поцеловал,

многие думали, свихнулся, а это был знак, все неспроста, мой друг, все неспроста. Через на первый взгляд необязательную цепь причин и следствий, через паутину бессмысленных событий на нас смотрит Бог, и лишь тот, кто чист душою, услышит песнь Его, узрит Его замысел, и маятник, качнувшийся в сторону зверства, качнется в милосердие...

Очень быстро Чека занесло, он перешел на немецкий и стал беседовать с кем-то невидимым, я немного послушал, но ничего нового для себя не узнал и вернулся к работе. Он в последнее время часто с этим невидимым беседует.

Бревна не убывали, напротив, несмотря на все старания, их становилось все больше и больше, они точно поднимались из глубин, накатывая новыми волнами. Разные, некоторые еще окоченевшие, другие, наоборот, полужидкие, проросшие коростой, ржавчиной, выложить их нормально было трудно.

Я работал пока еще в полную силу, от Человека же толку было мало, на шестерых моих мертвецов приходился один его. И то хорошо. Не заболел бы, от голода болезни привязываются. Хотя, может, за сегодня мы все-таки получим провизией, придем домой, помоемся, сварим что-нибудь...

Я стал мечтать, чтобы нам выдали овес. Из овса получается отличная каша. Отличный кисель. И хлеб вполне себе вкусный.

– Мама! – вскрикнул вдруг Чек, шарахнулся.

Цепь, крепящая его к тачке, натянулась, Человек шмякнулся на гальку, замер.

Я подошел, поглядел на труп, который он пытался загрузить в тачку. Хан как хан, распухший, белый, странный какой-то... Не сушеный. Скорее всего, не с «Мирного», давно в море болтается, подгнуть успел по краям. Черты лица еще можно распознать. Хан как хан, чего Чек так дернулся?

– Он же на меня походит, – прошептал Чек. – Ты разве не видишь?

Хан совсем не походил на Человека.

– Воняет так же, как ты, – сказал я. – А так ничего общего.

– Одно лицо... – Чек всхлипнул. – Просто одно лицо, ты погляди внимательнее!

Хан совсем не походил, но Чек, кажется, начал впадать в истерику, и я согласился:

– Да, похож немного. Бывает.

Я зацепил хана багром и отволоч его к остальной куче. Вернулся к морю, продолжил работу.

А Человек все, посыпался. Причитать пустился, десять минут бродил

вдоль кучи бревен и вглядывался в каждого, кто не успел засохнуть до неузнаваемости. Сказал, что ищет еще похожих, поскольку такой феномен надо осмыслить, а закрывать на него глаза философски неверно. Мне же представлялось, что Человек попросту не хочет работать. Устал ковыряться с трупами, вот и придумал, как отодвинуться. Скорее всего так.

А я работал. Взмахивал багром, цеплял, тащил. Еще раз. Еще десять раз. И так еще сто раз, и еще двести раз, пока не заболели спина и ноги.

На двести первый раз багор сорвался, а я поскользнулся на слизистых камнях и оборвался в гущу. Воды в гавани не осталось, бухту заполняла жижа, состоящая из городских отходов, химических стоков, из мусора, слизи. Я начал захлебываться и втянул эту дрянь в легкие, и за шиворот она немедленно пробралась, трупы сомкнулись надо мной, прижали ко дну неожиданной тяжестью. Я точно оказался на дне тарелки со студнем, вроде и жидко, но подняться тяжело. Я собрал силы и продавился через эту дрянь, разогнул спину, и Чек, стоящий на берегу, подал мне руку.

– Прах к праху, – пояснил Чек. – Снаружи прах, и внутри прах, исчезло божье электричество.

Сунул термос с горячей водой. А меня тут же вырвало, два раза, а потом я выпил кипятка, но это не очень помогло – я чувствовал, как внутри осталось что-то мертвое, холодное и липкое, кусок мертвецкой заразы.

– Стараться! – провозгласил в мегафон доктор Пхен с высокого берега. – Стараться!

Но я уже не мог стараться. У меня дрожали руки, меня тошнило. Скис.

Остальные божедомы тоже постепенно сдавались. Берег был завален мертвецами. Я так думаю, мы выволокли тысяч пятнадцать, а в воде оставалось еще в три раза больше. Погода опять портилась, Чек посмотрел на небо и сказал, что ночью опять придет шторм. Может, даже более мощный. Он уверен.

Через полчаса стало окончательно ясно, что нам не справиться. Трупы, вывалившиеся из танкера «Мирный», убрать не получится. Поэтому на подмогу пригнали ханов.

Они были из свежих, новеньких, похоже, прямиком с Монерона, все улыбались и выглядели довольными, а некоторые и счастливыми. Каждому хану вручили по длинному железному крюку и отправили в море. Они лезли в воду в одежде, без костюмов, без сапог, в своих обычных ханских мешках, это выглядело печально. Крюков на всех не хватило, и они вытаскивали трупы за руки и за ноги, закидывали бревно на спину третьему, и тот волок их к остальным. Не очень эффективно, но ханов явилось много, так что дело шло.

Я немного отдохнул и вернулся к воде.

К сумеркам мы закончили.

К сумеркам прибыл глава округа Холмск или его заместитель, не знаю, к вечеру я плохо соображал, сидел на вытащенной из моря покрывке и смотрел, как живые ханы складывают мертвых ханов в неаккуратные кучи, и вокруг одни ханы, и живых трудно отличить от мертвых, и все смешалось.

Глава округа привез бочки с напалмом и ведра, и все, кто еще мог стоять на ногах, таскали напалм и пропитывали им трупы и поливали камни вокруг.

А потом доктор Пхен выстрелил из ракетницы.

Домой мы не поехали. Тут было тепло. Да и сил не очень оставалось, во всяком случае у меня. Я притащил из нашего труповоза брезентовые плащи и котелок. Еды я с собой не прихватил никакой, но Пхен обещал, что за работу нам с Человеком выдадут три мешка проса. Это грело. К тому же бревна, политые напалмом, горели ровно и жарко. Другие трупорезы тоже устроились у дармового огонька, раскинули палатки, что-то варили.

Чек немного поныл, но, напившись кипятка, взбодрился. Он принялся бродить вдоль воды в расстегнутой фуфайке, с всклоченными волосами и рассуждал о чуде в жизни каждого отдельного человека. Что здесь, в бухте, на берегу, сожжено и закопано несколько тысяч полновесных чудес, но никто этого не понимает, потому что всеобщая пелена умертвения закрыла наши глаза бельмами зла.

Он говорил это громко, почти проповедовал, некоторые из трупорезов его слушали. Это неудивительно – говорит Чек хорошо. А если начинает кого проклинать... Тачку он катил за собой, колесо, набравшее песка, громко скрипело. Огонь скоро развеселился, и трупы стали стрелять и трещать, точно петарды.

А ночью пришел шторм. Он не случился таким мощным, как вчера, волны были низкие, а ветер сильный. Ветер раздувал огонь, и иногда он взлетал на много метров. По берегу гуляли странные тени. Чек некоторое время стоял, глядя в огонь, затем лег спать в свою тачку, укрывшись брезентом.

К рассвету прогорело все, бульдозеры, пригнанные со строительства обогатительной фабрики, принялись закапывать останки в берег, втрамбовывать их в гальку и песок гусеницами. Они сталкивали сверху, с крутояра, землю и мешки с хлоркой, я задыхался от хлорки, и глаза разъедало, а Чек все бродил и бродил вдоль воды со скрипящей тачкой, цепляя багром отдельные трупы, вытаскивая их на берег и укладывая в

виде букв «ж» и «г».

Утром нам выдали три мешка проса и полмешка пшена. Я ожидал, по крайней мере, два мешка пшена, но разочарования не стал высказывать. Чек был доволен. Он тут же выделил в свою пользу полмешка проса, сказал, что обменяет просо на два фунта колбасы, один он съест сам, другой использует для приманки – а как иначе, собаку пшенной болтушкой не приманишь, собака любит мясо...

Я погрузил мешки в труповоз, но тут выяснилось, что бензин у нас кончился. Его не могли слить, кончился, видимо, забыл заправить бак. Придется тянуть машину до горы, я сообщил про это Чеку, но он и не услышал, пребывая в мечтах. Тогда пришлось его немного побить.

В нашей труповозке предусмотрена специальная ляжка, если отказывает двигатель, в нее можно впрячься. Мы впряглись. Тащили, и всю дорогу до дома Чек грезил собакой. Он размышлял вслух: откуда она здесь такая жирная и лоснящаяся? Наверное, ее прикармливают каторжане с гребешковых садков. Эти желтолицые дьяволы приворовывают гребешковое мясо, оно богато минеральными веществами. Собака жрет гребешков и становится чрезвычайно богата минеральными веществами. Нет, кто-то ее кормит. И кто-то ее расчесывает – у бродячих собак не бывает такой аккуратной золотистой шерсти. А если кто-то собаку расчесывает, то он ведь делает это отнюдь не бескорыстно, он...

– Он сам ее хочет съесть! – сообщил Человек, и его глаза полыхнули ненавистью.

Мысль о том, что у него есть конкурент, привела Чека в бешенство. Он навалился на ляжку и поволок труповоз с силой буйвола, так что мне не приходилось прикладывать дополнительных усилий.

– Ты понимаешь, он сам! Впрочем, может, я ошибаюсь, может, это не каторжники. У меня есть на подозрении один...

У него есть на подозрении один распухший от гельминтов бесовестный китаец с синими буркалами.

– Я приготовил пику, заточил на три грани, слышишь?!

Если этот жбан с глистами хотя бы посмотрит в сторону его собаки...

– Попищу на папироски!

Чек сжимал кулаки, на шее выпучивались жилы.

– Чтобы никто, никто даже близко не осмелился!

Он определил ее породу – смесь лабрадора с дворнягой, такие особенно вкусны, особенно жирны, особенно мясисты в хребтовой части.

Он выменял рукописную книгу рецептов на корейском языке и упросил старого корейца перевести. И по утрам рассказывал – как

правильно освежевать тушу, чтобы не упустить ни молекулы вкуса, ни грамма ароматного жира.

Он нарисовал план местности и отметил красными крестиками места, где собака пасется особенно часто.

Он сплел из проволоки гибкую и длинную петлю и каждый день тренировался на деревянной лошадке с колесиками. Терпение и труд делали свое дело – один из пяти бросков заканчивался заарканиванием коника, Чек, брызгая слюной и изрыгая проклятия, подтаскивал лошадку к себе, вонзал в ее горло заточку и демонически хохотал.

– Нет, – повторил Человек, выкручивая от напряжения плечи. – Нет, она не японская, она ханьская. Или корейская, прости божечка. А на них мне плевать вот так, вот так...

Человек принялся показывать, с каким именно презрением он относится к китайцам и корейцам, хохотал и плевал на дорогу затажной соплистой слюной.

Домой вернулись поздно. Мне и раньше приходилось таскать труповоз в гору, но сегодня это далось через кровь. Почему-то из горла.

Через день я познакомился с ней.

Углегорск

Во времена начала освоения Карафуто на месте Углегорска располагалось незначительное поселение айну, впоследствии здесь построили русский военный пост, еще позже, когда Карафуто окончательно сделался Сахалином, эта часть острова приобрела неожиданные стимулы к промышленному развитию; в окрестностях обнаружили значительные запасы каменного угля, залежавшие к тому же близко от поверхности, что делало возможным разработку открытым способом. Эта разработка осуществлялась на протяжении столетия, равно как и транспортировка угля морским путем и железнодорожным транспортом; за это время весь город и его окраины неизменно пропитались угольной пылью, так что здесь не видно ни земли, ни травы, все здания имеют серый и черный цвет, а в воздухе чувствуется характерный химический запах, приносимый ветром с обогатительных фабрик.

Проводник, протирая ручки вагона, сказал, что в Углегорске он обычно старается как можно меньше держаться вне вагона и исключительно в респираторе, поскольку содержание угольной пыли на кубический метр воздуха превосходит все мыслимые пределы. И правда, едва мы ступили на перрон Углегорска, как на зубах заскрипело, так что пришлось воспользоваться рекомендациями проводника и надеть респираторы.

Администрация Углегорского округа помещалась здесь же, на вокзале, в здании бункерного типа, приземистом и длинном. Нас без задержек принял глава округа – майор Мацуо, тяжелобольной человек, перемещавшийся в инвалидной коляске, причем не в обычной, а с усиленной из-за немалого веса майора рамой. Майор страдал водянкой и тяжелым силикозом, дыхание его было слабым, и он собирался вскорости умирать, но, узнав, что я представляю Департамент Этнографии, решил на беседу, которая, впрочем, состоялась не в полной мере и являлась скорее не беседой, а монологом.

Майор полулежал в своем кресле; он сильно распух, так что мундир на нем не сходил, а рукава и подмышки оказались нарочно подпороты, чтобы дать свободу слоновьим рукам. Лицо Мацуо было болезненно бело, но сквозь эту белизну просвечивала внутренняя чернота, какую рано или поздно приобретают все больные силикозом, при всем при этом внешнем благополучии майор источал удивительно вкусный цветочный запах, и если смотреть на Мацуо было неприятно, то находиться рядом – напротив.

Майор совершал тяжелые движения руками и с увлечением рассказывал, что Углегорск вкупе с прилегающими предместьями – адская дыра. Причем как в переносном, так и в буквальном смысле, дыра, имя которой безнадежность, и нет страшнее территории на всем Карафуто, который, в сущности, не меньшая дыра, помойка, мусорный бак для радиоактивных отходов, собранных с проклятых берегов, гореть им вечно. С каждой своей фразой майор Мацуо колыхался сильнее, и цветочный аромат становился все крепче.

Мацуо поносил Сахалин, копи, китайцев, каторжников, железнодорожников-алкоголиков, шизофреников-капитанов угольных танкеров, ворье, окопавшееся на каждой пяди этой вымороченной земли, продажных и недостойных женщин, не помнящих добра и готовых по первому свистку бежать с первым попавшимся балаболом, премерзких сектантов-ползунов, утвердившихся неподалеку и одним своим видом оскверняющих и без того скверные ландшафты. Совершенно не стесняясь и делая это вызывающе демонстративно, Мацуо поносил членов правительства и особ Императорской семьи, по его мнению, через одного потомственных дегенератов и перверсивных ублюдков, тем не менее имеющих в Углегорске персональные копи и жирующих на доходы с них, в то время как честные солдаты Империи подышают здесь, на краю света, так и не сумев обеспечить себе достойных дней увядания. И он, майор Мацуо, готов прямо сейчас...

Мацуо поперхнулся и закашлялся, на этом наша аудиенция закончилась, поскольку остановить кашель у майора не получилось, он продолжил кашлять, цветочный запах стал невыносим.

Я не планировала задерживаться в Углегорске больше суток, максимум двух. В мои планы входило осмотреть собственно угольные копи и каторжную Углегорскую тюрьму, в просторечье называемую попросту «Уголек». Безусловный интерес представляла и секта ползунов, базирующаяся где-то в округе. Профессор Ода просил, если представится возможность, ознакомиться с делами секты, профессора вообще интересовал трансгуманизм, пусть хоть и в таких диких проявлениях. В свое время профессор довольно плотно общался с последними из группы Ишимуры, пытаясь понять, увенчался ли успехом эксперимент, однако добиться чего-то от восьми человек, погруженных в искусственную вечность, у профессора не получилось.

Референт майора предложил нам посетить офицерскую столовую, славящуюся своим натто и соевыми запеканками, но мы отказались, предпочтя сразу приступить к осмотру.

В провозатые майор определил своего старшего сына, которому недавно исполнилось шестнадцать и который собирался поступать в Императорскую Инженерную Академию по льготному списку. Юношу звали Сату, он выглядел старше своих лет и с большим удовольствием держал на плече автоматическую винтовку, нужную, по его уверению, для того, чтобы отстреливаться от медведей. При упоминании о медведях Артем скептически улыбнулся. Сату сообщил, что передвижение по окрестностям осуществляется на транспорте, называемом каракатом. На деле он оказался вездеходом на шинах низкого давления, имел шесть пухлых колес и дизельный двигатель, работающий на зловонном синтетическом топливе (по уверениям Артема, это топливо приготавливалось из мертвецов). Я, Артем и Сату погрузились в эту уродливую машину и отправились осматривать окрестности; я отметила, что в ходу каракат неплох, во всяком случае, передвигался он мягко, колдобины, камни и другие препятствия трудностей для него не представляли.

Мы не стали спускаться к порту, предпочтя обозреть его с высоты небольшого холма. Порт Углегорска напоминал огромный угольный склад, в сущности, он им и являлся; над землей возвышались черные холмы, среди которых сновали бульдозеры и гигантские экскаваторы, на рейде ожидали погрузки чумазные баржи, по рельсам спешили паровозы, за всем этим лежал Татарский пролив, небо было низким и плоским, нас точно прижимала к земле широкая сковорода.

С юга порт ограничивался терриконами, которые из-за жары дымились, дым сползал со склонов, смешивался с тончайшей угольной пылью и висел над землей и морем сажевым облаком; по самим терриконам передвигались многочисленные черные фигурки с корзинами и заплечными мешками. Сату пояснил, что это китайские углетаски, промышленяющие выбором из отработанной породы случайных кусков угля; при должной сноровке и везенье углетаск может набрать до полуцентнера в день, этого хватает для жизни и содержания семьи в два-три человека, минусом при таком образе жизни является высокая смертность. В среднем углетаск, работающий на терриконе, проживает два-три года, после чего следует неизбежный рак кожи.

Сату отметил, что нам не повезло с погодой – стоит жара, а вот в прохладные дни, и особенно зимой, виден континент. Сейчас же никакого континента не наблюдалось, над горизонтом висела сизая хмарь, от одного вида которой начинало першить в горле. Сату предложил осмотреть знаменитый пресс, в котором изготавливают традиционный уголь для котельных Императорского дворца, но я предпочла отправиться к карьере.

Угольные копи являются централизованным производством; разрезы, карьеры, шурфы и копанки разной величины и глубины разбросаны вдоль железной дороги, соединяющей Углегорск с Шахтерском, земли как таковой здесь не осталось, и если представить себе разработки с высоты птичьего полета, то, думаю, увидишь одну лишь огромную яму, в которой копошится техника, суется люди, плюются паром паровозы и лязгают загружаемые платформы.

Добыча здесь производилась самыми разными способами – от примитивных шагающих экскаваторов до киркомотыг, причем прием разработки не зависит от места – встречаются экскаваторы, работающие в относительно небольших карьерах, врывающиеся в землю, подобно усердным кротам, а есть разрезы, похожие на опрокинутые муравейники, в которых пытаются свою судьбу тысячи трудолюбивых муравьев. Такой разброс методов Сату пояснил крайней неоднородностью и небольшой толщиной угольных пластов, организовать какую-то стандартную добычу чрезвычайно сложно, поэтому добывают, как могут; добытый уголь грузится на открытые платформы и переправляется непосредственно в порт.

Мы катили вдоль этого производства, а я старалась запомнить ощущения, посетившие меня при виде всего этого чудовищного великолепия. Пожалуй, отчаянье; да, отчаянье. Все эти люди и механизмы работали с торопливым отчаяньем и были похожи на гиен, спешивших разобрать тушу павшей антилопы до прихода льва, но бестолковые гиены, поглощенные дележом внезапной добычи, еще не знают, что лев здесь и что он приметил жертв и точно знает порядок смертельных движений и ждет только удобного момента, чтобы выпрыгнуть из засады и начать кровавую пляску, гиены не знают. И сам лев не знает, что давно уже мертв.

Мы приближались к бывшему Шахтерску, копи становились обширнее, а загрязнение воздуха сильнее, дорогу то и дело затягивало сажевыми вихрями и пыльными облаками, картины, проступавшие через эти вихри, были все фантазмагоричнее и страннее. Землю терзали необычные машины, название которым еще не было придумано, высились башни, сложенные из кривых бревен и ржавых бочек, рядом с башнями громоздились сооружения, назначение которых опять же невозможно было определить – парусные мачты с развевающимися грязными лохмотьями, дырчатые металлические пузыри, игольчатые металлические пузыри, гладкие пузыри, треножники, увенчанные угловатыми корзинами, устройства, напоминавшие опреснители; полагаю, что назначение всех этих механизмов мог бы объяснить Сату, однако я не спрашивала у него,

поскольку и не хотела знать. Мы видели, как механическая многоножка, построенная на базе нескольких паровозов, пыхтела и вцарапывалась в грунт, взрыкивали шнекороторы, отбрасывающие по сторонам фонтаны рубленого угля; мы видели компрессор, похожий на коричневый морской огурец, компрессор передвигался на гусеницах и разрывал угольные пласты струей воды высокого напора; нас удивил агрегат, напоминавший средневековый требюшет, его взводило несколько десятков китайцев, после чего он обрушивал удар на угольные перемычки. И исполинская пила – в нее были запряжены сотни человек, они тянули пилу в один конец, а потом столько же тянуло ее обратно, из-под черного полотна взлетали угольные опилки, которые тут же собирали в бадьи другие китайцы.

Я закрыла глаза, но все это железно-угольное движение осталось в моей голове, а каракат катил, покачиваясь и подпрыгивая; вдоль обочины вереницей шагали люди, покрытые язвами и струпьями, с разъеденными лицами и отгнившими ушами, на плечах они несли стожки связанной сушеной рыбы, рыба вкусно выглядела и вкусно пахла, это был лосось, или морской окунь, или еще какая рыба, в рыбах я плохо разбираюсь, особенно в морских. Артем не обратил внимания, а вот я была удивлена, Сату же ответил, что это как раз те самые терриконовые углетаски, рыбу они могут употреблять безо всякой опаски, поскольку все равно проживут недолго и разрушительные последствия от горбуши не успеют сказаться в столь непродолжительный срок. Это, кстати, одна из немногих привилегий углегорских шахтеров, скудное и убогое питание при жизни, и изобильный стол из рыбы и морепродуктов перед смертью; кстати, Сату заметил, что многие идут на угольные копи как раз из-за этой возможности, поскольку для остальных жителей рыбный промысел, разумеется, запрещен.

Да, несмотря на дымы и сажу, на респиратор и забитый нос, я услышала восхитительный запах копченого лосося, который невозможно спутать ни с чем другим. Я вспомнила Рождество, которое всегда отмечалось в нашей семье, вспомнила бабушку и маму, как они начинали готовиться к празднику заранее, дня за два. Они тогда перебирались в столовую и делали все как полагается: украшали стены хвойными ветками, вырезали бумажные фонари и готовили. Бабушка неспешно раскатывала песочное тесто, замешанное на яблочном и вишневом соке, на меду и на корице, разрезала его ножом на вытянутые ромбы и не спеша раскладывала на вощенной бумаге, не забывая произвести на каждом печенье узор вилкой. Мама готовила вареники, и обязательно четырех сортов – с вишней, с картофелем и луком, с творогом, с грибами; мама лепила их ловко, пальцы мелькали так быстро, что я никогда не успевала раскрыть секрет их

конструирования.

Выключался свет и зажигались свечи, и все приготовление совершалось при их теплом свете; обязательно топилась печь, причем для этого использовались обязательно настоящие поленья, ни в коем случае не торфяные брикеты и не эрцаз-дрова из опилок и не уголь – лишь настоящие дрова могут правильно трещать и издавать чудесный запах горелой бересты.

В это время бабушка и мама разговаривали только о двух вещах – о Деусу и о еде, остальные разговоры не приветствовались и даже возбранялись. Жизнь Деусу была трудна и безрадостна и ничем хорошим не кончилась, и я никак не могла понять, зачем каждый год бабушка упорно вспоминает события, случившиеся две тысячи лет назад? Но это было традицией, непонятной, неудобной, я ее не знала, а отец не одобрял, но в споры никогда не вступал, поскольку с традицией спорить и глупо, и бесполезно, и каждый год в самый разгар зимней стужи я слушала про Деусу. Я забиралась в пространство между печкой и стеной, так что с одной стороны блестели глазированные изумрудно-оранжевые изразцы, гладкие и теплые, а с другой стена, пахнувшая настоящим деревом, закрывала глаза и слушала, потому что после рассказов о нелегкой доле непонятного и забытого Деусу всегда следовали рассказы про еду. Не про такую, какая у нас сейчас, а про настоящую, какую еще застала моя бабушка.

Конечно же, они начинали со щей, каждый год они начинали со щей, с обсуждения блюда, которое в семье бабушки готовилось по традиционным рецептам. Я знала, что такое щи, однажды бабушка сварила их, получилось необычайно вкусно, но бабушка осталась недовольна, хотя и потратила на приготовление целый день. Некоторых ингредиентов, таких, как репа, соленые грибы, квашеная капуста и корень сельдерея, найти не удалось, отчего щи удались хотя и суточные, но совершенно не настоящие. А настоящие...

Бабушка закатывала глаза и рассказывала, какими были истинные суточные щи, как они поднимали с постели тяжело больных, вселяли в людей веру и просветляли разум; как бульон из правильных щей разливали по бутылкам и несколько его сквашивали, и в результате этой процедуры получался невероятно бодрящий и питательный напиток, его хранили на льду и пили в жаркие дни в обед. Бабушка открывала нам рецепт этого удивительного блюда и, едва рассказав про него, начинала рассказывать про пироги.

Пироги бабушка тоже пекла, их в нашей семье любили все, в том числе и отец, равнодушный к той, русской кухне. Обычные пирожки с

ягодами, или с сыром, или с рубленым луком и яйцом, или пусть с простым рисом часто появлялись на нашем столе, но бабушка имела в виду другие пироги, те, бывшие, большие, которые возможно было удержать только двумя руками, бабушка научилась таким у своей бабушки, которая жила еще в Архангельске. Пироги с налиమ్ьей печенкой, жареным луком и раковыми шейками, кушанье, ныне утраченное навсегда. Да, налиమ్ью печень можно бы заменить печенью трески, но взять эту треску абсолютно негде, вся треска, обитавшая в море, была непригодна в пищу. Раковые шейки легко возмещались тигровыми креветками из садка, с луком никаких проблем, но без налиమ్ьей печенки это теряло всякий смысл. А налиమ్ья печенка в пироге с жареным луком получалась так хорошо, что многие, особенно те, кто пробовал эти пироги в первый раз, сильно прикусывали себе щеки, поэтому пироги эти следовало есть потихоньку, с раздумьями. И обязательно горячими, чтобы обжигаться кипящим соком.

Студень, блюдо, приводившее всех японцев в ужас, «русское мясное желе». Его надлежало делать неторопливо, без спеха, и не довольствоваться быстрым шестичасовым рецептом и ни в коем случае не осквернять ни желатином, ни агар-агаром – только двенадцать часов, только медленный огонь, а лук, петрушку и корень петрушки добавлять в самом конце, часа за полтора до готовности. Такого студня получается три глубоких чашки с ведра бульона, таким холодцом можно лечить больные суставы, с ним кости перестают скрипеть, становишься как новый.

Плов, который умел готовить мой прадедущка и рецепт которого был утерян в ходе исторических бурь и атомных вихрей. Плов, между прочим, целебное блюдо, и хотя бабушка не знала, как правильно его стряпать, она помнила несколько случаев на своем веку излечения от туберкулеза и менее грозных заболеваний посредством употребления этого плова.

Разварная говядина с картофелем и помидорами, томившаяся на медленном огне, – от одного ее запаха отступали простудные заболевания.

Паштет из белых грибов и гусяной печени, настолько нежный и тонкий, что, попробовав его раз, человек понимал тщетность своего существования и начинал размышлять больше о вечном, нежели о телесном.

Бабушка рассказывала про соленые арбузы, которые слаще свежих и которые можно есть прямо с корками. Про удивительную бруснику, которую мочили с осени и доставали из погребов к первому льду, эту бруснику следовало есть с медом и толокном, и что слаще и вкуснее такой брусники ничего нет и не будет никогда, и в этом месте бабушка всегда смотрела на восток.

А потом приходил отец и всегда приносил большущую копченую горбушу. Каждый год. Со службы, ему там полагалось – зимой рыба, а летом утка, дополнение к обязательному продуктовому пайку.

Рыба подвешивалась в столовой, в прохладном углу, там, где обычно хранился лук в связках и сушеные пряные травы, и пахла на весь дом. После того как появлялась горбуша, меня из столовой было не выгнать, я крутилась вокруг нее, нюхала, обливалась слюной, вздыхала и, наверное, слишком громко скрежетала зубами, так что отец в конце концов не выдерживал и начинал смеяться, а отсмеявшись, отрезал у рыбины брюшки, причем всегда отрезал широко. Он со смехом швырял мне длинную рыбью ленту, а я с урчанием, как кошка, стащившая мясо, спешила за печку и жевала там эти брюшки, высасывая из них пахучий рыбий жир и выбирая мясо, так что, когда на следующий день рыбу подавали уже к столу, я знала ее вкус и вела себя прилично. И сейчас, услышав этот запах, я вспомнила дом и зиму. Я люблю зиму гораздо больше, чем лето, это странно. В том смысле, что...

Я вернулась к реальности. Я вспомнила бабушку и маму, наш дом и нашу кухню, и люстру, и деревянную мебель, запах копченой рыбы, вспыхнула память, и на несколько мгновений я потерялась, погрузившись в уютное пространство своего счастливого детства. С яблоками. Пирог с яблоками были самыми вкусными.

Сату поглядел на меня с удивлением, так что я испугалась, что я говорила вслух, про пироги, или про студень, или еще что-то, а может, у меня просто такое выражение лица случилось, отчаянное, позапрошрое. Чтобы Сату не подумал, что я сумасшедшая, я ему улыбнулась, и он улыбнулся в ответ, но неуверенно.

Артем оживился, услышав запах копченой рыбы, он открыл глаза и поглядел в спины бредущих мимо нас людей; я услышала, как заурчал у него живот, и увидела, как дернулся уголок рта.

Люди продолжали брести вдоль дороги; они были низкорослы и незначительны, а некоторые их рыбы, напротив, отличались размером – головастые и с широкими спинами, с распертыми клинышками боками они сидели на человеческих спинах, так что со стороны казалось, что это не люди идут, а рыбы, поддавшись хаосу и беспорядку, поднялись из глубин на сушу, ухватили людей и тащат их теперь вдаль под черным снегом.

Сату сказал, что однажды в детстве его отцу прислали из Японии посылку с гостинцами и там были копченые головы лосося – один из родственников майора Мацуо работал на рыбном заводе недалеко от Кобе, и Сату на двоих с сестрой досталась целая голова, и вкус ее он не может

забыть до сих пор. Я сказала, что ему очень повезло, а Артем промолчал.

Сату согласился про везенье и прибавил газу, каракат рванул, и через минуту копи неожиданно кончились и начались паровозы; они были лишены колес и установлены на бетонные подпорки, как памятники на постаменты; к локомотивам шли трубопроводы от водных резервуаров, сами локомотивы соединялись с динамо-машинами, а от динамо-машин провисали толстые черные кабели к линиям электропередачи. Рядом с обезноженными паровозами возвышались угольные кучи, вокруг самих машин суетились техники, напомиавшие пауков, – маленькие, длиннорукие, двигавшиеся по- обезьяньи и сами, казалось, были уже частью паровозов. Сату пояснил, что мы видим известные Углегорские энергетические поля, на сорок процентов покрывающие потребности острова в электроэнергии.

Сто лет назад, тысячу лет назад на кафедре прикладной футурологии мне и другим аспирантам профессор Ода демонстрировал фильмы, снятые в тридцатых годах двадцатого века, когда любили представлять, каким случится будущее. И в фильмах этих будущее выглядело именно так – неутомимые поршни и зубчатые колеса, свист пара и скрежет металла, уголь и сталь. Здесь было все – и пар, и свист, и лязг, от которого начинали болеть виски и пристукивать зубы, и щедрый дым паровых машин, представлявшийся кинематографистам ушедшего времени символом прогресса и достатка. Однако на меня энергетические поля подействовали угнетающе, и, скорее, даже не сами поля, а их цвет. Черный. Оттенки черного, смешанные с оттенками серого, свинец во всей своей гамме, пар, обычно белый, приобретал здесь антрацитовый отлив; с глубины ямы, по которой мы двигались, даже небо представлялось мутной бесцветной занавеской, воздух был наполнен дымом и электричеством, между землей и электролинией то и дело проскакивали молнии, одежда потрескивала, на плечах Сату вспыхивали синие огоньки, которые он со смехом сбивал ладонью.

На Артема, впрочем, это зрелище не произвело никакого впечатления, он в сторону копей и не смотрел, сидел, откинувшись в кресле, опять с полузакрытыми глазами и отрешенным видом. Мне казалось, что он спал или вспоминал запах копченой рыбы.

Сразу же за энергетическим промыслом следовал промысел углежогный; Сату рассказал, что к югу от Углегорска практически не осталось растительности, однако к северу еще сохранились вымершие в засуху леса, эти леса используют для производства древесного угля, которым в холодные зимы отапливается значительная часть острова. Кроме

угля тут же в большом количестве производилась зола, она, по словам Сату, употреблялась в мыльном производстве – мыловарня располагалась тут же. Сату хотел проскочить мимо этого учреждения, но не рассчитал, каракат сорвался в юз и сел брюхом на камни, отчего образовалась заминка, в ходе которой мы любовались процессом варки мыла, не скажу что приятным, поскольку мыло, само собой, приготавливалось из мертвецов, они собирались и перерабатывались здесь же.

При виде мертвецов Артем неожиданно очнулся и сообщил, что мертвец здесь, в Углегорске, паршивый, поскольку уголь выедает из трупа все соки еще при жизни, равно как и работа на терриконах и в угольных западенках, из такого мертвеца, сколько его ни вываривай, выход невелик. То ли дело покойники из окрестностей Холмска – они, конечно, не могут отвечать высоким стандартам, однако и в сравнение со здешними не идут, поскольку подкожный жир в них так или иначе присутствует и умелый мыловар его без особого труда отделит от другого ресурса. Но лучшие мертвецы те, что собираются на общественных виселицах. Именно там встречаются самые высокосортные покойники, поскольку на общественные виселицы человек идет обдуманно, осознавая свой выбор, ответственность перед близкими, имея волю и сопутствующее воле состояние организма; мертвецы же, погибшие от непосильного труда, в качестве сырья для мыловаренного промысла малоперспективны.

Артем вдруг замолчал и покраснел, видимо, ему стало несколько неловко за неосторожно проявленный некротический энциклопедизм, он отвернулся и стал смотреть в сторону сопков. Из мыловарни показались китайцы, голые, но в длинных кожистых фартуках, они выбирали мертвецов из куч и волокни их внутрь барака, а мертвецы, хотя и плотно околевшие, умудрялись цепляться за все, мыловары с трудом справлялись с сырьем, отчего издали казалось, что живые и мертвые продолжают бороться во имя неких одним им известных целей, они боролись, и с трудом можно было понять, кто живой, а кто мертвый.

Сату меж тем справился с каракатом, и мы отправились дальше по дороге, скользкой от угольной пыли и мыловаренной сажи. Через несколько минут наше транспортное средство окончательно покинуло промышленную зону, лежавшую между Татарским проливом и сопками, и выбралось на дорогу, ведущую к Углегорской тюрьме. Здесь резко сменился воздух, так резко, что я задохнулась от неожиданного кислорода и солнца; в щеки притекла кровь, и настроение улучшилось, то есть не улучшилось, а, скорее, опрокинулось, как песочные часы, сменившись с устало-унылого, на солнечно-вдохновенное, совершив скачкообразную

качественную инверсию.

Тюрьма «Уголек» была старейшим исправительным заведением на Сахалине и располагалась недалеко от лагеря, в котором после Войны содержались пленные китайские поселенцы. Разумеется, их не кормили и не поили, и если с водой проблема решалась за счет дождей и туманов, то с пищей было сложнее; однако очень скоро китайцы эту проблему решили, научившись питаться землей. Они рыли норы, ели почву и постепенно погружались в землю, и когда контролировать лагерь стало невозможно, его зачистили фосгеном. Но организация пространства в виде ямы и расходящихся радиальных ходов была использована впоследствии для создания Углегорской каторжной тюрьмы. В то нелегкое время Япония не имела возможности заниматься масштабным строительством за пределами своих территорий, а потребность в контроле девиантного элемента на этих территориях, напротив, была велика, поэтому в качестве базиса для тюремного комплекса наметили ближайший выбранный угольный карьер. Его выложили арматурой и залили бетоном, получившуюся широкую каменную миску разгородили толстыми решетками на неширокие клетки, сверху также установили решетку, тюрьма получилась вместительной и в содержании недорогой.

Должна отметить, что за прошедшее со строительства время тюрьма изменилась лишь в худшую сторону; никто не проводил здесь реконструкцию и не заботился об улучшениях, при первом взгляде на состояние этого заведения у меня сложилось впечатление, что это делалось нарочно. Сату остановил каракат, и мы некоторое время смотрели на «Уголек», который, если честно, ничуть не напоминал тюрьму, пожалуй, больше всего он походил на заброшенный радиотелескоп, в чаше которого каким-то странным попустительством устроили крысиный садок. Или на гнездо. Да, на гнездо, но только свитое не из веток, а из колючей проволоки. Сама проволока опиралась на вбитые в землю бетонные столбы; кое-где проволока была разворована, кое-где она проржавела до непригодности, то тут, то там наблюдались лазы и дыры, и было ясно, что никакого охранного значения проволока не имеет.

Сату подтвердил, что так оно и есть – проволока служит вовсе не для охраны, так как охранять здесь, собственно, нечего, поскольку давно нечего воровать; с другой стороны, за последние несколько лет из «Уголька» не зарегистрировано ни одного побега, в силу того, что смысла бежать никакого нет – окрестное население мечтает о том, чтобы кто-нибудь убежал, поскольку за сдачу беглеца полагается награда. Кстати, раньше в этих местах процветал промысел, основанный на сговоре между

охранниками, заключенными и китайцами, живущими вокруг. Охранники способствовали побегу, узники после освобождения выходили к жилью, китайцы препровождали их обратно, полученный доход честно делили, после чего заключенного переоформляли на новый срок. Заключенный же от такого побега получал вполне себе зримую выгоду в виде дополнительного ватника на зиму, дополнительного ведра угля или куска целлофана, чтобы укрываться от осенних дождей.

Однако когда комендантом «Уголька» стал Мацуо, отец Сату, подобная практика прекратилась, комендант по-прежнему выплачивал вознаграждение, но увеличил в три раза количество плетей, положенных беглецу. Бежать перестали.

Мы продолжали смотреть на тюрьму.

С четырех сторон из земли выдвигались ржавые мачты, сходящиеся над центром ямы; с мачт во множестве свисали ржавые цепи, тянувшиеся вниз и своими хвостами спускавшиеся в клетки; Сату заглушил двигатель караката и пояснил, что эти цепи используются в качестве водных конденсаторов, по утрам с сопок сползает туман, он путается в цепях, и вниз стекает пресная вода, именно эта вода и вода дождевая составляет жидкостное довольствие, о котором должен заботиться каждый заключенный персонально. Я поинтересовалась, чем отапливается тюрьма? Ведь зимой конденсаторы воды наверняка замерзают, значит, заключенные страдают как от недостатка воды, так и от холода. Сату ответил, что «Уголек» отапливается децентрализованно; каждый узник раз в месяц получает определенное количество угля, этот уголь разбрасывается над клетками веерным конвейером, после чего узники топят им небольшие печи. Воду же заключенные добывают, дергая за цепи и сбивая с них намерзший лед, а потом растапливая его в жестяных банках.

Почему же Углегорск – не самый отсталый район Сахалина – не предпринимает никаких шагов для улучшения положения заключенных? Понятно, что каторга должна способствовать лишению плоти и ущемлению духа, однако всему есть разумные границы, к тому же в последней речи Императора говорится о гуманизации общества. Сату ответил, что речь Императора они все прочитали с большим воодушевлением и приняли к сведению; в частности, его отец отправил в «Уголек» партию телогреек и полтысячи пластиковых касок, которые можно использовать для широких нужд; более того, из бюджета Сахалина на нужды гуманизации выделили значительные средства. Правда, улыбнулся Сату, эти средства в основном освоили «Три брата» и «Легкий воздух», что неудивительно. Гуманизации следует подвергать

определенные сословия, сословиям же грубым гуманизация решительно во вред, поскольку она внушает им беспочвенные надежды и развращает. К тому же в «Уголке» переносят наказание люди, совершившие не столько ужасные, как в остальных тюрьмах, сколько безнравственные преступления, злодеяния, оскорбляющие человеческую природу; поэтому все тяготы, которые переносятся заключенными и зимой, и летом, идут им лишь на пользу. При всем при этом, заверил нас Сату, удельный отсев заключенных в «Уголке» не так уж велик, он, разумеется, выше, чем в учреждениях Александровска и Южно-Сахалинска, однако не превышает смертность на Углегорских копах.

Мое внимание привлекла необычная деталь – на цепях, растянутых над клеткой, помещалась круглая решетчатая клетка, в которой сидел человек. Приглядевшись, я убедилась, что человек живой. Кроме того, он был негром. Я спросила, зачем там негр, Сату, усмехнувшись, ответил, что это делается для усиления душевных терзаний заключенных, для смирения бушующей в них преступной гордыни и для смягчения злочинного нрава. Кроме того, негр в клетке, привешенный над головами узников, помогает им легче переживать лишения, особенно в зимнее время, поскольку такой висящий живой негр пробуждает в заключенных ярость, вызывает кипение жизни, оздоравливает организм.

Наше появление не осталось незамеченным: негр принялся вопить, бить по прутьям железной трубой и раскачивать свою клетку, так что она принялась описывать над самой тюрьмой широкие круги. Сату сказал, что подобное поведение для здешних американцев обычное дело – ни один негр, пусть самый закоренелый, не выдерживает здесь больше года в здравом рассудке и твердой памяти, хотя начальство и следит за тем, чтобы негры не умирали слишком часто, ведь в районе Углегорска найти негра достаточно сложно. Некоторое время имела место практика, когда вместо негра в клетку подвешивали наемного человека, но впоследствии от этого отказались, поскольку заключенные чувствовали, что негр поддельный, и не одобряли такую подмену неповиновением. Для двух наемных американцев это закончилось плачевно.

Тем временем сумасшедший углегорский негр продолжал раскачивать клетку, и постепенно ее колебания становились все шире и шире, она со свистом летела по воздуху, а негр кричал и барабанил железом о железо. Остальные заключенные пробудились в своих камерах и тоже начали греметь цепями и выкрикивать неразборчивое; сначала кое-как, затем постепенно вовлекаясь в ритм негра, подхватывая его и умножая шум. Бум-бум-бум.

И вдруг негр в клетке замолчал. И тут же, точно по сигналу, замолчали и остальные, а клетка описывала над головами нервные эллипсы, скрипели и звякали цепи. Я отметила, что это было невероятным зрелищем, я чувствовала себя некомфортно, словно вот-вот должно случиться нечто нехорошее. Артем сжался в кресле караката и быстро тер пальцами виски, зубы его сжимались, губы побелели, щека чуть дергалась.

Сату пояснил, что это, видимо, один из новых тюремных ритуалов, раньше, в годы, когда комендантом служил его отец, ничего подобного не практиковалось. И добавил, что, по имеющейся статистике, процент рецидива среди заключенных, вышедших на поселение из «Уголька», почти в три раза ниже, чем аналогичный процент выпускников остальных заведений. Сам Сату неплохо разбирался в здешних порядках в силу того, что когда-то его отец был комендантом «Уголька» и он, маленький Сату, провел здесь, внутри гнезда из колючей проволоки, двенадцать лет своего детства.

На краю тюремного разреза располагалось здание администрации, строением напоминавшее долговременные огневые точки и бункеры противоатомной защиты – толстые стены, горизонтальные окна-щели, бетонные надолбы, а сразу за ангаром со вмятыми боками склад тюремных принадлежностей. Никого живого вокруг не наблюдалось, на растянутой между административным дотом и ангаром веревке вялились заскорузлые и с виду старческие тряпки.

Сату порекомендовал нам не заходить внутрь, объяснив это тем, что администрация учреждения «Уголек» редко бывает в хорошем настроении, к тому же она испытывает массу неудобств разного характера. Но я не могла пропустить «Уголек», профессор Ода настаивал, чтобы все три каторжные тюрьмы были мной посещены как места сосредоточения нищих духом, а я привыкла выполнять задание.

Артем собрался тоже зайти в администрацию, однако я была против – мне хотелось, чтобы Артем контролировал обстановку снаружи, он спорить не стал. Сату же отправился со мной.

Мы спустились по бетонной лестнице и очутились в длинном коридоре с низким потолком; коридор был абсолютно безлюден. Нас никто не остановил, не поинтересовался, что мы тут делаем. Почти все двери по сторонам коридора оказались открыты, но людей в помещениях я не заметила. Казалось, что в этих комнатах не осуществлялось никакое тюремное управление, а просто складировался мусор, рухлядь и прочая дрянь: пластиковые бутылки, тряпки, обрывки бумаги; непонятно, как это соотносилось с деятельностью администрации.

Совершенно беспрепятственно мы проследовали до дверей, ведущих в кабинет коменданта, и так же беспрепятственно вошли. Я спросила, отчего здесь такая вольность и свобода, Сату уклончиво промолчал.

Сам кабинет отличался внушительными размерами. Видимо, прежде здесь размещалась насосная станция или техническое отделение – я обнаружила множество моторов и вентилях, они не выглядели рабочими и, кажется, никак не использовались, валялись на полу. На стенах кабинета располагались полки, на которых сидели кошки. И кошки эти ненастоящие, то есть не совсем ненастоящие, а в конкретный момент времени, и изготовлены-то, скорее всего, из живых кошек. Одним словом, эти кошки были чучелами. И чучел этих в комнате находилось много, и некоторые из них пребывали в растерзанном состоянии.

Затем я заметила человека, который в скрюченной позе лежал на трех неровно составленных стульях; Сату подсказал, что это и есть майор Арита. Судя по всему, он был здесь с ночной смены и утомился своими обязанностями до состояния полной невменяемости. Над полковником возвышался воткнутый в спинку стула нож, перепачканный в пуху, – видимо, недавно этим самым ножом полковник сокрушал свою коллекцию.

Сату осторожно достал клинок из спинки, отложил его на письменный стол и сказал, что судьба обошлась с полковником неласково; по некоторым сведениям, Арита происходил из приличной семьи, но после окончания Императорского Инженерного корпуса пристрастился к стимуляторам и однажды, пребывая в одурманенном состоянии, проиграл в карты собственную жену. Отец жены, видный чиновник в Министерстве сельского хозяйства, выкупил свою дочь, а непутевого зятя поймал и избил палками, после чего тот, не стерпев позора, отправился в изгнание на Сахалин, где ему посчастливилось занять пост коменданта тюрьмы. Я во все это легко поверила, поскольку Арита действительно выглядел как человек злоупотребляющий, причем злоупотребления эти явно совершались с самоотверженностью и энтузиазмом – полковник не удосуживался бриться, и лицо его напоминало щетинистую картофелину.

На стене над креслом полковника красовался золотой флаг с вышитым черным шелком крупными цифрами «731», справа от кресла размещалась полка, на которой скрипел покоцанный будильник, из тех, что до сих пор используют экипажи бронетанковых войск. Возле амбразуры, выходящей в сторону «Уголька», на треноге стоял маслянистый крупнокалиберный пулемет, из которого золотистой змеей свисала лента, она была маслянистая, на ней чернели прилипшие мухи. Ствол пулемета смотрел в небо.

Сату начал было рассказывать, что у его отца имелись некоторые предложения по улучшению здешнего положения, но неожиданно безобразно разрезвонился будильник. Он звонил, подпрыгивал, бился головой в стену, я растерянно поглядела на Сату, но тот лишь пожал плечами. От звона очнулся Арита. Майор упал со стульев, тут же поднялся и, не обращая на нас никакого внимания, направился к пулемету.

Он приблизился к треноге и упал на пулемет, обняв его, как старого друга. Некоторое время майор Арита так и стоял, не двигаясь, как бы впад в оцепенение, с выражением тоскливой истомы на лице, будильник же продолжал упорно стучаться в стену. Когда же будильник все-таки убил себя, в дело вступил майор.

Майор прилип к пулеметному прикладу и начал стрелять. Было видно, что стреляет он с удовольствием, что стрельба привычна ему и любима им, он делал это умело, словно и не стрелял, а работал со стамеской, резал грушу, или кап, или северную березу, чуть приподняв правое плечо, собрав в руках инструмент, совершая скупые мастерские проходы, делая небольшие промежутки для дыхания между очередями.

Сату пожал плечами, давая понять, что определенные профессиональные деформации есть неизбежная составляющая службы на острове, что это может случиться с каждым, особенно на таком сложном и ответственном комендантском посту.

Майор Арита раззадорился и стрелял уже азартно, взахлеб. Теперь он походил на человека, который после долгого перехода через пустыню дорвался до воды и пьет теперь из кувшина, обливаясь и кашляя, не в силах остановиться; отдача била в плечо майора и уходила в его щеки, которые тряслись отдельно от всего остального лица, как бы набрасываясь при этом на уши. Майор в стоячем положении оказался несколько сухопар, лежа на табуретках, он казался внушительнее, в вертикали не изменилось только лицо, оставшись опухшим и мертвым.

Неожиданно очередь прервалась, Арита довольно, но нечленораздельно вскрикнул, стукнул кулаком в приклад, засмеялся и указал пальцем в бойницу и опять расхохотался. Ствол пулемета дымился, пахло горелым маслом, горячим железом и порохом. Стало тихо, слышалось лишь тяжелое разогретое дыхание майора, его больные легкие. Он стоял у пулемета и вглядывался в амбразуру, тщательно вытирая руки о мундир, а потом, не переставая вытирать руки, принялся плевать в окно. И делал это старательно, так же, как и стрелял. Очень скоро у него кончилась слюна, тогда майор удовлетворенно кивнул сам себе и направился обратно к стульям. Мы его не заинтересовали, он проследовал мимо и упал на свое

печальное лежбище, при этом голова у него неестественно свесилась и вывернулась вбок. Ариту это не смутило.

Я поняла, от чего раскачивался негр в клетке. Он, пожалуй, не так безумен, как подумалось в первый момент.

Я не знала, что делать дальше. Я подошла к столу и взяла книжку в кожаном переплете, почему-то думала, что это стихи, но это оказалась исключительно безумная книга, повествующая о практиках духовного общения с разумными осьминогами. Написана в самом начале двадцатого века и издана довольно большим тиражом в полторы тысячи экземпляров. Больше здесь было нечего делать, поэтому мы предпочли удалиться.

Воздух вне здания пропитывала сажа, но после тяжелого духа, царившего в администрации, угольный ветер показался свежим и чистым, я с удовольствием вдохнула его и посмотрела вверх. Клетка раскачивалась слабее, и траектория у нее получалась скучная, обрывистая и дерганая, а сквозь прутья свисала темная рука с длинными пальцами; я сосредоточила взгляд и рассмотрела, как по этим самым длинным пальцам стекает кровь: сегодня майор Арита был в форме.

Сату заметил, что Арита имел давнюю склонность к экстравагантным выходкам, так что тут нечему удивляться. Этому негру еще повезло, сказал Сату, хороший негр попался, толковый, год продержался, теперь где такого найдешь, майор заскучает.

Я спросила, кто осуществляет надзор за обеспечением заключенных, если из всей администрации на месте лишь комендант, да и тот в условно пригодном состоянии. Сату пожал плечами и ответил, что сегодня, видимо, выходной, поэтому тюремный гарнизон находится в общей увольнительной. Кроме того, зная оригинальные привычки майора, на службу в «Уголек» соглашаются неохотно, поскольку майор любит не только кошек и пострелять с утра, у него наличествуют и другие экстравагантные стремления, так что да, кадровый вопрос существует, и порой он стоит ребром.

Заключенные молчали. И только цепи, запутавшиеся за клетку, брякали.

Пытаться пообщаться в такой обстановке с заключенными было бессмысленно, и мы отправились дальше, в направлении обиталища ползунов. Видя, в каком удрученном состоянии я находилась после посещения тюрьмы, Артем заметил, что все могло быть хуже. Я не стала уточнять.

Ашрам ползунов находился в приличном удалении от тюрьмы, мы час блуждали между холмами, то ли выбирая тропы, то ли запутывая следы;

я заметила, что Артема это несколько настораживало и он старался держать свой багор наготове.

Изначально я полагала, что ашрам должен помещаться на побережье, но выяснилось, что это не так – обителище ползунов скрывалось между сопками, и если бы не Сату, мы с Артемом никогда бы его не отыскали. Сату действительно был в курсе всех дел Углегорска и вокруг него, так что, пока мы пробирались по очередной довольной узкой тропе между соснами, он успел рассказать нам о секте.

На территории Сахалина существует несколько сект; некоторые из них возникли относительно недавно, с началом массового заселения острова беженцами с континента, другие обосновались на острове задолго до Войны. И те и другие уже многие годы горели в огне собственного ада. Лично у меня вызвала большой интерес община «Ревнителей Практического Разума», секта манихейского толка, возникшая вокруг сосланного сюда около сорока лет назад инженера Дайсэцу. Планируя экспедицию, я намеревалась посетить немногочисленных сторонников Дайсэцу, еще обитавших в северных районах и до сих пор веривших, что прокатившаяся по планете война была истинным Армагеддоном, в ходе которого войны света, предводительствуемые архангелом Михаилом, повергли воинов тьмы посредством взаимной аннигиляции. Так что теперь в мире нет ни добра, ни зла, им лишь предстоит восстать из пепла, сейчас же на дворе нулевые времена.

Профессор Ода относился к этому моему намерению прохладно, поскольку считал Дайсэцу дураком и сумасшедшим. А вот ползуны его интересовали. Не как забавные дурачки, стирающие коленки в попытках вымолить немного благодати, а как носители некой отличной, возможно, нечеловеческой морали.

Сату сообщил, что историю ползунов он знает неплохо, потому что в свое время ознакомился с библиотекой ашрама, в ней до сих пор хранится первое издание библии ползунов – книга Джедекайи Смита «Ползи, человек!». Поэтому его можно смело спрашивать, он знает практически все, за исключением, разумеется, тонкостей внутренней политики общины, в которые, впрочем, посвящены далеко не все члены самой общины.

Я хотела познакомиться с кем-нибудь лично, но Сату сказал, что на контакт, особенно с посторонними, ползуны идут крайне неохотно, однако благодаря его связям и авторитету его отца нам, возможно, удастся повстречаться с кем-либо из ведущих. В частности, Авессалом О'Лири, старший ведущий и key keeper, случается, идет на контакт, и вообще он человек широких взглядов и умений, умеет лечить наложением рук и

прокалыванием, для чего имеет набор особых серебряных спиц. Он, Сату, давно советовал отцу сходить к держателю и выпустить воду, но отец не соглашается из косного упрямства и продолжает по старинке пользоваться имбирь и кровь пиявки.

Я спросила, почему у ползунов так популярны ветхозаветные имена. Сату ответил, но я не услышала, было что-то про Техас – там теперь атомная пустыня и везде прах, в земле, в воде, в воздухе, ветерок подул, и солнца нет, а там еще Большой Каньон, и в нем трупы, трупы, трупы, и не хватит четвертаков, чтобы положить каждому на веки...

Культура ползунов возникла в начале двадцать первого века в одном из университетских городов Восточного побережья США как наиболее радикальное крыло движения веганов. Первоначально группа носила название «Общество естественной локомоции» и объединяла вокруг себя веганов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Джедекайя Смит, сам будучи веганом, работал мануальным терапевтом в небольшой оздоровительной клинике, в которой проходили реабилитацию лица, занятые преимущественно на сидячей работе и получившие на этой работе различные недуги; именно он заметил, что целый ряд заболеваний, прежде всего заболевания позвоночника, отступают и порой излечиваются, если больные начинают передвигаться на четвереньках. Смит организовал группу, которая стала совершать регулярные выходы на пляжи в районе мыса Кейп Код.

Первоначально жители побережья восприняли перемещающихся по песку граждан настороженно, однако после того как к Смицу присоединились несколько адвокатов, финансистов и известных актеров, излечившихся от радикулита, остеохондроза, артрита, от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, в обществе возник некий интерес. ОЕЛ стремительно разрасталось, в движение вовлекались тысячи и тысячи новых адептов. Смит утверждал, что передвижение на четвереньках является абсолютно естественным способом перемещения человека, и человек ползущий есть человек будущего, а передвижение на двух ногах – суть извращение природы, надругательство над естеством. Точкой поворота в истории секты стал Инцидент Марта, случившийся во время празднования Марди Гра в Новом Орлеане. Тогда большая и разношерстная группа местных ползунов при поддержке епископа Бенедикта Крауча вышла на центральные улицы города и поползла в сторону кафедрального собора, распевая псалмы и играя на музыкальных инструментах. Как назло, неподалеку проходил съезд «Ассоциации Роберта Эдварда Ли», избравшей Новый Орлеан своей штаб-квартирой, пламенные конфедераты слышали

сонг и литавры ползунов и отправились посмотреть, как обстоят дела. Разумеется, закончилось все побоищем, вернее сказать, избиением. Ведущий Смит был сильно покалечен в схватке и все последующие годы своей жизни передвигался в скрипучей электрической тележке, впрочем, в тележке он тоже упрямо принимал горизонтальное положение.

После «Бойни Нового Орлеана» по стране прокатилась волна протестов, на улицы вышли сотни тысяч ползунов, они блокировали автомагистрали, железные дороги и авиатранспорт, требуя привлечь к ответственности активистов «Ассоциации Ли». Ползуны начали борьбу за свои гражданские права: за право свободного ползания, за право получать образование и медицинскую помощь на четвереньках, воспитывать детей в духе ползбы, отправлять религиозные обряды наравне с другими прихожанами. Движение было разнородным – в него входили как представители старейших семей, в чьих жилах текла кровь команды «Мэйфлауэра», так и новые граждане, прибывающие в страну через южные границы. Состоятельные ползуны, среди которых к тому времени появилось немало представителей экономически активного класса и истеблишмента, скупали землю в центральных штатах, участвовали в выборах на муниципальных уровнях и получили представителей в Конгрессе. Движение ширилось, вовлекая в свои ряды все новых и новых адептов. На праздновании Дня благодарения Президент, желая продемонстрировать свое единство с избирателями, опустился на четвереньки.

Крах движения ползунов связывали с неожиданными исследованиями, проведенными физиологами накануне принятия сорок седьмой поправки. Выяснилось, что ползание не только врачует позвоночник, нормализует перистальтику и артериальное давление, но и значительно снижает интеллектуальные возможности. Говоря проще, опускаясь на четвереньки, люди начинают неотвратимо тупеть, пусть и не все, но многие. Результаты исследования пытались засекретить, но скрыть истину не удалось.

Ситуацию усугубил уход к ползунам дочери главы Агентства Национальной Безопасности. Девушка училась в Гарварде, пробовала себя в кинематографе, помогала неимущим и, видимо, на этой почве однажды пересеклась с ползунами. Она приняла идеалы ползбы почти сразу, ей подарили новые пластиковые наколенники, символизирующие начало новой, правильной жизни. Отец, строивший для своей дочери иную судьбу, был разгневан, ползунов обвинили в антигосударственной деятельности, ОЕЛ объявили террористической организацией и разгромили.

Каким образом ползуны попали на Карафуто, Сату не знал.

Предположительно это случилось еще до Войны, когда, спасаясь от преследования американских служб, ползуны искали укрытия на Сахалине. К тому времени остров изрядно опустел, люди, видимо, предчувствовали приближающуюся бурю и старались убраться на материк, земли было много, и она не стоила ничего.

Ашрам располагался на восточном склоне сопки и напоминал муравейник, множество нор, оформленных бетонными блоками, официальное здание, похожее на длинный кирпич. Мы с Сату направились к этому строению, и в этот раз Артем к нам присоединился, причем не забыв прихватить свой багор. Данное обстоятельство меня несколько насторожило, Артем до этого не проявлял интереса к окружающему, и, насколько я понимала, это происходило оттого, что он не чувствовал угрозы. А здесь, значит, угроза присутствовала.

Авессалом О'Лири явился нам в отливающем бронзой облачении, что-то среднее между глубинным гидрокостюмом и сьютом для прыжков с парашютом. Он показался так внезапно, что я даже вздрогнула – неожиданно справа, на грани бокового зрения, вдруг начало перемещаться нечто живое и ловкое, я подпрыгнула и едва не схватилась за пистолет.

Я никогда не видела ползуна, и мне это зрелище не понравилось. Казалось, что я нахожусь рядом с огромным сверчком, и непонятно, разумен ли этот сверчок, или делает вид, что разумен, или даже не стремится делать вид. Он двигался нелепо и одновременно грациозно, подтягивал на руках туловище и тут же помогал этому туловищу ногами, одно движение перетекало в другое, сначала двигались левые рука и нога, затем правые, что увеличивало сходство с насекомым. Я отметила, что такой способ передвижения очень подходит к его имени, это был действительно Авессалом.

Он взял меня за руку и некоторое время прислушивался к сердцебиению, сжимая запястье так сильно, что казалось, его пальцы проникают под кожу, перебирают вены, ощупывают сухожилия, достают до кости и щекочут; пальцы у него были длинные и чистые, непонятно, как он умудрялся ползать и не пачкать при этом руки. Язык у Авессалома при этом чуть высунулся и подрагивал, как язык большой бронзовой ящерицы. Я не отдергивала руки, терпеливо ждала, когда он обратится ко мне, интересно услышать его голос, мне представлялось, голос у него должен быть немного другой. Так оно и оказалось. Авессалом О'Лири улыбнулся своими странными зубами и поставил диагноз высоким и неестественным голосом, точно его горло туго стискивал резиновый жгут.

Это от переутомления, сказал он. Это от дурной пищи, от недостатка

витаминов и минеральных веществ, от жары, от того, что здесь не найти чистой воды, от пилюль, выводящих из организма активную соль, но разрушающих печень, от плохих новостей – других новостей здесь просто нет. Это от того, что вам холодно, милая девушка, вам ведь холодно? Вам всегда холодно, в ваших глазах лед и усталость, от чего вы так устали, милая девушка? От чего в ваших глазах сапфировые звезды, милая девушка? Зачем вы приехали сюда? Вы хотите нас всех погубить, милая девушка? Что вам здесь надо, милая девушка? Вы хотите нас всех погубить...

Я спросила его про будущее. Человек-авессалом О'Лири заскрипел и повторял, повторял, облизывая коричневые губы: милая девушка, чудесная девушка, у вас же реактивный психоз.

Александровск

При всем недостатке своих жителей Александровск, бывший некогда столицей всего Сахалина, ныне пребывает в видимом технологическом упадке. Угольные копи, в прежние времена составлявшие основу производства, основательно захирели и теперь давали едва ли не одну сотую полувековой добычи, ни о какой рентабельности производства говорить не приходилось. В местах прежних разработок скапливается вода, и по-хорошему их можно приспособить для ракушечьих садков, однако из поврежденных пластов сочится сопутствующий газ, который отравляет воду; вокруг города образовалось несколько мертвых озер, непригодных ни для каких нужд.

В отсутствие рыбной промышленности морской порт также захирел и, если не считать небольшой базы сил самообороны, представлял собой скопление мертвых, ржавых кораблей.

Никакой промышленности префектура придумать не смогла, то ли в силу расстояния до центра, то ли в силу принципиальной невозможности здесь хоть что-то придумать; из-за этого центром всей жизни Александровска уже долгое время является каторжная тюрьма «Три брата»; это единственная тюрьма особо строгого режима, причем режим этот не просто строгий, но кандалный.

Слава об этом месте идет по всей Империи, и если о положении на Сахалине мало кто имеет хоть отдаленное представление, то о «Трех братьях» слышали все. О них читают воспитательные лекции в начальной школе, помню, лично мне после этих лекций снились кошмары. Да, преподаватели не стесняются, описывая ужасы Александровской тюрьмы, рассказывая о том, что умудряются делать в этой тюрьме с новичками, о нравах надзирателей и способах, с помощью которых тюремщики исправляют заключенных, а на самом деле истязают их. В центральных университетах во время обязательного курса динамической этики несколько занятий обязательно посвящены биографиям наиболее известных александровских узников; в частности, всем студентам известна наводящая ужас история учителя пения Осиро, гения смерти, терроризировавшего префектуру Кагасима, убившего за пять лет семьдесят трех человек и приговоренного к бессрочному заключению в «Трех братьях»; в каторжной тюрьме его поместили в исправительную каменную щель, откуда доставали раз в три месяца, чтобы помыть; за те годы, что

Осиро провел в Александровске, он умудрился убить трех солдат и двух вольнонаемных.

В свое время особой популярностью пользовался фильм «Вдох – вдох», рассказывающий о двух заключенных, восемнадцать лет готовящих побег из «Трех братьев», решивших, вопреки здравому смыслу, бежать на континент и разорванных косатками в пяти милях от берега. Фильм является плодом фантазии режиссера, хотя, по уверению создателей, основан на реальных фактах. Премьера «Вдоха» породила множество новых легенд, мамочки стали пугать детей ужасными Тремя Братьями-Живорезами, тем самым с самых ранних лет осуществляя стихийную превенцию возможной противоправной деятельности.

Надо отметить, что эти усилия на самом деле приносят плоды – количество умышленных тяжких преступлений в Империи медленно, но верно снижается; при этом слухи, домыслы и фантазии, касающиеся исправительной системы острова и тюрьмы «Три брата», продолжают множиться. Показателен тот факт, что после выхода фильма «Вдох – вдох» возник слух о том, что в Александровске заключенными откармливают китов-убийц.

Я спросила Артема, что говорят про «Трех братьев» местные, он ответил, что всем, кому посчастливилось появиться на свет и жить на острове, глубоко плевать на каторжные тюрьмы и на страдания заключенных в них, кроме того, сейчас установилась такая хорошая погода, что ему никак не хочется рассуждать про каторгу, лучше про море.

Погода стояла действительно удивительная. Переночевав на квартире поселенца Еси Дзюная, который отбыл двенадцать лет и теперь перешел в поселенческое состояние, мы с Артемом совершили небольшую прогулку вдоль побережья и насладились воздухом и пейзажем перед посещением «Трех братьев». Еси сопровождал нас чуть поодаль.

Еси торгует обувью, снятой с мертвецов. Сам он уверяет, что обувь новая, что ее шьют здесь же из местного сырья, приносимого айну, но Артем, разбирающийся в мертвецах как мало кто в них разбирается, заметил, что ботинки эти хоть и самодельные, но составленные из разных частей старой обуви; скорее всего, сюда тайно привозят обувь и одежду, снятую с трупов, и перешивают на новый лад, во всяком случае, людей, одетых сносно, в Александровске гораздо больше, чем в других городах префектуры Карафуту.

Кроме обуви Еси, по-видимому, промышляет самогоном, который варит из прелой листвы; во всяком случае, Артем опознал в нем самогонщика по дрожащим пальцам и нездоровому цвету лица; впрочем,

на предложение достать немного самогона на пробу Еси сделал вид, что не понял, и предложил купить непромокаемые ботинки из нерпичьей кожи или сходить погулять к Трем Братьям, не к тюрьме, разумеется, но к скалам, тут недалеко. Вот мы и пошли.

Мы шагали по набережной, налетающий с моря ветер улучшал мое настроение, Артем же чувствовал себя неуверенно, видимо, его несколько дезориентировало отсутствие привычной угрозы. Набережная Александровска была заполнена многочисленными людьми и представляла собой вытянутый рынок, где сбывали преимущественно товары местных кустарей, в большей степени обувь. Немало встречалось торговцев едой, в основном мидиями, жареными на проволоке, и миногой в тесте. Еси уверял, что мидии и минога садковые, однако Артем отговорил меня от пробы. Впрочем, аппетита у меня все равно не было. Отчасти из-за волнения от предстоящего посещения «Трех братьев», отчасти из-за того, что прибрежная зона Александровска изобиловала нищими, попрошайками, калеками и убогими людьми, один вид которых мог надолго отбить любой аппетит. В некоторых местах вдоль набережной в канавах прел зловонный мусор, издавая горький, вызывавший тошноту после первого нечаянного вдоха дым. Иногда морской ветер подхватывал и приносил вонь от куч отбросов, гниющих вдоль линии прибоа. Иногда перед нами останавливался прокаженный, обдавал кислым запахом мокнущей кожи и выставлял перед собой больные, гниющие руки. Иногда мы вступали в полосу тяжелого спиртового духа, и я догадывалась, что мимо проходил тайный самогонщик, причем, опознать его в толпе не представлялось возможным.

От дома Еси до тюрьмы не больше часа ходьбы; как я уже говорила, смотреть в Александровске нечего, и, если бы не тюрьма, проделывать столь продолжительное путешествие в отдаленную часть острова я смысла не видела. Единственной вещью, удивившей меня в Александровске, стали тротуары, собранные из досок и поддерживаемые в весьма приличном состоянии; тротуары эти проходили по всему городу, опутывая его точно сетью, и, судя по всему, являлись не результатом целенаправленной деятельности по облагораживанию городского хозяйства, а следствием активности самого населения.

Мы передвигались по этим скрипящим тротуарам, и Еси, не забывая почтительно держаться поодаль, рассказывал про то, как он попал на остров, причем, не стесняясь, врал про то, что он сам ни в чем не виноват, а угодил в каторгу «по обмену»; свой срок за убийство он отбывал якобы вместо одного юноши из хорошей семьи, от ревности зарезавшего свою

подругу, и якобы отец этого юноши предложил семье Еси хорошую ренту, и Еси вызвался нести наказание. Поэтому, отбыв всего двенадцать лет из положенных ему пятнадцати, он вышел в поселенцы и имеет теперь собственный дом и слывет здесь уважаемым человеком.

Артем с улыбкой говорил мне по-русски, что Еси снова врет. Что многие каторжные, совершившие преступления по глупости или сгоряча, рассказывают такие истории – им стыдно, что из-за ничтожных причин они очутились на Сахалине, потому что, по мнению самих каторжных, на остров может попасть либо человек очень невезучий, либо дурак, либо китаец. Поселенцы любят придумывать про себя жалостливые истории, но если вы спросите настоящего преступника, хотя бы из Прикованных к ведру, то, скорее всего, получите прямой и честный ответ: прибыл на остров, потому что злодей и душегуб.

Возле моста через Александровку, который, видимо, выполняет роль культурного средоточия, расположены все некторжные достопримечательности города: коллекция якорей, снятых с выброшенных на берег или затопленных судов, и клетка, в которой содержится негр. Кстати, о том, что Александровск – город с благосостоянием, говорит и тот факт, что негр, заключенный в позорную клетку, выглядит упитанно и даже лоснится. По всему видно, что александровцы живут достаточно, а оттого спокойнее в своих страстях, чем в том же Холмске.

По словам одного из каторжных, встреченных нами у моста и согласившегося ответить на вопросы, «этого негра давно не убиваем, он умеет веселить». И действительно, едва мы приблизились к клетке, американец, поощряемый мелкой подачкой одного из проходящих китайцев, довольно убедительно изобразил обезьяну.

В Александровске я стала свидетелем явления, в южной части острова мною не встреченного. Местные чиновники, солдаты и поселенцы охотно берут в приживалки и в жены китайских девушек; более того, сам глава каторжной тюрьмы, полковник Хираи, женат на китаянке, причем жена его девушка удивительно тонкой и рафинированной красоты. Говорят, здесь существует некий особый промысел, для южной стороны Сахалина небывалый: китайские семейства объединяются и хорошо платят чиновнику или солдату, чтобы он женился на китаянке и после истечения срока своей службы здесь забрал бы ее и детей в Японию. Чем дальше продвигаешься на север Сахалина, тем меньше обнаруживаешь сословных предрассудков, и то, что кажется невозможным в Холмске или в Южном, здесь обыденно.

Надо отметить, что вокруг каторжной тюрьмы сложился довольно

большой город, точнее поселок, разбросанный по сопкам и между ними. Все-таки городом это нагромождение домов назвать нельзя, поскольку ни одного городского признака нет – ни ровных улиц, ни сколько-нибудь капитальных домов, ни фонарей, ни столбов. Жилища ничем не отличаются от жилищ того же Холмска, они разве что просторнее, так как скученность населения здесь гораздо меньшая. Еще одной особенностью Александровска является общая одноэтажность построек – за все время, что мы тут пробыли, жилья, стремящегося вверх, так и не встретили. Единственным капитальным зданием является сама каторжная тюрьма.

Александровская тюрьма, как я уже упоминала, является самым строгим исправительным заведением острова, здесь содержатся не обычные преступники и рецидивисты, но лица, чьи преступления шокировали общество и вывели их совершивших из круга человеческих прав и понятий. Осужденные на пожизненную каторгу.

Вопреки моим ожиданиям, подпитанным легендарной славой этого места, тюрьма оказалась не такой, как я представляла. Я планировала увидеть по крайней мере тюремный замок, сопоставимый по мрачности с историческими застенками, – Бастилией, Бутыркой, с китайским Пионовым дворцом или с американским Алькатрасом, однако «Три брата» ничуть не походили на них.

Оправдывая свое название, тюрьма состоит из трех небольших, расположенных в виде звезды корпусов, между которыми располагаются невысокие вспомогательные постройки. Территорию тюрьмы окружает полутораметровый и скорее декоративный бетонный забор, правда, поверху увитый спиралью колючей проволоки; поразительно то, что все тюремные постройки, равно как и забор, выкрашены в легкомысленный розовый цвет; ворота, ведущие на территорию, закрывают лишь на ночь.

Значительное пространство вокруг тюрьмы выложено восьмиугольной каменной плиткой; это пространство не занимается никакими постройками и совершенно свободно для дневных прогулок, чем охотно пользуется местное население – совершив променады вдоль морского берега, гуляющие могут культурно постоять возле розовых тюремных стен и насладиться морскими зрелищами. И здесь гораздо чище, чем на набережной.

Нынешняя тюрьма, то ли по стечению дурных обстоятельств, то ли по ироничной воле строителей, занимает одно из красивейших мест города – на берегу реки Александровки, откуда открывается живописнейший вид на скалы Три Брата. По слухам, это все-таки неслучайное совпадение, якобы первый начальник восстановленной каторжной тюрьмы велел построить новое здание именно здесь, чтобы усилить контраст между суровыми

условиями содержания в камерах и прекрасным видом, открывающимся из камер.

Вид на самом деле впечатляющий: побережье в этом месте расчищено от выброшенных кораблей и без явных следов человеческой деятельности, отчего сохранился первозданный облик, скалы, которые дали название тюрьме, ничуть не изменились за прошедшие годы. Думаю, они не изменились и за прошедшие тысячелетия, кажется, с ними связана какая-то древняя айнская легенда.

Когда речь зашла о хозяйственной основе жизни населения в Александровске, Артем усмехнулся и ответил, что основа здешней жизни – удаленность от административных центров острова. Сюда редко приезжают чиновники с юга, инспекция добирается в лучшем случае раз в год, и в отсутствие контроля здесь процветают все недозволенные виды деятельности: работорговля, самогоноварение и бутлегерство, подпольные игорные дома, театры самоубийц, торговля краденым, разведение собак для боев и для гурманов, производство эрзац-горючего и медикаментов и многие другие нелегальные и полуполигальные промыслы. Артем говорит, что никак не следует оценивать Александровск по внешнему виду, он лишь прикидывается тихим дурачком, на самом деле у этого дурачка золотые и весьма острые зубы, и здесь надо быть настороже, может быть, гораздо в большей степени, чем в том же Холмске.

Еси на мой вопрос о хозяйстве Александровска сделал вид, что подавился, и убежал прочь, тем и закончилась наша прогулка. Мы стояли у тюремных стен; нам было назначено на одиннадцать часов утра, но явились мы на площадь перед «Тремя братьями» немного раньше.

Ровно в одиннадцать ворота первого блока тюрьмы отворились, и нас с Артемом принял полковник Хираи, заранее извещенный о моем визите. Полковник, в отличие от других тюремных коллег, с которыми я имела счастье быть знакомой, не составлял отталкивающего впечатления.

Хири был относительно молод, подтянут и бодр, на его лице не отложилось явных свидетельств капитуляции перед распространенными на Карафуто пороками, напротив, выправка и особая манера держать правую руку выдавали в нем спортсмена, и я не удивилась, если узнала бы, что полковник мастер, допустим, фехтования. Я отметила, что в присутствии полковника Артем насторожился еще больше, впрочем, полковник быстро догадался, кем является мой спутник. Однако это никак не отразилось на нашей встрече – Хири пригласил нас в свой кабинет и угостил чаем с пирожными; нам прислуживала молодая приятная девушка, та самая жена-китаянка, ожидавшая ребенка.

Беседа наша с полковником не имела никакого прикладного значения и потому отличалась приятностью и живостью. Мы говорили о Токио, об университете, о празднике первого вина и еще о каких-то совершенно необязательных и милых вещах. Артем и жена полковника Хираи молчали, поддержать беседу они едва ли могли, равно как не знали и радостей молодого вина.

После чая мы отправились осматривать тюрьму и начать решили с корпуса для лиц, совершивших особо тяжкие преступления. В Александровской тюрьме, кстати, содержатся лица, причисленные к привилегированным сословиям и даже к Императорскому дому; это, однако, не означает, что им предоставлены условия, отличные от других заключенных, каторгу они отбывают наравне со всеми, в том числе и в первом корпусе.

Я ожидала встретить в нем одиночные камеры – внешний казематный вид здания с узкими горизонтальными окнами предусматривал именно камерное устройство, но обнаружилось, что внутри корпус распланирован нестандартно. В нем не было этажей и перекрытий, камеры представляли собой ямы, выбранные в бетоне. Ямы были двух типов – узкие и широкие, Хираи пояснил нам, что широкие ямы предназначены для повседневного содержания каторжников, узкие же ямы используются для специальных целей; на мой вопрос, в чем заключаются специальные цели, полковник велел сопровождавшему нас смотрителю открыть ближайшую яму.

Из потолочных окон падал свет, и этот свет показал мне, что яма похожа на тонкий высокий стакан. В этом стакане стоял человек с совершенно незначительной внешностью клерка или бухгалтера, со светлыми глазами и располагающей улыбкой; на мой вопрос, кто это, смотритель ответил, что это и есть известный людоед Накамура. Имя заключенного смотритель произнес с уважением и почтением, как произносят имя заслуженных патриархов, великих людей. Я немедленно вспомнила историю этого Накамуры, юриста одной крупной машиностроительной фирмы, прославившегося в свое время тем, что съел своего начальника и его заместителя, а на вопрос, зачем он это сделал, прочитавшего известное трехстишие Хокусая. Помню, в самодеятельном университетском театре «Башмаки» студенты психологического факультета поставили пьесу под названием «Поляна в чаще», в которой история Накамуры рассматривалась несколько более глубоко, чем ее освещали газеты. Пьесу запретили, кажется, после третьего представления.

Сейчас Накамура был помещен в стакан; в этой камере можно стоять или сидеть, подогнув ноги, лечь или как-то вытянуть конечности вряд ли

получилось бы. Дверей пространство стакана, разумеется, не имело, и проникнуть в него можно сверху, через небольшой лаз, в который раз в день заключенному кидали прессованную соевую лепешку и два раза в день поливали его водой – для питья и смыва в канализацию нечистот. Чтобы заключенные не сходили с ума слишком быстро, в блоке иногда играет классическая музыка и звучат патриотические лекции. Впрочем, по заявлению зрителя, мало кто выдерживает в стакане больше месяца; тех же, кто по прошествии года заключения в первом корпусе находится хотя бы в относительно здравом уме, можно пересчитать по пальцам одной руки.

На мой вопрос, почему к заключенным первого блока нельзя применить высшую меру общественной защиты, полковник Хираи, терпеливо сопровождавший нас в осмотре, заметил, что смерть – это награда, а здешние насельники не заслужили ее. Мука, переносимая в Александровской тюрьме, есть лишь репетиция перед страданиями, которые им предстоит претерпеть в грядущем и неотвратимом инфэрно.

– Стены нашей тюрьмы – лишь преддверие ада. И они знают про это.

Полковник произнес это излишне страстно, так что я заподозрила в нем скрытого христианина, хотя в этом ничего удивительного – такое место, как «Три брата», располагает к предрассудкам, сектантству и прочим непостижимым движениям души.

– Каждый из них догадывается, что его ждет, – повторил полковник Хираи. – И наша задача, чтобы они отправились в преисподнюю с окончательным осознанием своей скорой участи.

Я подумала, что полковник, некогда добрый и мягкий человек, за годы пребывания на своей должности сильно изменился; от того юноши, окончившего юридический факультет и мечтавшего стать адвокатом, не осталось сейчас и следа.

Помимо людоеда Накамуры в первом блоке содержались еще тридцать восемь кандалных каторжных, помещенных в Александровскую тюрьму бессрочно; мы шли по особому трапу, проложенному поверх бетонных стаканов, и периодически зритель откидывал тяжелые крышки. Разглядеть преступника было непросто, но те, которых я разглядеть все же смогла, выглядели ужасающе. Не знаю, что стало причиной такого их состояния, я предположила вслух, что дело все-таки в условиях содержания, но полковник Хираи возразил:

– Отнюдь нет, – сказал он. – Условия содержания лишь ускоряют процесс озверения. Человек видит себя в зеркале других людей, только через других он и становится человеком. Будучи лишен своего отражения,

он быстро возвращается к своему естественному состоянию. Плоть сдается, спрятанная под ней скверна выходит из-под контроля и трансформирует тело в соответствии с душой. Вот, например, этот.

Хираи указал стеком вниз. Я взглянула.

На меня уставились глаза, белые, с неподвижными зрачками, широко разведенные, умные; я увидела эти глаза, большие, страшные, мертвые, точно из люка на меня смотрел не человек, но моллюск, голодный и готовый к стремительному броску, а в темноте стакана яркими поперечинами выступали оранжевые полосы тюремной робы.

– Это небезызвестный разбойник Дзюнтай. – Хираи с удовольствием плюнул вниз. – Он называл себя в честь другого разбойника, старинного, и, как и тот, убил шестьдесят три человека, включая женщин и детей. Все свои злодеяния Дзюнтай снимал на камеру и продавал таким же больным психопатам, как он сам. На суде симулировал сумасшествие, но был признан виновным и приговорен к пожизненной каторге.

Дзюнтай улыбнулся, я ощутила ужас от этого оскала, у Хираи от ненависти дрогнули губы, и мы перешли к другой яме, чтобы познакомиться со следующим заключенным, а потом и со следующим, и еще с одним. Хираи продолжал рассказывать, но мое сознание почти сразу перестало определять и запоминать их злодеяния, потому что эти злодеяния были омерзительны, но при этом однообразны, как и нечеловеческий облик их вершителей.

– Чудовища, которых вы видите, – указал Хираи на стаканы в конце осмотра, – эти чудовища – не люди. Они отреклись от человечности, и человечность отреклась от них. Они монстры, и они опасны.

Я заметила, что Накамура, этот страшный психопат и извращенец, выглядит до сих пор вполне по-человечески, на что полковник ответил, что данный феномен занимает и его; что он до сих пор не пришел к однозначному выводу, но его многолетний опыт общения с отребьями рода человеческого позволяет утверждать, что такие, как Накамура, встречаются редко, а такие, как Дзюнтай, напротив, но и первого и второго он, будь у него возможность, не задумываясь бы застрелил.

Артем молчал. Думаю, что с полковником он был согласен.

Находиться в первом блоке было невыносимо, я почувствовала необходимость выйти на открытый воздух. Артем предложил и вовсе завершить посещение тюрьмы, но я была тверда в своем намерении осмотреть ее целиком. Полковник Хираи вручил мне еловую веточку, я растерла ее ладонями и по совету полковника намазала щеки, как бы создав вокруг головы хвойный кокон, после чего мы перешли во второй блок; сам

Хираи оставил нас ради неотложных дел, поручив сопровождение старшему надзирателю.

Во втором блоке тюрьмы содержатся заключенные, хотя и имеющие большие сроки, но не представляющие серьезной опасности для окружающих, осужденные по политическим статьям или по неосторожным преступлениям; и те и другие рассчитывают рано или поздно перейти в третий блок, а потом и в состояние поселенцев. Блок состоит преимущественно из узких одиночных камер, в которых круглосуточно остаются каторжные заключенные, камера в длину насчитывает двадцать шагов, в ширину она незначительна, человек с не самыми длинными руками может одновременно коснуться стен ладонями. Нар, коек, какой-либо другой мебели, предназначенной для лежания, не предусматривается; в любое время года заключенный находится на толстом коврике из пенопропилена, его шея прикована короткой цепью к трехпудровой гире, отлитой в форме ведра, так что при желании заключенный может совершать прогулки от окна до двери, волоча гирию-ведро. Некоторые, по уверениям надзирателя второго блока, за годы заключения умудряются так наращивать свои силовые показатели, что прохаживаются по камерам, держа гирию на весу или взгромоздив ее на затылок. Такие отправляются на поселение настоящими крепышами, походящими на приземистых широкоплечих гномов. Китайцы, держащие в Александровске ремесленные лавки и другие заведения, охотно нанимают этих троглодитов. Хотя для большинства заключенных такой вес, помноженный на скудость тюремного рациона, является все-таки разрушительным фактором; те, кого природа не одарила широким костяком, крепким желудком и железным здоровьем, зачастую переводятся в третий блок полуинвалидами.

Стесненность положения заключенного, кроме всего прочего обязанного пребывать на шейной цепи, немного смягчается условными вольностями режима, допускаемыми во втором блоке: заключенные здесь могут лежать и ночью, и днем, им позволяется читать книги и смотреть в окно, на скалы и воду. Это одно из самых весомых преимуществ второго блока, одна из главных привилегий, но есть и другие. Надзиратель с гордостью поделился с нами программой, разработанной лично им и направленной на гуманизацию наказания, с одной стороны, и привитие каторжным чувства прекрасного – с другой. Надзиратель с помощью других заключенных возобновил в ближних холмах небольшую копь, в которой еще в довоенное время добывался поделочный камень, и теперь заключенные второго блока обеспечены досугом – они вырезают из камня миниатюры по средневековым образцам. Конечно, все происходит под

строгим контролем тюремной администрации, и результаты есть.

Мне захотелось встретиться с одним из заключенных, и надзиратель проводил нас в камеру к каторжнику, заканчивающему отбывать положенный срок во втором блоке и готовящемуся к переходу в третий. Надзиратель, понизив голос, сообщил нам, что этот заключенный особенный – он троюродный брат домашнего доктора императорской фамилии, прислан в Александровскую тюрьму за сочинение оскорбительных памфлетов, вольнодумство и организацию подпольной ячейки либерал-демократов, по профессии он журналист, а зовут его Сиро Синкай.

Синкай я знала, более того – помнила.

Я тогда училась в старших классах, зимой уроки длились до темноты, и мама встречала меня, чтобы проводить до дома; мы шагали по тихим улицам и громко разговаривали, пугая прохожих своей чужой речью; шли мимо деревянных лабазов, мимо мастерских, где делали и учили петь механических птиц, мимо лавок с ненужными книгами и будок с горячей лапшой. До дома от школы было недалеко, но это если по прямой, мама же не любила ходить по прямой, и мы всегда удлиняли путешествие, обходя ремесленные и торговые кварталы. И однажды, кажется в месяц иня, мы с мамой, замерзнув, решили заглянуть в ресторан, который завелся в здании, где раньше располагался телеграф. Обычно там было темно и тихо, но в тот день окна и двери оказались открыты, играла музыка, пахло паровыми капустными пирожками и чаем. Мы зашли внутрь.

Там на небольшой сцене на стуле сидел человек в нелепом и бедном клетчатом пальто и грел руки железным чайником. Вокруг сцены собирались столики, за ними дремали тепло одетые люди; мы выбрали столик с краю, нам тут же принесли чай и сладкие имбирные сухари, человек, принесший угощенье, поглядел на нас с удивлением.

Мама пояснила, что это, видимо, вечер поэзии. Раньше, во времена ее молодости, такие вечера проводились часто, потому что тогда, после Войны, поэтов объявилось неожиданно много, а развлечений, напротив, было мало. Правда, по словам мамы, поэты сейчас остались не очень высокого полета, так себе. Но потом и такие поэты куда-то делись, так что нам повезло, мы сможем послушать, возможно, настоящего.

Я редко слышала, как читают вслух стихи, если не считать тех, что читала мама на Рождество, или тех, что бабушка читала перед сном вместо колыбельной. Были еще абсурдистские хокку, посвященные фривольным приключениям поэта Басе, отец сочинял их по субботам за чтением газет и стаканчиком виски, а вечером, когда в дом приходили гости, зачитывал их

публике с непременно каменным лицом. Были политические памфлеты, которые иногда между занятиями зачитывали с подоконников старшеклассники, они всегда это делали ядовито, в нужных местах вращая глазами и сообщая голосу излишнюю жирность и округлость, как бы намекая этим на водянку, которой страдал Император.

Я сомневалась в этом поэте в дурацком клетчатом пальто и клетчатых штанах; честно говоря, из-за этих штанов я опасалась, что поэт начнет сейчас читать нечто неприличное. Поэтому я сосредоточилась на чае и имбирных пряниках, которые оказались вкусными, но несколько суховатыми, приходилось слегка подразмачивать. Успела выпить две чашки, съесть восемь пряников и заскучать, но тут началось представление. Человек на сцене отставил чайник, расстегнул пальто, достал из внутреннего кармана книжку и стал читать. То есть сначала он представился – Сиро Синкай – и после этого стал читать.

Это длилось больше часа. Нет, не все время, несколько раз Синкай делал паузу, чтобы отхлебнуть из чайника, но потом продолжал. И все эти полтора часа мы слушали его стихи.

И это были удивительные стихи. После окончания представления мама ничего не сказала, но когда Синкай начал стеснительно продавать свои книги, она купила две. Но лучшего стихотворения в книге не оказалось, и тогда Синкай записал мне его на мятом оберточном листке.

Позже, когда я закончила школу и перешла в университет, Синкай был уже другим и стихов больше не сочинял, во всяком случае, я их не слышала. Он вел на радио передачу «Лотос и Погром», где от имени вымышленного либерал-демократа Дзюинтиро Гэта призывал народ к консолидации и национальному пробуждению. Тогда я не знала, что Синкай – брат императорского доктора, но его передачи слушала не без удовольствия – на протяжении трех лет каждую программу он начинал с одной и той же фразы: «Друзья, помните – на высшей ступени пирамиды цивилизации находится японский мужчина, на низшей же ее ступени распростерта корейская женщина». Он был удивительно серьезен в те годы.

В середине передачи Синкай громко выпивал стакан виски, говорил, что жизнь – трудная штука, после чего следовал обязательный рассказ про бесчинства тысяч и тысяч корейцев, которые повинны в Войне и тьме над миром и, будучи навечно и без сомнения заслуженно изгнанными из пределов Империи, умудряются пробираться на многострадальный Сахалин, где селятся в распадках, норах и логах и оскверняют сушу, воду, воздух. Про сонмы китайцев, непосильным ярмом повисших на тощих шеях налогоплательщиков и жирующих на Сахалине в своих зловонных

фанзах – вместилищах всех пороков, что может представить человек. Про американцев, которых на Сахалине больше, чем способно вынести сердце пламенного патриота, и пусть они как звери сидят на Сахалине в надежных клетках – самим своим существованием они оскорбляют память всех тех, кто пал от их нечестивых рук. Заканчивалась «Лотос и Погром» тоже всегда одинаково – фразой, ставшей лозунгом многих групп, примкнувших к запрещенной впоследствии либерально-демократической партии: «Сахалин должен быть saniрован!»

Передача подавалась как сатирическая, высмеивавшая затхлую атмосферу тех собачьих лет, когда Война осталась позади, а четкой картины развития еще не обозначилось и общество пребывало в состоянии идеологического коллапса; однако зажигательные речи Гэта находили в душах национально настроенных подданных живой отклик, и закончилось все это так, как не ожидал и сам Сиро, – в одно прекрасное утро сторонники санации Сахалина погрузились на три довольно вместительных баркаса и, распевая народные песни и скандируя воинственные речовки, взяли курс на север. В проливе Лаперуза баркасы были перехвачены миноносцем береговой охраны «Роберт Ли», потребовавшим прекратить рейд, но либерал-демократы в запале не сумели остановиться, и один из баркасов наткнулся на боевой корабль. Были погибшие, были раненые. После этого «Лотос и Погром» закрыли, а Синкай уволили; обозленный, он начал выпускать уже откровенно антиправительственный листок «Агент V» и распространять его по подписке среди студентов технических вузов. Раздосадованный бестолковостью патриотов, он создал ячейку радикальных либералов, на чем в результате и погорел и был сослан в префектуру Карафутто. Ирония судьбы закинула Синкай сюда, на Сахалин, в место, которое он призывал очистить посредством применения атомного огня и химических боеприпасов.

В газетах писали, что при задержании Сиро Синкай оказал сопротивление – столкнулся с лестницы жандарма, укусил другого, выбежал на улицу, облил себя из канистры и грозил самосожжением; впрочем, впоследствии выяснилось, что в канистре не бензин, а моча. Естественно, я не могла не поинтересоваться у надзирателя, как обстоит дело с самоконтролем у Сиро сегодня, на что надзиратель ответил, что на текущий день экс-поэт пребывает в совершенном равновесии духа; сразу по прибытии в «Трех братьев» Синкай встал на путь исправления, сотрудничает с администрацией и участвует в самодеятельном ансамбле народной песни «Токкофуку».

Я не совсем поняла, как можно участвовать в самодеятельном оркестре, находясь в камерах, и надзиратель пояснил, что с восьми до девяти часов заключенным открывают окошечки в дверях, в которые они и поют. Синкай же, несмотря на его прежний радикализм, ныне абсолютно безобиден; ум же его остр, как и раньше. Так что можно входить к нему без всяких опасений; само собой, наша беседа должна состояться в присутствии представителя администрации.

Я не могла упустить такой возможности. Мы вошли в камеру, и заключенный в оранжевой полосатой робе с почтительностью приветствовал нас. Я отметила, что сегодняшний Сиро Синкай выглядел несколько иначе, чем в годы «Лотоса и Погрома»; в те времена, когда он призывал к решительному броску на север, он был рыхлым нескладным юношей с крупными чертами лица, с вывернутыми губами и мясистым носом, потный и суетливый. Теперь передо мной стоял жилистый человек со страшной сухой мускулатурой; каждое мышечное волокно было сепарировано канатами сухожилий и венозными буграми, при всем при этом плечи, грудь и руки его покрывали густые черные волосы. Голова Синкая была обмотана блестящей цепью, на другом конце которой висела кандалная гиря. Когда мы вошли, Сиро упражнял трапецевидные мышцы, вены на его шее и голове вспучились, и казалось, что он вот-вот взорвется от напряжения; я внезапно почувствовала себя очень незащищенной, даже несмотря на свои пистолеты. А еще я порадовалась, что рядом со мной Артем. На фоне Сиро Синкая он выглядел тощим мальчишкой, но его присутствие отчего-то вселяло в меня уверенность и силу.

Увидев нас, Синкай поставил свою гирю на пол и галантно поклонился, за годы каторги он не растратил куртуазности своего характера. Надзиратель, как всегда приписывая мне не свойственные функции, объявил Синкаю, что с ним хотят пообщаться господа инспекторы, и если у него есть пожелания, жалобы или предложения, он может смело их излагать.

Если честно, я смутно представляла, о чем говорить с Синкаем, он слыл человеком образованным, практически энциклопедистом, с оригинальным мышлением и бойким пером, и, судя по его виду, годы, проведенные в каторге, лишь обострили злой ум и наполнили его еще большей желчью. Мне не хотелось толковать о пустяках, не хотелось вспоминать прошлое, и уж тем более я не была настроена выслушивать жалобы Синкая на засилье клопов или стоны о недостатке витаминов в тюремном рационе.

На деле все опасения оказались совершенно напрасными. Синкай,

узнав, что я ученица профессора Ода, проявил необычную осведомленность о положении дел в современной футурологии, чем меня, безусловно, озадачил.

– Это интересно, – говорил Сиро, прохаживаясь по своей камере и то и дело прикасаясь пальцами к вискам. – Это очень интересно, в свое время я обращался к некоторым работам... Конечно, практическая футурология профессора Ода не имеет ничего общего с той наукой, что возникла в начале двадцатого века на стыке маргинальной философии и фантастической беллетристики. Да, тогда футурология воспринималась несколько вульгарно, как набор гадальных карт, позволяющих определить, как будут выглядеть кофемолки через пятьдесят лет, и узнать, сумеет ли человек добывать электричество из грозových облаков. Сами же футурологи, по большому счету, ходили на ярмарочных гадалок, предсказывающих судьбу по жженым бараньим лопаткам и полированным хрустальным сферам. Собственно, те, первые футурологи, ими и являлись, профессиональными врунами на содержании у нарождающихся транскорпораций. Задачей их было шокировать публику ужасами грядущего или прельстить ее же этого грядущего перспективами. С помощью этих талантливых фантазеров, а часто лгунов, в массы внедрялись банальные и даже ненужные товарные предпочтения и целые модели поведения. Футурологи пророчили будущее, они населяли его бестиями, настолько же безумными, насколько безумны были их создатели...

Синкай продолжал пересказывать краткое содержание статьи «Футурология: пришествие № 2», опубликованной профессором Ода после демобилизации из Императорской армии и по сути заложившей основы. Мне, если честно, хотелось услышать нечто оригинальное, однако длительное отсутствие общения с образованными людьми сыграло с Сиро злую шутку, прерывать же его я не решалась, опасаясь рассердить.

Лучше бы он почитал стихи. Свои, чудесные, те самые, из старых. Но Сиро, кажется, больше не помнил своих стихов.

– Сегодняшняя футурология сделала качественный шаг вперед, – говорил он. – Это уже не пыльная фантастика, дискредитировавшая себя временем, это активная практика, искусство взаимодействия с послезавтра. Сегодня она чем-то напоминает классический маркшейдер кунст. Современный футуролог не предсказывает, не ясновидит и не прозревает, он давно отряхнул затхлый прах провиденциализма со своих ступней, современный футуролог взаимодействует! Его символ – стальная игла! Он размечает границы будущего, купирует ложные тропы, закладывает

основы! Это хирург, отсекающий гнилое мясо истории, акушер, повивальная бабка грядущего...

Синкай несколько возбудился, он нажимал пальцами на виски так сильно, что на них образовались глубокие впадины, в неверном свете, проникающем сквозь окно каземата, казалось, что пальцы Синкая погружаются в голову, точно он пытался осязая ими сами свои мысли. Гирия скрипела по полу.

– Идея о том, что не только мы можем влиять на будущее, но и будущее на нас, удивительным образом превратила псевдонауку, какой, собственно, и была всегда футурология, в отточенный инструмент для разметки пути. Вы, конечно, знаете, что практически все, кто занимался современной футурологией, – ветераны Войны? Это не случайно. Да, в Токио была одна из лучших школ... Наверное, даже лучшая. Технологический рывок, произведенный страной на рубеже тысячелетий, привел к тому, что мы очутились в будущем гораздо раньше остального мира, и именно мы приняли на себя весь его блистающий натиск. И этот натиск был яростен и прекрасен одновременно. Возможно, именно поэтому мы и уцелели... Знаете, Сирень, я ничуть не жалею, что мне пришлось жить в то время...

В голосе Синкая проскользнула заметная печаль.

– Впрочем, как отмечали еще древние, времена не выбирают. Блаженны те, в чьих рукавах ветер... Мне кажется, мы с вами встречались прежде, не так ли?

– Вряд ли, – сказала я.

Синкай улыбнулся:

– Но вы здесь не случайно. Профессор Ода зашел в тупик, понимаю... Он слишком рьяно пытался подержаться за бороду Бога, и старику это не понравилось...

Синкай усмехнулся:

– Будущее, как любая равновесная система, начало сопротивляться вторжению. И профессору потребовалась новая парадигма, способная объяснить некоторые нестыковки и сбои, – и вот вы здесь.

Синкай поклонился, я почувствовала, как за спиной у меня насторожился Артем. Все же он опасался Синкая, причем серьезно опасался.

– Я был немного знаком с профессором. – Синкай прислонился к стене, поглаживая ее пальцами, поеживаясь плечами. – Разумеется, во времена столь давние, вы вряд ли... Я читал его работы по второму уровню практической футурологии, они не безнадежны. И поэтому вы здесь, да,

поэтому... Наверное, вы хотите спросить меня про будущее?

– Нет, – почему-то сказала я. – Хочу спросить другое... Вы сочиняете стихи?

Синкай замолчал. Он стоял у стены, лицом к ней, приложившись лбом к неровной бетонной поверхности.

– У вас были прекрасные стихи, – сказал я. – Гениальные. Я помню ваши стихи. Однажды я слышала, как вы их читаете, зимой, на старом телеграфе. Помните? Старый телеграф.

Синкай рассмеялся. Я думала, что он скажет, что тогда, зимой, на старом телеграфе он был молод, и глуп, и наивен, не знал, что к чему, но Синкай даже не пожал плечами, и я не стала его спрашивать о будущем. Он ни черта не понимал в единорогах, он лишь смеялся.

Потом надзиратель второго корпуса проводил нас в свой кабинет, где продемонстрировал текущие достижения его подопечных: в основном это были шахматы и уродливые, вырезанные из камня миниатюры, отдаленно напоминающие нэцке. Я отметила, что каторжные скульпторы совершенно не использовали в своих работах образ человека. Резцы их были направлены больше в сторону животного мира: среди работ попадались рыбы, кальмары и другие морские обитатели, выполненные с разной долей условности. Артем, усмехнувшись, указал пальцем на скульптурку доисторического ящера – кто-то из заключенных воплотил в камне тираннозавра. И никакого единорога. Хотя какие уж тут единороги. Радушный надзиратель подарил нам несколько самых искусных – с его точки зрения – поделок, среди прочего мне досталась, в общем-то, красивая и тонко изготовленная рыбка, а Артему почему-то девятиногий осьминог.

Третий блок. В отличие от двух предыдущих он состоял из трех этажей, на которых все обустроивалось уже обычным тюремным образом: камеры представляли собой большие помещения с низким потолком и узкими окнами, расположенными на высоте человеческого роста. Вдоль стен тянулись длинные односкатные нары, на которых спят каторжные, как правило, подложив под себя коврик из синтетического волокна; такие же, только двускатные, нары располагались и по центру камеры.

Во время нашего визита камеры оказались по большей части пусты, на нарах лежали лишь несколько человек в оранжево-полосатой арестантской робе – это были больные. По уверению тюремного начальства, болезни в третьем корпусе встречаются нечасто, нездоровые люди редко доживают до освобождения. Большинство заключенных с удовольствием участвуют в каторжных работах, и если мы видим больного, то можно быть уверенным, что это действительно больной, а не злостный симулянт. Болеют же здесь в

основном от тоски, так, во всяком случае, сказал один из больных, именно от тоски – климат в последнее время стал заметно мягче и зимы не так суровы, как в прежние времена; довольствие, получаемое каторжанами, хоть и не богато, но позволяет, при соблюдении определенной гигиены, поддерживать человеческое состояние, с тоской же ничего поделать нельзя. А если еще человек слаб духом, то сахалинская тоска разъедает его чрезвычайно быстро, и еще недавно здоровый во втором блоке каторжанин в третьем рассыпается в тюремную пыль. Поэтому, кстати, некоторые содержащиеся в третьем блоке предпочитают совершить нарушение режима, чтобы вернуться во второй.

Как пояснил надзиратель, лица, отбывающие последнюю треть наказания, содержатся уже на полувольном содержании: они могут покидать территорию тюрьмы в кандалах, гулять по поселению в дневное время и при желании устраиваться на работу. Также они могут подать начальнику тюрьмы представление и перевести часть полагающегося им содержания в сухой паек; многие так и делают, получая продукты и меняя их потом в городе на табак, спиртное или проигрывая в карты.

Из тех, кто находился в третьем блоке, пообщаться вызвался некий Рубуру, оказавшийся, впрочем, чрезвычайно скучным субъектом. Мы покинули тюрьму ближе к вечеру и в Александровск вернулись уже в темноте.

За ужином наш хозяин Еси устроил сюрприз – его жена (кстати, китаянка) приготовила традиционное китайское печенье с предсказаниями, и мне опять досталось про рыбу. Развернув бумажку, я прочитала: «Красный тростник, шляпа рыбака, красный тростник, красная река»; мне хотелось спросить у жены Еси, что это означает, но по правилам китайских гаданий расспрашивать нельзя, догадываться следует самостоятельно. Что выпало Артему, я тоже не смогла выяснить – он сжевал свое печенье вместе с предсказанием.

На следующий день мы по рекомендации полковника Хираи решили осмотреть поселение айну, расположенное к северу от Александровска в небольшом распадке. Полковник Хираи был так любезен, что выделил нам походное снаряжение, палатку, котел и спальные мешки, так как в один день до поселения добраться было нельзя. Нам предстояло проехать около часа по дороге, уходящей на север, а потом идти пешком; полковник рекомендовал проделать путешествие именно пешком, а на ночлег задержаться в месте под названием Белый ручей – это место расположено в стороне от дороги к поселению айну и знаменито тем, что в ручей впадают ключи, в них еще реально встретить чистую, хотя и некрупную, форель.

Поблагодарив Еси за гостеприимство, мы, не теряя времени, отправились в путь. Полковник Хираи продолжал приятно удивлять – баки нашего автомобиля были полностью заправлены, а в багажнике нашелся мешочек крупы, две банки консервов и котелок с картофелем. Я услышала, как при виде этого богатства громко заурчал живот Артема, и улыбнулась в сторону.

Дорога оказалась тяжелой даже для вездехода – она пролегла по руслу пересохшей реки и походила на терку; крупные камни вытрясали все кишки, мелкие грохотали по днищу, Артем держался за руль, мне же пришлось схватиться двумя руками за вваренную в потолок скобу и практически повиснуть на ней, впрочем, это слабо помогало. Единственным облегчением в этой дикой езде было то, что мы останавливались практически каждые пятьсот метров из-за поваленных поперек дороги деревьев – дорогу поддерживали в относительно проезжем состоянии, однако за последнее время успело упасть много деревьев. Артем тормозил, закидывал на плечо бензопилу и, ругаясь на незнакомом мне языке, направлялся к поваленным стволам. От деревьев он отпиливал большие куски, цеплял их к лебедке и с ее помощью оттаскивал в сторону, после чего мы двигались дальше.

Иногда наше продвижение в глубь острова замедляла вода, сохранившаяся в некоторых изгибах речного русла, и Артем выбирался промерять глубину; у нашей машины имелся шнорхель, так что пробирались мы успешно, вода стояла высоко, и вездеход погружался в нее с капотом. Всего, я думаю, мы преодолели километров восемь, хотя мне они показались кругосветным путешествием.

Это случилось, когда мы проходили одну из таких луж. Она была неглубокая, я прекрасно видела дно, в прозрачной воде резвились жуки и серебристые пиявки, Артем переключился на пониженную передачу, и... неожиданно вода прыгнула на нас. Она резко вздыбилась, поднялась стеной и с силой ударила в лобовое стекло; мы оказались вдруг в этой воде, и тут же машину подкинуло, точно под днищем взорвалась пневматическая граната. Я не успела ухватиться за рукоять, не успела выставить руки, ударилась головой.

Я легко теряю сознание. У меня тонкая шея и хрупкие позвонки, слабая конституция, отец всегда шутил насчет меня и мамы, что мы отнюдь не русские барышни, нет в нас крепости и силы, воспетой в классике, нет, мы форменные эльфы, с тонкой кожей, большими голубыми глазами, бледные и курносые. Нам пристало играть на лютнях, сидя в длинных изящных энненах возле полукруглых окон, чтобы вился по ставням

виноград, чтобы вдали журчал ручей, а на коленях дремал хитромордый горностай; нам не идут путешествия, кожаные макинтоши, ковбойские шляпы, ножи и пистолеты. С пистолетами, кстати, действительно была проблема – я долго не могла их поднять. Я готовилась к путешествию на Сахалин три года и все три года каждое утро начинала с тренировки по стрельбе; в результате этих занятий я научилась стрелять с двух рук.

Итак, я потеряла сознание. Когда же очнулась, обнаружила себя лежащей на траве; под головой у меня был чехол с палаткой, а в вышине, в далеком синем небе, висели золотистые облака.

– Ну, как? – спросил Артем.

Я села. Переносица болела, на лбу от удара образовалась вполне ощутимая шишка, которая к тому же ныла. Артем тоже пострадал – у него был разбит нос, а на подбородке чернела засохшая кровь. Машина стояла недалеко – левое переднее колесо подмято, рядом лежала запаска, кроме того, оказался смят и бампер.

– Провалились в яму? – поинтересовалась я, когда перед глазами перестали мерцать звездочки.

– Нет. Похоже, толчок. Землетрясение. Тряхануло хорошо, едва на колесах остались.

Артем поглядел в сторону реки.

– В последнее время часто трясет, – сказал он. – Но сегодня сильнее обычного. Я такого не помню. Надо возвращаться.

– Зачем? – не поняла я.

Сильно давило на виски. От этого неплохо помогает корка лимона, но здесь лимон взять негде, пришлось ограничиться массажем.

– Слишком хорошо трянуло, – пояснил Артем. – Могли открыться провалы, ехать дальше опасно...

– Так пойдем пешком, – перебила я. – Мы преодолели почти весь остров, тут рукой подать.

– До Белого ручья пятнадцать километров, – напомнил Артем. – И это не по дороге, а по тропам.

Тропы меня не пугали, землетрясение тоже. Оно опасно в городе или в гористой местности, здесь же города нет, а сопки пологи, и я хотела увидеть Белый ручей.

– Пятнадцать, – кивнула я. – Тогда зачем мы теряем время?

Артем удивительно ловко замаскировал с помощью окрестной растительности и сам автомобиль, и его следы. Я хотела взять часть груза, но Артем решительно взвалил на себя все: и припасы, и котлы, и палатки, мне оставил лишь удочку.

Природа Северного Сахалина значительно отличалась от природы юга, здесь не ощущалось присутствие человека, если на юге с его миллионами, зажатými между сопками и морем, в любом направлении обнаруживался человек и следы его деятельности, то здесь воздух дышал пустотой и покоем, неким первобытным состоянием, в котором этот край пребывал тысячи лет. Недаром здесь вновь поселились айну – легендарные аборигены, многие века укрывавшиеся от людей в холмах.

Местность была восхитительно дика, Артем, тяжело шагавший за мной, сказал, что здесь можно встретить даже соболя – сам он не видел, но, по слухам, на китайских рынках периодически появлялись шкурки и мясо. По этим же слухам, вроде бы начала постепенно возвращаться нерпа, но лично мне это казалось фантастикой. Хотя кто знает, кто знает... Моряки, несущие службу на южных рубежах, рассказывали поразительные и ужасные истории о живых островах, дрейфующих в океане и пожирающих неосторожных путешественников, ступивших на их берега. В эти сказки мало кто верил, однако судовой журнал, найденный на борту злосчастного тральщика «Г. Рикенбакер», заставил многих поверить, что эти легенды имеют под собой основание.

Часа в четыре пополудни мы добрались до высокого камня необычного синего цвета; я сверилась с картой и убедилась, что именно здесь, в этом месте, начинался поворот к Белому ручью. Я колебалась – слишком велик был соблазн быстро пройти оставшиеся десять километров и успеть до заката, но потом решила последовать совету полковника Хираи и не спешить.

Мы свернули. Тропа стала еле заметна – она петляла среди поросших мхом камней и вела куда-то вверх. И тут три года моей подготовки сказались благотворно – я шагала в гору легко и вприпрыжку, а на середине пути даже смогла взять у Артема палатки.

Артем начал сдавать, я удивлялась, как это не случилось раньше, – я, проходившая практику в лечебнице при медицинском факультете, примерно представляла, к чему приводит длительное и систематическое недоедание и отсутствие витаминов. Сначала Артем замедлил шаг и приотстал, и я тоже незаметно снизила шаг, затем у Артема сбилось дыхание, он стал дышать туго и с хрипом, а я все старалась не оглянуться, мне не хотелось его смущать. И все закончилось так, как и должно было закончиться, – Артем упал. Нет, он не потерял сознание, просто упал лицом в землю, почти сразу попробовал подняться, но тут уж я схватила его за рюкзак и оттащила к ближайшему дереву, а он все пытался и пытался, пришлось на него прикрикнуть, чтобы он не дергался. Артему было,

кажется, стыдно – он старался не смотреть в мою сторону, думал, что я его жалею. Но я его не жалела, я не видела ничего зазорного в такой слабости, напротив, я восхищалась его выносливостью. Для таких случаев имелся критический пакет – я сняла с плеча сумку с необходимыми вещами, достала из нее банку с шоколадом; вытащила две порционных плитки, примерно полтысячи килокалорий.

– Это что? – спросил он. – Гематоген?

– Жуй, – велела я. – Это лекарство. Прочищает мозги. Лучшее средство из личных запасов Его Императорского Величества. Выдается подводникам, экипажам миноносцев и паладинам гвардии.

Реакция на шоколад оказалась... странной. Я не ожидала, что так получится, – Артем откусил от плитки, как от горбушки, и принялся жевать с невозмутимым видом, точно он ел не шоколад, а хлеб, приготовленный из грубой овсяной муки. А потом заснул.

Вот так взял и заснул. Я испугалась, что он упал в обморок от перенапряжения, но он просто заснул, сидя у дерева, то есть сначала сидя, а потом, съехав затылком по коре, улегся на мох. Я не решилась его будить, и сон Артема продолжался и продолжался, он улыбался внутри этого сна и, кажется, был счастлив. Весьма странно – я никогда не встречала подобных последствий; не оставалось ничего, кроме как сесть рядом, смотреть и ждать.

Артем проспал два с половиной часа, за это время я успела подумать о разном, в основном о будущем. Это моя работа – думать о будущем, полевая футурология. «Конфликт как регулятор опережающего развития» – моя работа, и основные вопросы в ней посвящены столкновению, периодически возникающему между будущим и настоящим. Здесь нет никакой метафизики, но механизм взаимодействия достаточно сложный и неочевидный. На первый взгляд может предполагаться присутствие некоего фактора, лежащего вне причинно-следственных связей и физических законов. Когда технологическое развитие человечества начинает значительно опережать развитие нравственное, возникает некая волна – синергия, резонанс между негативными эффектами в экономике, общественными ожиданиями и обострением социальных конфликтов, этический тупик, явление, неизбежно заканчивающееся планетарной катастрофой. Профессор Ода сравнивает это с деревом, которое сбрасывает лишние листья, чтобы не погибнуть в морозы, волна, отразившись от неприступных бастионов грядущего, смывает с поля истории все лишнее, всё, что может помешать реализации этого будущего. Будущее, чтобы состояться, должно отрицать прошлое. То есть настоящее для нас. И задача

практикующего футуролога – определить векторы вторжения грядущего, противостоят им и направлять в нужную сторону. По мере сил.

Это звучит несколько лирически, однако работы профессора доказали, что будущее способно воздействовать на прошлое, хотя бы в силу того, что в настоящем глубоко укоренены ростки этого будущего. Собственно, идея посетить Сахалин возникла в ходе обсуждения с профессором проблемы футурошока второго порядка; профессор полагал, что Империя, допуская существование префектуры Карафуту и нечеловеческих порядков, царящих в ней, входит в определенный этический резонанс, и новый конфликт с будущим неизбежен. И если предыдущее столкновение уничтожило весь мир, то новое столкновение может окончательно отбросить остатки человечества в каменный век.

Разумеется, Сахалин не являлся решающим фактором в приближающемся столкновении, однако, по мнению Ода, он мог вполне стать катализатором катастрофы. Поскольку сам профессор пребывал уже в преклонных годах, страдал диабетом и ревматизмом и посетить Сахалин никак не мог, вызвалась я. Кроме того, у меня имелись и личные причины – по неким данным, на Сахалине до сих пор находилось несколько русских семей, и я рассчитывала с ними встретиться; будучи русской по материнской линии, я никогда не видела других русских и русскую речь слышала лишь от матери и от бабушки. Я не испытывала глубоких этнических чувств, интерес у меня скорее исследовательский и этнографический, на территории островной Японии, если доверять последней переписи, русских не проживало.

Перед началом Войны с территории Сибири начался массовый исход населения в Приморье; российские территории стремительно пустели, Китай последовательно реализовывал в отношении северного соседа «путь воды» – проникновение китайского элемента во все, пусть даже незначительные, сферы жизни.

Потом была Корея и «путь огня».

Вопреки прогнозам, активная стадия ядерной войны оказалась отнюдь не скоротечной; я читала довоенную аналитику – специалисты всех сторон, впоследствии участвовавших в конфликте, предрекали, что интенсивный обмен ракетными ударами ограничится максимум тремя сутками; но получилось иначе. Историки Императорского университета утверждают, что «горячая» фаза продолжалась месяц; целый месяц крупные и не очень ядерные державы с азартом перебрасывались боеголовками, по истечении же месяца, когда на месте малых и сильных мира сего раскинулись горячие радиоактивные пустыни, Война перешла в «ползучую» стадию. Еще

не были уничтожены батареи, базировавшиеся на подводных лодках, еще пересекали океаны недобитые крейсера, и кое-где на пылающих просторах Евразии еще ползли по проселочным дорогам мобильные стартовые комплексы. Стрельба продолжалась. И лишь спустя два полных месяца после первого пуска на Корейский полуостров упала последняя ракета. Видимо, именно в этот момент на поверхность вырвался МОБ.

До сих пор не удалось установить, чьей именно разработкой было мобильное бешенство. Генетики Императорской академии наук пришли к выводу, что МОБ не возник по естественным причинам, это не мутация ранее известного вируса, но явный продукт боевой генной инженерии.

МОБ стремительно распространялся по территории Хабаровского края, скопившееся там китайское и корейское население бежало на Сахалин, где вскоре открылись чудовищные этнические чистки – китайцы и корейцы, значительно превосходившие русских в численности, устроили геноцид, в ходе которого удалось уцелеть очень и очень немногим.

Именно тогда Япония ввела режим изоляции и впервые за более чем столетнюю историю применила наступательное вооружение; к этому времени глобальные игроки успели уничтожить друг друга, своих соседей и союзников, и Япония оказалась единственной индустриальной страной, которой удалось выстоять в Третьей мировой. Командование сил самообороны объявило Реставрацию, Япония провозгласила себя Империей и взяла под протекторат фактически весь бассейн Тихого океана; на Сахалин и Курильские острова ввели части сформированной Императорской гвардии, которые с помощью беспрецедентных и кровавых мер усмирили китайское и корейское бешенство и вознесли Императорский штандарт над Карафуто и Северными Территориями. МОБ остановили массированным применением химического оружия. На момент введения на землях Сахалина Имперской администрации русское население острова составляло порядка четырех десятков человек.

Проснувшись, Артем ничего не сказал, он поднялся на ноги и как ни в чем не бывало предложил продолжить путь. Я не стала спорить. Мы прошли порядка трех километров, и я сделала вид, что устала, и объявила привал. Небольшая поляна, похожая на альпийский луг – я видела такие в старых книгах: зеленые, светлые, с цветами и снежными пиками вдаль; здесь было почти то же самое, но без снега: холмы, немного цветов, трава. Тихое, очень красивое место, пожалуй, я никогда не видела столь красивого места. Разве что только птицы не поют. Мы разбили лагерь недалеко от воды – я расставила палатки, а Артем сходил за дровами. Потом спустились к воде.

Вода в Белом ручье теплая; сначала я не поверила Артему, но потом опустила руку и убедилась, что это действительно так. Мы двинулись вверх по течению и скоро наткнулись на родник. Судя по всему, это был новый родник, крошечный и открывшийся недавно, может, вот-вот. Артем сказал, что это к счастью – увидеть молодой родник, во всяком случае, раньше это точно считалось хорошим знаком.

Я погрузила в воду тест-пробирку, выяснилось, что вода пригодна для питья. Мы выпили по три кружки и набрали для чая. Артем разжег костер и поставил котелок на камни. Он притащил много разных камней и теперь сидел у огня, разглядывая булыжники и периодически поглядывая на небо, точно сверяясь со звездными направлениями. Когда вода закипела, он высыпал в нее сушеную траву из кисета.

Странно, но есть не хотелось, только пить – я то и дело наполняла кружку и пила травяной чай, глядя, как Артем складывает камни в вертикальные пирамидки. То есть это были и не пирамидки вовсе – Артем ловко ставил камень на камень, и постепенно перед ним вырастала башня. Я сначала не могла понять, как так получается – башни поднимались к небу под невозможными углами, удерживая вертикаль... Непонятно как удерживая. Вероятно, у Артема присутствовало абсолютное чувство равновесия – иначе построить такую башню вряд ли бы получилось. Артем же обходился со своими сооружениями вольно: он вынимал камни из основания и пристраивал их в середину, отклонял в сторону, раздваивал и снова сводил в одну высь, и башни не падали. Каирны – так они назывались, если память мне не изменяет.

Кажется, я восхищенно вздохнула, во всяком случае, Артем смутился и толкнул свой вавилон пальцем, сооружение качнулось, сила, удерживающая его, отступила, и столб рассыпался.

Я отправилась спать в палатку. Артем сторожил. Просыпаясь, я видела его, сидящего у огня с багром на коленях.

Наутро мы позавтракали и немедленно отправились к поселению айну. Если честно, в круг моих задач не входило знакомство с коренными обитателями острова, но, будучи направленной сюда от Департамента Этнографии, я не могла упустить возможность лично познакомиться с этим народом.

Про айну я имела самые общие сведения; насколько я знаю, айну, как и русские, считался вымершим этносом, во всяком случае, про них никто ничего не слышал еще задолго до войны; казалось, что это племя воинов и охотников давно кануло в Лету, ушло в ту землю, хозяевами которой оно некогда являлось.

Артем про айну тоже знал не много; по его словам, слухи о «бородатых» периодически доходили с периферии, про них рассказывали возвращающиеся с северных промыслов китайцы, некоторые утверждали, что айну видели аж в районе Углегорска. Как и раньше, айну жили охотой и собирательством, численность их оставалась крайне невелика, собственно, говорилось не о поселениях айну, а о стоянках небольших семейных групп, занимающихся добычей даров природы. Я поинтересовалась у Артема, на кого можно охотиться на Сахалине сейчас. Артем ответил, что крупных животных не осталось совсем, за исключением медведей, но на них охотиться бессмысленно – медведи, пожирающие рыбу, активны и опасны. Последнего оленя убили, когда ему, Артему, было семь лет, сейчас охота ведется на речную выдру, которой в реках относительно много, но употреблять в пищу можно не всю, поскольку выдра также питается проходным активным лососем. Некоторые выдры, впрочем, предпочитают лососю местные породы и местных же моллюсков, так что охотникам приходится выступать на промысел с дозиметром и тщательно отделять зараженную выдру от чистой. Еще не до конца выбит заяц, но встречается все реже и реже, к тому же естественный отбор превратил зайца в хитрую и умную дичь, добыча его становится сложнее год от года. Довольно велико поголовье белки, которая дает и мясо, и шкурку, но охота на нее практически полностью монополизирована китайскими группировками, виртуозно владеющими стрельбой из рогаток. Есть еще лемминги, но Артем сказал, что лемминга промышляют неохотно, поскольку он практически поголовно трачен боррелиозом.

На этом месте он вдруг замолчал, и долгое время мы шагали по тропе в тишине. Артем выглядел встревоженным, он то и дело оглядывался, смотрел по сторонам и себе под ноги, как бы невзначай дотрагиваясь до своего багра; это беспокойство постепенно передалось и мне, я стала озираться и всматриваться в тропу. Тропа как тропа, пожалуй, несколько растоптанная.

Артем остановился.

– Что-то не так? – спросила я.

Он не ответил, потер щеку, наклонился, подобрал камень, оглядел его со всех сторон, сунул в карман.

– Любишь камни? – спросила я. – Я видела, ты складывал каирны...

– Как? – не понял Артем. – Что складывал?

– Каирны. Вертикальные дороги, путь в Вальгаллу.

– Не слышал про такое, – улыбнулся Артем. – Путь в Вальгаллу, значит. А я думал...

– Что?

– Забавно, – сказал Артем. – Я их с детства строю. Игрушек не было, а камни были. Могу до четырех метров выстроить, ну, часа три если повозиться. Чек ничего про Вальгаллу не говорил, а он разбирается. Я вас потом познакомлю, он интересный. Если к тому времени не сдохнет. Я ему оставил на месяц еды, но он это...

Артем потрогал себя за висок.

– Немного усталый от жизни, – пояснил Артем. – Может все за раз сожрать, плохо себя контролирует. Но все равно иногда в себя еще приходит.

– Чек, он тебе отец? – спросила я.

– Не, – помотал головой Артем. – Не знаю, то есть он никогда про это не говорил. Он меня нашел.

– Нашел?

Артем кивнул.

– Он много нашел детей, человек пять. Но потом все умерли, один я остался. Теперь я ищу.

Я поглядела на Артема с удивлением.

– Ну да, – сказал он. – Уже трех подобрал.

– Как?

Артем стал объяснять. Что он подобрал троих доходяг и выходил, и теперь они живут под горой, а он иногда их подкармливает, оставляет еду возле дома, а они за ней приходят. Помогают ему иногда, ищут на пляже мертвецов. Уроды. Он так их называл – уроды, но звучало это у него необидно, по-другому как-то, уроды и есть уроды.

– А здесь уродов кормить не принято, – пояснил Артем. – Здесь здоровых кормят, чтобы после отправить в Японию. Но условно здоровые нечасто рождаются, обычно с дефектом каким. И тогда его сразу не выбрасывают, а немного придерживают. Сильно не кормят, так... так, чтобы ноги с голоду не протянул, но и чтобы не жирел. Им даже имен не дают, так они и живут безымянные под порогом. А как какой ребенок более-менее нормальный рождается и на ноги встает, этого безымянного из дома выгоняют. Большинство, конечно, погибает. От морозов, от нереста – грязной рыбой объедаются, от воды, да мало ли от чего, выживают единицы. Они бродят по острову и умирают дальше, ну, или их кто-то подбирает, циркачи обычно...

– Тут есть циркачи? – удивилась я.

– Тут много чего есть, – ответил Артем. – Циркачи, художники, предсказатели погоды, продавцы лунных кратеров, китайские костоправы,

фотографы, картографы, библиографы, но гораздо больше тут нет. Нет рыбы, нет птиц, нет жратвы, нет чистой воды, нет салфеток, нет аспирина, нет табуреток, нет бумаги, нет газет, нет бензина, нет лопат, нет матрасов...

Я посмотрела на него, и Артем вернулся, замолчал и улыбнулся смущенно и немного обиженно, а я услышала крик. Человеческий.

– Пришли, кажется. – Артем аккуратно сбросил с плеч поклажу и пристроил ее за камнем.

– Это что? – спросила я.

Артем положил на локоть багор.

Закричали опять. С болью. С яркой болью, и тут же крик захлебнулся, оборвался громким бульканьем. Недалеко.

Артем наклонился и стал быстро затягивать шнурки на ботинках.

– Я с тобой пойду, – твердо сказала я.

Артем хотел поспорить, но тут закричали снова, кто-то бежал по тропе, совсем близко, метрах в ста, Артем толкнул меня в кусты и сам нырнул следом. Через минуту на тропе показалась женщина, наряженная в непонятную одежду, составленную из широких кожаных штанов и длинной кожаной рубахи; она бежала. То есть не бежала, конечно, бежать она не могла из-за сильной хромоты на левую ногу, просто быстро шагала. Женщина все время оглядывалась, из-за этого она и запнулась за корень, и упала недалеко от нас. Я дернулась к ней, но Артем удержал, схватив за плечо.

Показался мужчина. Он быстро приблизился к женщине, схватил ее за волосы и ударил лицом о камни, даже с расстояния я увидела, как брызнула кровь. После этого мужчина засмеялся и достал нож; он снова схватил женщину за волосы и задрал ее голову с явным намерением перерезать горло.

Каторжный. Под серым брезентовым плащом явно проступила тюремная роба с яркими поперечными оранжевыми полосками, делавшая каторжных тюрьмы «Три брата» похожими на тигров.

Кажется, я вскрикнула. Мужчина тут же повернулся в нашу сторону и стал смотреть пристально и зло; и тут же Артем сделал резкое и одновременно короткое движение правой рукой. Я не увидела, как он полетел.

Багор с мясным хрустом воткнулся в грудь мужчине. Сила броска была такова, что каторжника отбросило в сторону. Женщина снова упала. Мы с Артемом поспешили к ней, но она не стала дожидаться, поднявшись, она, всхлипывая и растирая по лицу кровь, похромала дальше по тропе.

Каторжный был мертв. Багор пробил его грудную клетку и, судя по

неестественному положению тела, сломал позвоночник. Артем наступил на каторжного ногой, выдернул багор и столкнул тело в траву по другую сторону тропы. Сделал он это умело, привычным движением, но с явной брезгливостью, вытерев потом подошву сапога о траву.

– Кажется, они сбежали, – сказал Артем.

– Кто? – не поняла я.

Я пребывала в странном оцепенении и никак не могла понять, что происходит. То есть я, кажется, понимала, но осознать до конца не могла.

– Каторжные. Это был каторжный, ты разве не заметила?

– Заметила. Но...

– Землетрясение, – пояснил Артем. – Оно могло повредить тюрьму, они могли сбежать.

– Как они оказались здесь? Мы ехали на машине, они не могли опередить...

– Напрямик, – Артем указал пальцем. – Через холмы наверняка есть тропы. Здесь глухая местность, ничего удивительного, что они побежали сюда. Хорошо, что мы заметили их раньше. Надо уходить.

– Мы не уйдем, – сказала я.

Артем поглядел на меня с непониманием.

– Мы собирались посмотреть на поселение айну. Если мы почти дошли, зачем же отступать?

Я думала, что Артем начнет со мной спорить, говорить о безопасности, но он не стал этого делать. Мы двинулись дальше, но теперь шагали крадучись. Артем держал багор так, чтобы при случае ловчее его метнуть, а я держалась за кобуры.

Со стороны поселения послышались крики, я побежала в их направлении, доставая по пути пистолеты. Артем догнал меня в несколько прыжков и столкнул в кусты; он сказал, что лучше идти вокруг, что лагерь айну вот здесь, рядом, в ста метрах.

Это был распадок между двумя сопками, широкое место, мы смотрели на него сверху, скрываясь за зеленью. Я видела шалаши, сложенные из веток, хвои и шкур, между ними сутились люди. У меня очень замерзли руки. И нос. Артем, пригибаясь, стал обходить лагерь слева, а я отправилась по правой стороне. Здесь меньше кустов и больше камней, и мне было легче оставаться незамеченной. Кричали женщины, которых избивали каторжники. Избивали, пинали ногами, колотили руками, таскали за волосы. Я узнала из всей этой банды двоих. Над трупом бородатого старика склонился убийца Дзюнтай, он занимался тем, что с помощью

большого ножа нетерпеливо срезал с человека кожаную куртку; снять куртку у него не получалось, он то и дело взвизгивал и со злобой втыкал лезвие в тело. Несколько мужчин висели, привязанными к деревьям, вверх ногами, возле них с кривым, очень похожим на серп ножом прохаживался поэт и инсургент Сиро Синкай. Привязанные к деревьям айну были еще живы, они кричали, извивались, стараясь вырваться, их лица покраснели от прилившей крови. Вдруг Синкай взмахнул серпом и перерезал одному айну горло. Его удар оказался так силен, что лезвие практически отсекло голову. Я хотела выстрелить в Синкаю, но он не стоял на месте – нетерпеливо ходил вдоль подвешенных, выбирая, кого бы убить еще, я же попасть в подвижную мишень с одного выстрела не надеялась. Мы договорились с Артемом, что первым нападет он, а я буду прикрывать его из кустов, но этого не случилось, Дзюнтай перехватил нож и стал отпиливать голову трупу, Синкай же примерялся к очередному повешенному айну, а айнские женщины, избиваемые каторжными, кричали все безнадежнее.

А потом к Дзюнтаю подошел ребенок. Это точно был ребенок – невысокий, одетый в лохмотья, он, кажется, плакал и попробовал оттащить каторжного от тела старика, но Дзюнтай уже отпилил голову и с хохотом вручил ее ребенку. Тут я выстрелила. От меня до Дзюнтая было не меньше ста шагов, обычно на таком расстоянии я выбиваю семьдесят из ста. В этот раз я попала точно в цель. Я тренировалась на обычных деревянных поленьях, расставленных на полянке за нашим домом, отец говорил, что тренироваться надо на них и ни в коем случае не на мишенях – мишени развивают спортивную меткость, а тут нужна точность другой природы. К тому же по полену сразу видно – попала или нет. Но главное, по мнению отца, было то, что поленья позволяли *почувствовать* попадание, – одно дело, сажать пули в эфемерную бумагу, и совсем другое – в дерево. В Дзюнтая я попала легко, ровнехонько в затылок; его голова лопнула, точно гнилая тыква, разлетелась красными ошметками. Словно в черепе у Дзюнтая содержался безумный перегретый пар, еле сдерживаемый костяной коробкой и готовый в любую секунду вырваться наружу, и пуля дала ему свободу. Это лучшее, что случилось с ним в жизни, подумала я, жаль, что поздно. Каторжные замерли и стали оглядываться; те, у кого имелись винтовки, отобранные у охраны тюрьмы, сняли их с плеч и взяли на изготовку, но, кажется, они так и не поняли, что это был выстрел, не исключено, что многим показалось, что голова у Дзюнтая взорвалась сама, от переполнявшей его ярости. Синкай отвлекся от истязания айну и пристально поглядел на убитого будучи человеком умным и опытным, он понял, что к чему, и быстро укрылся за камнем, крикнув остальным

готовиться к обороне. Откуда-то возник Артем, он появился среди каторжных будто из воздуха, и, недолго думая, убил ближайшего каторжника багром в шею. Я сначала не поняла, как он смог появиться столь неожиданно, но потом увидела – поверх куртки Артем натянул тигровый каторжный комбинезон и сам двигался шаркающей каторжной походкой, так что остальные приняли его за своего. Синкай закричал предупредительное снова, но, прежде чем остальные успели что-то осознать, Артем убил еще одного. Каторжные начали стрелять. Стрелять они не умели. Получалось так, что Артем успевал действовать багром гораздо быстрее, чем они огнестрельным оружием. Один из беглецов, рыжий, поднял карабин и выстрелил; от неумения он прижал приклад к щеке, и отдачей ему выбило зубы, рыжий взвизгнул и уронил оружие, а Артем метнул багор. В этот раз он использовал другой прием – ухватившись за самый кончик древка, сделал над головой широкое вращательное движение и выпустил багор, тот полетел, вращаясь, как палица, и угодил точнехонько в переносицу. Карабин, выпавший из рук рыжего, попытался подобрать другой каторжный, но он двигался слишком медленно. Отец, когда учил меня стрелять, говорил, что главное – это не скорость, главное – точность и уверенность в себе, Артем сочетал и то и другое. Он в три прыжка подскочил к уже мертвому рыжему, вырвал из него багор и, как бы продолжая это движение, вогнал крюк в шею другого каторжного, рванул в сторону, рассек мясо.

Грохнул выстрел. Именно грохнул, из-за того, что стрелок находился рядом, пуля прожужжала рядом с головой, я повернулась и буквально в пяти метрах от себя обнаружила китайца, пытавшегося перезарядить винтовку. Это был не каторжный, а именно китаец, видимо, он примкнул к бежавшим добровольно; на его лице я прочитала сильную ненависть к себе и не менее сильное желание меня убить. Он стоял так близко, что попасть в него не составило никакого труда; пуля угодила китайцу в шею и, видимо, раздробила позвонки – голова китайца склонилась набок, сам он, как тряпичная кукла, свернулся на другой. Синкай, прятаясь за камнями, вылез и принялся подкрадываться к оружию китайца, то и дело бросая на меня свирепые взгляды. На Артема набросились сразу двое каторжан, оба с топорами; нападавшие ими размахивали, теснили его к ручью, но действовали не очень умело, было видно, что оружия в руках они не держали давно, а тренировками с гирей в тюрьме пренебрегали. Я подумала, что Артем легко справится с ними обоими, но на всякий случай решила ему помочь и убила одного из нападавших выстрелом в спину. И тут же меня сильно толкнули в лопатки – за звуком выстрела не услышала

подкравшегося; я запнулась и, пролетев по инерции несколько метров, упала лицом в землю и немедленно, как учил отец, резко перекадилась в сторону. Но тут же получила удар сапогом по ребрам, хрустнула кость, каторжный пнул еще раз, выстрелить я не успела – негодяй навалился, надавил, прижав правую мою руку к земле, стараясь вывернуть кисть и добыть пистолет. Левую держал не так крепко, но держал, вырваться я не могла. От него воняло зверем, грязным гнилым медведем, не человеком, от этого сделалось страшно. Я подумала, что еще немного, и он заберет пистолет, а уж нажать на курок сможет и такое животное. И тогда я вспомнила еще один урок своего отца – я расслабилась, перестала сопротивляться, каторжный невольно подался вперед, и тут я напрягла шею и резким движением головы разбила своему противнику нос. Он дернулся, ослабил хватку, этого оказалось достаточно – круговым движением я вывернула кисть, направила ствол пистолета ему в бок и выстрелила. Каторжный съехал влево, оставив на мне свою кровь, сопли и вонь; я села и отряхнулась. Все это происходило как будто бы долго, но на самом деле длилось несколько секунд, ведь Синкай продолжал ползти к карабину и был уже близок. Я выстрелила, но попасть не смогла, потому что прежний поэт и журналист полз слишком ловко, короткими ящеричными перебежками, прячась за невысокими валунами и телами убитых айну. Было ясно, что с этого расстояния достать его не получится. Синкай помахал мне рукой. Улыбнулся, а затем прыгнул к винтовке, перекатился и поднялся уже с оружием. Скорее всего, он слишком уж торопился и приложил слишком мощное усилие, патрон смяло, и он заклинил затвор. Синкай в бешенстве отшвырнул карабин и бросился на меня с ножом. Я упустила несколько секунд – никак не могла осознать тот факт, что он хочет меня убить, как убил всех этих айну. И только когда я осознала окончательно, что он не собирается шутить, что все это серьезно – вот сейчас он вырвет мне горло, я выстрелила. Синкай точно наткнулся на прозрачное препятствие, пуля прошла навывлет сквозь легкое, и со следующим выдохом Синкай на губах его выступила кровь. Вид собственной крови привел поэта в неистовство, он завопил и кинулся на меня. Наверное, у меня все-таки дрогнули руки, наверное, я все-таки продолжала видеть в нем не обезумевшую кровожадную обезьяну, а человека, когда-то сумевшего меня удивить. В клетчатом пальто, он придумывал заклинания для снов среди холода и тоски разрушенного мира, давным-давно, поэт Сиро Синкай. Сиро Синкай продолжал бежать на меня, я выстрелила еще. Вторая пуля попала ему в плечо и вырвала сбоку крупный кусок мяса, Синкай рыкнул, но не остановился, бежал на меня со

своим кривым ножом. Я видела его глаза, залитые кровью, пожелтевшие от ярости, от ненависти и от боли, это было все-таки больно. Я выстрелила. Меня учили в таких случаях стрелять в ноги, обездвиживать противника, но в ноги я не попала, а попала в живот, три пули. Синкай, казалось, этого не заметил вовсе; бушевавший в нем пожар гнал его, он знал, что умрет, но хотел встретиться со мной. Я перевела пистолеты на автоматический огонь и нажала на спусковые крючки, руки дернуло вверх, я отпустила; пули врубались в туловище поэта и произвели с ним значительную ревизию – правый бок вместе с животом, кишками и мясом отошел и повис, а левую руку оторвало по самое плечо, но даже после этого поэт не упал. Еще несколько мгновений он стоял, разглядывая себя, кровь, хлеставшую из разорванных артерий, ошметки сухожилий и белые осколки ребер, торчащие в стороны, себя, уже мертвого. И пулю, ту самую, что влетела ему в рот, пробила щеку и выскочила вместе с зубами. А потом он упал.

Артем крикнул, я повернулась – в меня целился каторжный, в руках у него плясала винтовка, и я успела подумать: отчего неверна его рука – от ужаса, от желания убивать или от предчувствия смерти? И я снова сделала все так, как учил меня отец: быстро, но без паники, прицелилась и нажала на курок, и целившийся в меня каторжник подскочил на воздух, упал уже мертвым. Я отметила, что пистолеты оказывают на противника не только поражающее, но и деморализующее воздействие – грохотом, неотвратимостью, огненными вспышками, каждый мой выстрел достигал цели; каторжные, если в меня и стреляли, не попадали. Артем же продолжал орудовать багром, он делал это так умело, что я стала подозревать о существовании особого боевого искусства обращения с баграми, хотя, скорее всего, это была многолетняя практика. Прикованный к багру. На меня кинулся каторжный с дубиной, патроны в правом пистолете кончились, я застрелила его из левого, потом перезарядила правый, поменяла магазин, и в этот момент на меня бросились двое, заросшие и косматые каторжники, закоренелые душегубы, они были сильно перемазаны в крови. Их я тоже убила. Это получалось легко, по эмоциональности не отличалось от стрельбы по поленьям, ну, за исключением того, что поленья были полезными ресурсами, а каторжные нет. Артем дорабатывал оставшихся; они сопротивлялись, хотя и не очень сильно, было видно, что они смирились со своей участью, понимали, что пощады ждать не стоит. Превосходство Артема в смерти гораздо выше, он был на самом деле точно прикованным к багру, багор стал продолжением его руки, он доставал им врагов, колол, рубил, рвал, и, наверное, минуты за три все закончилось. Стоянка семьи айну оказалась залита кровью и

завалена мертвыми телами, те айну, что остались живы, исчезли, сбежав, не забыв освободить своих еще живых товарищей, привязанных к деревьям вниз головами. И один каторжный остался в живых, не знаю, как он уцелел, но теперь он очнулся и пытался спастись – скатился в ручей и попытался убежать, но вода была глубока, а камни скользки, он то и дело обрывался и падал; еще он кричал и смеялся. Я не могла разобрать что, хотя он кричал явно по-японски, видимо, за годы пребывания в каторге язык его смешался и спутался, сделался малоразличимым. Думаю, он умолял о пощаде. Но Артем не собирался никого щадить, он спрыгнул в ручей, поднял окатыш и, резко замахнувшись, как из пращи выпустил камень. Камень угодил в затылок. Затем Артем прикончил каторжного багром.

И всё.

Я посчитала – за несколько минут мы убили пятнадцать человек, хотя людьми они уже не были, не в полном смысле этого слова, но все равно они ходили, смотрели в разные стороны и когда-то были детьми. Кроме каторжных на поляне лежали восемь айну, пять мужчин и три женщины. Я раньше никого не убивала. Никого. Если честно, мне и не хотелось никого убивать. Но ничего необычного я не почувствовала. Артем подошел и улыбнулся; он держал в руках багор, чистый и блестящий от работы. Артем был доволен, взглянув на меня, он сказал:

– Я тоже.

– Что? – не поняла я.

– Я тоже раньше никого не убивал. Это странно, да? Хотя я участвовал...

Артем вдруг поморщился, захлебнулся воздухом, отвернулся в сторону. Его тошнило.

– Надо возвращаться, – сказал он. – Как можно скорее. Ты сможешь бежать?

– Бежать? А как же палатки...

– Бросаем все, кроме воды и оружия. Надо добраться до машины и спешить к Александровску. Хорошо бы добраться до машины часа за четыре...

Я кивнула. Но этого времени нам не хватило. Я бы успела, но Артем нет, он начал задыхаться еще на полпути, и, чтобы он не догадался, что я это заметила, я стала задыхаться сама. Скорость продвижения по тропе снизилась. Да и сама тропа изменилась, подъелась осыпями и пересеклась трещинами, некоторые были широки, и нам пришлось через них перепрыгивать. Спустя три часа у меня заболели ноги, и я попросила отдыха. Мы остановились в тени деревьев, на берегу Белого ручья,

отдыхали и пили воду. Я совсем не думала о том, что случилось недавно, ноги болели же. Сам ручей обмелел вдвое, по берегам открылись глинистые плечи, на которых шевелились длинные черви.

Артем тяжело дышал, но старался не подавать вида.

– Ты думаешь, тюрьма разрушена? – спросила я.

– Да. Второй блок точно, ты же видела этих. Надеюсь, что полковник смог оказать сопротивление, теперь это важнее всего.

– Да, это важно...

– Если трясение было сильное, то... – Артем поморщился и вытер лоб. – Возможно, нам не стоит идти к побережью.

– Почему? – не поняла я.

– Если Хираи сумел подавить восстание в городе и занял оборону, то есть шанс дожидаться эвакуации морем. Но, если честно, у полковника... не много шансов. Думаю, не стоит спешить к городу.

– Будем надеяться на лучшее, – сказала я. – Полковник Хираи показался мне решительным человеком, думаю, у него в арсеналах достаточно оружия.

Артем пожал плечами.

– Если толчки вызвали волну, то оружие вряд ли поможет, – сказал он. – Посмотрим. Так или иначе, надо спешить.

Я не стала спорить, и мы двинулись дальше, оставив ручей позади. Артем шел первым, осматривая окрестности, видимо, опасаясь засады.

Толчки не повторялись. Я не люблю землетрясения, в последнее время их слишком много. Не разрушительные, но назойливые, они портят посуду и двигают мебель, от землетрясений просыпаешься с песком в глазах и со страхом в душе. Артем больше ничего не говорил, слушал местность. И я старалась слушать, но ничего необычного, тихо. Когда такое случается дома, то никакой тебе тишины – сирены пожарных машин, вертолеты, крики, шум и суeta вокруг. Здесь же наоборот. Покой. От этого не по себе. Поэтому я держала руки поближе к пистолетам. Но нам никто не встретился, тропа от Белого ручья до места, где мы оставили вездеход, оказалась безлюдна. Повезло.

Артем запрыгнул за руль, я устроилась рядом.

– Мы едем к Александровску? – спросил Артем на всякий случай.

Я кивнула.

Артем повел. Русло пересохшей реки изменилось. Видимо, толчки отпустили ключи и русло наполнялось пыльной жижей. Машину кидало от берега к берегу, она подпрыгивала на корягах и камнях и буксовала в лужах, которые стали заметно глубже. Артем не берет машину, стараясь

проскакивать препятствия на скорости, перепрыгивая, переваливаясь, два раза срывали крыши с левой стороны, и Артем терпеливо их менял. Я даже не надеялась, что все разрешится благополучно. И боялась спрашивать Артема о том, что нам делать, если полковник Хираи потерпел неудачу.

Через некоторое время мы приблизились к Александровску, сам город не был виден, зато поднимающийся над ним дым можно было разглядеть, наверное, с другого конца острова. Артем сказал, что въезжать в город на машине опасно, лучше оставить ее здесь и осмотреться. Мы снова укрыли машину в зарослях кустарника, поднялись на сопку... Перед нами предстал Александровск.

Артем долго смотрел на догорающий город, а потом сказал, что нам не следует спускаться с горы и, пока еще есть возможность, следует сесть в машину и как можно скорее ехать в Тымовское. Скорее всего, толпа из Александровска отправилась туда коротким путем через тайгу, у нас же с машиной будет преимущество и шанс добраться дотуда первыми. Если Тымовское не разрушено землетрясением, то откроется возможность отступления на юг, под защиту сил самообороны и береговой охраны.

– Мы идем в город, – сказала я.

Я понимала, что Артем прав, понимала, что спускаться с сопки опасно, но я рассудила по-другому: третий корпус Александровской тюрьмы уцелел, и мы могли рассчитывать на то, что полковник Хираи и солдаты охраны сумели удержать оборону, сумели устоять в этой вспышке беспощадной и животной ярости. Мы могли бы объединиться с ними и дальше действовать по обстановке. Артему это не понравилось, но спорить он не стал, и мы стали спускаться.

Город еще дышал жаром, и нам приходилось держаться подальше от линии огня, который, подъев съедобное, теперь пытался добрать и несъедобное, поглотить камни и землю. Сцены свершившегося насилия встречались нам на всем протяжении пути; городские строения выгорели практически полностью, на месте поселения возникло широкое дымящееся пятно, по краям которого во множестве лежали тела погибших, причем характерной особенностью являлось то, что все без исключения они погибли не от огня, а были заколоты или растерзаны другим способом. Некоторые из погибших были раздеты и разуты.

Спустившись к реке, мы обнаружили, что американец в позорной клетке оказался жив и невредим, он нечеловечески заверещал, когда мы проходили мимо. Он вообще вел себя странно, ни на секунду не замирал, быстро и умело перемещаясь по решеткам, причем не только по полу, но и

по стенам и потолку, цепляясь ногами, точно превратился в обезьяну.

Мост, переброшенный через Александровку, прогнуло земным ударом, казалось, что берега реки сошлись на несколько метров и эти же несколько метров вспучились вверх, так что мост приобрел форму лука; при этом вспучивании железные конструкции ферм потрескались, и теперь мост сделался почти не пригоден для перехода. На самом мосту мы нашли еще несколько трупов, погибшие были задавлены и растоптаны, я осторожно посмотрела через изуродованные перила и обнаружила, что внизу, на камнях, и в самом русле реки лежит еще множество тел – видимо, толпа, после землетрясения кинувшаяся в сторону тюрьмы, не имела никаких планов, кроме жажды расправы над символом их несчастья; эта толпа не вместилась на разрушенный мост и многих же из собственного числа задавила и вытолкнула за перила.

Но на другом берегу реки перед нами предстало еще более ужасное, жестокое, зверское зрелище. Впрочем, душа моя ответила на этот кошмар уже спокойнее, видимо, я начинала привыкать.

Площадь перед тюрьмой была завалена трупами. В основном солдаты и чиновники, разбросанные кое-как, по ним было видно, что смерть не застала их врасплох и они сумели оказать ей некоторое сопротивление – почти все тела оказались изувечены и имели на себе явные признаки борьбы. Рядом с ними лежали многочисленные китайцы, убитые преимущественно из огнестрельного оружия; самого оружия, кстати, я не заметила, его забрали бунтовщики. Заметила я и нескольких каторжных – одному из них размозжили голову его же ведром, другой, похоже, умер от удара – лицо его имело багровый цвет, а глаза выпучились.

Среди лежащих на площади не осталось раненых. Только мертвые.

На воротах тюрьмы, которые как всегда оставались открыты, вниз головой висел полковник Хираи в парадном белом мундире. Его живот был вспорот, и кишки вывалились наружу. Рядом с ним, тоже вниз головой, висела его жена.

Территория «Трех братьев» оставила на себе следы дикого бунта и разграбления. Всюду лежали солдаты охранной роты, ветер носил по плацу обрывки бумаги, чугунные ведра встречались во множестве – первым делом заключенные освобождались от них. Было ясно, что найти что-то полезное на территории невозможно, и непонятно, зачем мы тут, а с другой стороны разницы ведь нет.

Возле самых ворот рядом с растерзанным телом охранного солдата лежал труп человека, умершего жуткой и изобретательной смертью. Надзиратель второго блока, увлекавший заключенных резьбой по камню, –

он лежал на спине, с открытым ртом и открытыми же глазами, в которые кто-то мстительно вбил по горсти земли, в широко же открытом окровавленном рту чиновника темнели каменные миниатюры животных и рыб.

Артем предположил, что надзирателя заставили глотать фигурки до тех пор, пока они не прорвали ему внутренности, он указал на живот чиновника, неестественно выпученный.

– Хотя, может, и нет, – сказал он. – Скорее всего, их вбивали ему в глотку. Правда, не знаю как. Но, думаю, они нашли способ.

Возле подстанции на скамейке как ни в чем не бывало сидел легендарный людоед Накамура; он с печалью кутался в пластиковые одеяла и не знал, что делать; на мой вопрос, почему он не сбежал вместе с остальными, Накамура ответил, что он полностью исправился и раскаялся в содеянном, годы, проведенные в тюрьме, его перевоспитали и поселили в душе покой, и он не собирается пускаться в бега как собака, он человек здравомыслящий.

Артем поднял багор, но потом опустил. Накамура улыбнулся.
Ну да.

Ты же знаешь, за воротами райского сада еще жив единорог.

Ты знаешь, за воротами райского сада тебя еще ждет единорог.

И гвозди блестят, до сих пор как новые, я видел это.

Они отлиты из звездной меди, они светятся в темноте.

Милая моя девочка, почему же ты еще веришь в звездную медь?

Ты́мь

Стоял солнечный и прозрачный день. Если верить книгам и записям, такие на Сахалине в былые времена приключались не часто, погода не радовала жителей. Однако в наши дни, во всяком случае, во время моего путешествия по Карафуту, погода держалась преимущественно хорошая. Пожалуй, чересчур хорошая, от этого меня каждую секунду преследовало странное чувство разлада между небом и миром, тем, что в этом мире происходило, чувство нереальности, точно я отправилась в путешествие на Марс. Как в той книге, где человек летит на Марс в глубоком стазисе, а когда выходит из него, выясняется, что корабль промазал и вернуться нельзя, и теперь только вперед, вперед. Жизнь продолжается, смысла никакого в этом нет, но она продолжается, звезды вокруг прекрасны, недостижимы. На Марсе голубое небо – так сообщали первые колонисты.

Дорога, ведущая на север, была пустынна; сопки покачивались перед нами в легком изумрудном тумане; в приоткрытые окна залетал прохладный, пахнувший свежим снегом воздух; по обочинам разливались цветы, берега ручьев, через которые пролетал наш автомобиль, покрывала свежая трава; небо дремало на сопках, и если бы не трупы, через каждые полкилометра попадавшие на пути, можно было представить себя в прошлом. В мире до поворота, где еще не случилась война, в котором тишина еще не отдавала мертвечиной.

Наше возвращение в Тымовский округ выдалось безрадостным и отчасти опасным, то и дело мелькали в придорожных кустах оборванные фигуры, и уже не получалось понять – это беглые каторжные или прижилые китайцы, или корейцы из подлых, впрочем, никаких действий в нашу сторону они не предпринимали. На всякий случай я держала рядом с собой карабин, подобранный на месте случившейся в поселении айну бойни, и пятьдесят патронов в карманах.

Артем говорил, что нам очень повезло – мы избежали участи полковника Хираи, его жены и товарищей; видимо, это случилось из-за того, что толпа бунтовщиков стремилась попасть в Тымовское и не собиралась терять времени на отвлекающие от этой задачи зверства. Артем хмурился, он не отрывался от руля, вел машину быстро, опасно, но на постоянной скорости, сосредоточенно.

Мы опаздывали. От Александровска до Тыми по дороге около шестидесяти километров, если по прямой – короче. Артем считал, что

успеть в Тымовское до каторжников еще возможно, вряд ли они сумеют добраться до Тыми за два дня. Потому что они идут пешком, местность же между сопками труднопроходима, в ней легко увязнуть.

В Александровске имелись автомобили, но, скорее всего, чиновники администрации, видевшие разгром тюрьмы, удрали именно на них. Основная же масса заключенных, равно как и лиц прочего александровского населения, уходила к Тымовскому пешком и кое-как. В том, что они направляются в долину Тыми, Артем не сомневался.

– Они идут туда, – сказал он, прибавляя скорости. – Только из Тымовского есть дорога на юг, а они хотят прорваться на юг.

– Зачем? – спросила я. – На юге их встретят части самообороны. Это самоубийство.

Артем промолчал; я так поняла, он не очень верил в части самообороны и их боеспособность.

– Почему же тогда Синкай бежал на север? – спросила я.

– Он ненормальный, – ответил Артем. – Возможно, он планировал захватить судно на прибрежном северном посту, не знаю. Ты говорила, что он вроде умный.

Умный, да. И пожалуй, определенная логика в бегстве на север была: север Сахалина мало заселен – суровая природа, недостаток ресурсов, человек неприспособленный вряд ли там выживет. Помимо этого, на севере, примерно в полусотне километров от Александровска, расположена засечная черта, состоящая из километров колючей проволоки, минных полей, застав, рассыпанных плотным ожерельем поперек всего острова. Что происходит за этим кордоном – неясно, поскольку информация является секретной, но вполне могло случиться, что тот же Синкай, в свое время наверняка имевший определенный доступ к государственным тайнам, мог знать про север больше. Каторжники у него были отчаянные, так что идея напасть на пограничную заставу представлялась достаточно здоровой.

Остальным бежать на север было незачем. Впрочем, поход на юг представлялся мне тоже сомнительным предприятием – юг перенаселен и голоден, принять беженцев он не в состоянии. В паническом стремлении к югу я видела лишь эффект стада – побежала администрация, и вслед за ней, скоро пресытившись насилием и вандализмом, устремились остальные.

Артем резко сбросил скорость, а затем ударил по тормозам – поперек дороги стоял большой колесный трактор оранжевого цвета, к трактору была прицеплена длинная волокуша. Видимо, часть жителей Александровска пыталась бежать на нем, но горючее кончилось почти

сразу, трактор они бросили и, скорее всего, продолжили путь пешком. Дорогу он перегородил плотно – слева сопка, практически отвесный каменистый склон, поросший редким кустарником, справа обрыв в довольно глубокую канаву, объехать никак.

Артем выругался и стал нервно чесать голову.

Я не знала, что посоветовать. Наверное, следовало бросить машину и следовать примеру китайцев и каторжных – уходить пешком. Но тогда мы гарантированно опаздывали – волна из разгромленного Александровска докатилась бы до Тымовского непременно раньше нас, и уйти с администрацией не получилось бы.

Артем выругался еще, на сей раз с использованием неизвестной брани, скорее всего, китайского происхождения или корейского, возможно, это были слова Прикованных к багру. Наругавшись и успокоившись, он велел вылезти из машины и отойти в сторону. Я послушалась, отступила, держа наготове карабин, пистолеты же оставив в кобурах. Патронов осталось около сорока штук, это мало, я не взяла с собой запас, не ожидая, что их придется тратить так много и скоро. Пока же я решила в случае опасности пользоваться по возможности карабином.

Артем тем временем отцепил от трактора волокушу и стал толкать ее к канаве бампером нашей машины; думаю, волокуша весила никак не меньше двух тонн, сдвинуть ее не удалось даже внедорожнику – колеса закопались в грунт, запахло горелым сцеплением и горелой резиной покрышек. Артем изменил тактику, прицепил к волокуше трос и стал пытаться развернуть по-другому, дергая с небольшого разгона. Это было опасно, трос мог лопнуть и ударить по машине – это раз, а во-вторых, лопни трос, Артем рисковал не успеть затормозить и вылететь в канаву, впрочем, его это мало волновало, он подъезжал вплотную к волокуше, врубал скорость и рывком в три метра старался сдвинуть ржавые железные салазки. С третьей попытки ему это удалось – волокуша сдвинулась сантиметров на двадцать, что придало Артему уверенности, и он продолжил газовать и рвать.

В результате этих манипуляций Артем подтянул волокушу вплотную к обрыву, между ней и трактором открылся некоторый просвет, в который мог протиснуться наш автомобиль. Артем направил машину в этот просвет и застрял.

Я кинулась к нему на помощь, но он рывкнул, чтобы я не подходила, но я все равно сделала шаг. И упала. Земля плясала подо мной как живая, точно где-то в глубине планеты под толстым черепашьим панцирем литосферы проснулись и зашевелили плавниками ленивые киты, и их

плавные движения потерялись в дрейфующих плитах и дошли до поверхности мощной мелкой тряской. Я вцепилась в землю, а она вырывалась из рук, выкручивала пальцы.

Край дороги осел, и волокуша стала проваливаться в открывшуюся яму. Я закричала. Артему стоило поторопиться – машина зацепилась дверцей за волокушу, и та тянула автомобиль в провал.

Артем не выскочил. Машина ревела, билась, передние колеса задралась и повисли в воздухе. Но он удержался. Машина освободилась, почти что вцепилась покрывками в землю. Трактор и часть дороги съехали в яму. С сопки скатилось несколько камней, все стихло, больше не трясло.

Артем высунулся из машины и помахал мне рукой.

Я поднялась с земли, закинула за плечо карабин, бережно ступая по камням, прошла мимо каменной стены сопки. Сопка сломалась и потрескалась, как старый зуб, в открывшиеся щели сочилась вода. Артем ждал, не гася двигатель.

Я устроилась на пассажирском сиденье, и Артем покатиł дальше. Он ехал еще быстрее, машину кидало, лобовое стекло треснуло стрельнувшей галькой, гремела полувыврванная дверца. Я мало думала, держалась за ручки и упиралась ногами, вжималась спиной в кресло. От тряски было трудно дышать, воздух выбивался из легких, не успевая впитываться в кровь, я задыхалась, или это от пыли, непонятно. Землетрясение подняло в воздух взвесь, скопившуюся в высохшей хвое лиственниц, эта пыль проникала в машину, просачивалась сквозь щели и трещины лобового стекла, скрипела на зубах и резала глаза.

Двигатель начал чихать, воздушные фильтры закидало, Артем газовал, задираł обороты, когда мы поднимались на сопки, где пыли было не так много, Артем пробивал пылевые спайки и давал мотору раздышаться, но становилось ясно, что надолго машины не хватит. В низинах мощность падала, Артем буксовал сцеплением, высовывался с водительского места и стучал ладонью по шнорхелю, двигатель оживал, машина снова карабкалась вверх.

– Если повезет, у нас будет час, может, два. – Артем выбивал пыль из фильтров. – Боюсь, что губернаторского вагона в этот раз добыть не получится, придется кое-как, на боках. Хорошо, если...

Мы выбрались на сопку и остановились.

Дым поднимался над ржавым лесом, там, где в долине реки находилось поселение Тымовское. Судя по всему, мы опоздали, да, мы опоздали.

Артем молча достал карту и стал изучать. Старая, наверное, еще

довоенная, в два слоя переклеенная пластиковой пленкой, очень подробная карта. На ней были обозначены все второстепенные дороги, и некоторые тропы, и просеки, и ручьи, это была даже не карта, а фотография, сделанная с орбиты спутником, сейчас таких найти нельзя, потому что спутники давным-давно сбились с пути и осыпались в уснувший океан.

Пыль не оседала. Самые тяжелые ее части опускались на землю, но мельчайшая взвесь колыхалась, удерживаемая в воздухе вибрацией, которую я чувствовала на своих щеках.

Артем чихнул и поморщился. Если Тымовское действительно захвачено, то прорваться через него будет непросто, поскольку те, кто не успел эвакуироваться поездом, пойдут по автомобильной дороге. То есть вообще не прорваться. Если захвачено.

– Лучше нам все-таки поторопиться, – сказал Артем. – Двигатель наглотался пыли, думаю, скоро прогорит. Надо выжать из машины, что получится.

Мы поехали дальше.

Мощность двигателя упала, наверное, вполовину. Теперь хоть какой-то скорости удавалось добиваться только под уклон, подъемы машина одолевала с трудом, мне то и дело казалось, что она сейчас всхлипнет, остановится и покатится назад; казалось, что Артем удерживает машину сам, своими руками, навалившись на руль и стиснув зубы.

Он удержал ее.

Через полчаса мы выбрались на склон очередного холма и увидели внизу реку Тымь, вторую по величине реку острова. Кажется, в переводе «Тымь» означало «нерестовый ручей» или что-то в этом роде, хотя уже давно в этом названии не было ни малейшего смысла. Я бы лучше назвала ее «извилистой рекой» или «косой», а Артему было плевать, как она называется.

– Возможно, мы успели, – сказал Артем. – Возможно.

Спуск с холма занял время, дорога здесь тоже потрескалась, многие участки съехали, и Артему пришлось потрудиться, чтобы не упустить машину. Река огибала холм и терялась за другим, внизу белел узкий бетонный мост. Поворачивать поздно.

На дороге у самого моста стоял человек с пулеметом в руках. Я уже тянулась к пистолету, когда Артем схватил меня за руку, он надавил на тормоз, и машина встала в двадцати метрах от опасности.

Человек с трудом удерживал пулемет, он оттягивал его плечи и выглядел не по размеру, но было ясно, что в случае чего оружие пустят в дело.

– Выходим, – сказал негромко Артем.

– Но он один, – попыталась возразить я. – Я могу его легко снять, я попаду, здесь недалеко. Он же пулемет еле держит.

– Выходим, – повторил Артем. – Выходим.

Он заглушил двигатель, и мы выбрались из машины. Артем держал меня за руку, держал крепко, так, чтобы я не могла вырваться.

– Спокойно, – сказал Артем. – Никаких резких движений.

Я подчинилась.

Мы медленно и как бы невзначай отошли в сторону. Тут же из окрестных кустов и травы выскочило невероятное количество китайцев; они с криками кинулись к нашей машине и стали в нее забираться. Никогда не могла подумать, что во внедорожник может поместиться столько людей. Китайцы толкались, дрались, кусались, бодались головами, утрамбовывали друг друга; на переднее сиденье вместились пятеро, на заднее я посчитать не успела, но никак не меньше десятка. А снаружи оставались еще человек двадцать желающих ехать.

– Спокойно, – повторил в пятый раз Артем. – Спокойно.

Оставшиеся открыли заднюю дверь машины и принялись выкидывать на дорогу наши припасы, тюки, рюкзаки, канистры, все, лишь бы освободить еще хоть немного места для себя; они вышвырнули все и почти все втиснулись в багажник, а те, что не влезли, забрались на крышу. К моему совершенному удивлению, в машину поместились все, она просела, больше скосявшись на левый борт, а потом один из китайцев забрался на место водителя и запустил мотор.

Машина двинулась и сразу остановилась, двигатель завыл, но справился. Из кустов выскочила еще одна компания китайцев, водитель прибавил газу и покатил дальше, постепенно увеличивая скорость; китайцы, не успевшие занять себе место, бежали рядом.

Человек с пулеметом, карауливший у моста, закричал, чтобы они остановились и взяли его, но китайцы, захватившие машину, останавливаться не собирались, хотя вполне могло стать, что они попросту не умели управлять; машина пролетела мимо пулеметчика, оставив его на дороге. Он завопил и побежал вслед своим уезжающим товарищам, но они и не думали его ждать, тогда он завопил отчаянней, вскинул пулемет и стал стрелять.

Машина въехала на мост, металлические пластины грохотали под колесами, и пулемет тоже грохотал; этот человек, вопреки моим предположениям, оказался неплохим стрелком; несмотря на свою худобу и на то, что пулемет был практически с него ростом, почти все пули легли в

цель.

Китайцы, бежавшие рядом с машиной, рассыпались по сторонам, некоторые, не придумав ничего лучшего, прыгнули с моста; китайцы же, сидевшие на крыше, разлетались, сбитые пулями, но сами не спрыгивали, стараясь держаться до последнего. Впрочем, пулеметчик довольно быстро застрелил водителя, и машина въехала в отбойник. Но китаец не остановился, он стрелял и стрелял, от машины отлетали куски металла, стекла и мяса, а потом она загорелась. А стрелок внезапно закашлялся и сломался пополам; пулемет он уронил на землю, сам же упал рядом на колени.

Мы все это время стояли у обочины и смотрели. Когда машина взорвалась, Артем сказал:

– Так.

После этого он принялся стаскивать наше добро с дороги и забрасывать в кусты, под насыпь, я присоединилась к нему. Мы довольно быстро перенесли припасы в заросли. Артем был в хорошем настроении, я этого не понимала, ведь машина потеряна. Артем сказал, что машину у нас так и так отобрали бы, и отобрали бы со снаряжением, а так снаряжение осталось у нас. Артем выбрал необходимое, после чего мы в три подхода переместили эти грузы к реке. Я опасалась засады или встречи с каторжными, но Артем не беспокоился на этот счет, полагая, что бунтовщики, равно как и китайцы, не станут удаляться от дорог и троп, так что угроза встречи с ними невелика. На реке их можно не опасаться – в маловодье реки проходимы лишь для резиновых лодок, а их достать нелегко.

Тынь – неширокая река, вливающая между бесконечными сопками, она однообразна и утомительна, привычно сужаясь в берегах и расширяясь на плесах и поворотах, Тынь упрямо течет к северу. Сплав (точнее сказать, подъем) оказался трудным, прежде всего в силу того, что трехместная лодка, которая оказалась в нашем распоряжении, не предназначалась для длительного путешествия по мелководью. После установки мотора и погрузки припасов и канистр с бензином свободного места осталось не так уж и много. Артем устроился на корме рядом с мотором, я же расположилась на носу.

Река сделала несколько поворотов и вывела нас к Тымовскому. Пожалуй, по количеству населения и внешнему виду самого города Тымовское мало отличалось от Александровска, разве что тюрьмы здесь не было, в результате чего в архитектуре отсутствовала генеральная доминанта. Капитальные строения сохранились вдоль береговой линии и

находятся в плачевном состоянии, их разрушение было столь серьезно, что выделить среди них административные здания не представляется возможным.

Местность, в которой располагается Тымовское, серьезно отличается от других местностей Сахалина – здесь она подчиняется больше горизонтальным линиям: сопки здесь невысоки и больше напоминают пологие холмы, немногочисленный лес высох и перегорел, впрочем, как и везде в долине Тыми и Пороная. Но если в районе Углегорска выгоревший лес перерабатывают в древесный уголь, то здесь этот промысел не развит совершенно, и лес, выгоревший несколько раз и превратившийся в уголь, потребляется исключительно здешним населением. Таким образом, в экономической жизни острова Тымовское никакой заметной роли не играло, выступая лишь как перевалочный пункт между югом и севером.

Население Тымовского насчитывает примерно семьсот тысяч человек, во всяком случае, насчитывало до землетрясения. К моему удивлению, не все из них покинули берег – и по городу бродили компании людей, вооруженные чем попало, и занимались мародерством, хотя это могли быть и александровцы. На нас они внимания не обратили, целиком поглощенные своим занятием.

Никакой власти на берегах нами замечено не было, город горел, и больше та его часть, что располагалась на сопках. Я насчитала несколько очагов, дым от которых соединялся и поднимался расплывчатой тучей.

Я поинтересовалась, есть ли у Артема некоторый план нашего возвращения на юг, он ответил, что есть некоторые соображения. Он полагает, что на юг лучше уходить по воде, во всяком случае поначалу, отступать по автомобильной дороге и по дороге железной он считает смертельно опасным, поскольку она будет непременно заполнена беглецами из Александровска и Тымовска. Добравшись до цивилизованных территорий, сохранивших управление и администрацию, следует выйти к дорогам, пока же лучше придерживаться глуши.

Тымовское миновали быстро и без происшествий. Передвигались мы медленно, лодка была перегружена, и двигатель не справлялся, частенько переходя на повышенные обороты и разворачивая лодку бортом к течению. Артем ругался и выруливал, но нас все равно успевало снести на несколько метров. Впрочем, скоро Артем открыл более эффективный способ борьбы с течением – брал под углом к потоку и шел зигзагами. Сама река скорости тоже не способствовала, мы поднимались к верховьям, и по мере продвижения проходимые участки встречались все реже и реже, жаркое лето и маловодье, каменистые отмели и привычные деревья поперек русла.

Но здесь лебедки не было, приходилось то и дело выбираться на берег и перетаскивать лодку посуху, а в самых мелких местах мы впрягались в нее вместе и волокли.

Через пятнадцать километров Артем причалил в удобном месте, где излучина реки создавала пляж из мелкой гальки. Мы нагрели воды и пообедали бульоном с сухарями.

Артем молчал и выглядел спокойным. Я же пребывала в смятении. Я находилась за гранью смятения, в карте моих эмоциональных реакций не находилось нужного образца, я не знала, как себя вести. То, что случилось со мной в последнее время... Наверное, если бы рядом со мной не было Артема, я бы кричала. Артем это понимал. Во всяком случае, он не задал ни одного лишнего или глупого вопроса, и я была ему за это благодарна.

После бульона Артем объявил полчаса отдыха. Я не знала, чем заняться, и с тревогой смотрела на ручей, опасаясь нежелательного визита, проверяла пистолеты и разминала кисти.

Артем занимался камнями. Он сгреб вокруг себя множество гальки и неровных камней размером с кулак и составлял из них башню. У него определенно был к этому талант – совсем не подходящие друг к другу камни находили общие точки и выстраивались как мидии в садке вдоль направляющего троса, и строение росло, быстро достигнув полутора метров и сохранив при этом толщину в запястье. Думаю, Артем смог бы поднять сооружение и выше, однако ему стало лень вставать, сидя же он доставал рукой только до полутора метров. Положив последний камень, Артем толкнул башню в основании, и камни рассыпались. Артем сказал, что нам пора.

Наше дальнейшее продвижение в верховья Тыми было трудным и утомительным. Река становилась уже, и бороться с отмелями и упавшими деревьями становилось все сложнее. Я устала, Артем устал, но виду не подавал. На закоряженных отмелях он брался за линь и тащил лодку поверх коряг, я шагала рядом. Если поперек русла лежало сгнившее дерево, мы брались за лодку вместе и вместе перетаскивали ее на открытую воду. Я видела, что он устал. Иногда он забывался и, взявшись за линь, отдавал мне багор, хотя обычно со своим оружием не расставался.

Это был странный предмет. Чрезвычайно удобный, ловко ложившийся на предплечье, практически с идеальным балансом. Едва багор оказывался у меня в руках, я немедленно ощущала желание метнуть его. Но я не осмеливалась это сделать.

Через три часа после привала мы встретили человека. Он сидел за одним из поворотов на каменистой отмели. Он не скрывался и, увидев нас,

помахал рукой. Мы приблизились.

Старый каторжный, лет пятидесяти, сидел у костра, сушил портянки, развешанные по корягам, грел ноги и улыбался. Рядом на валунах лежала легкая байдарка, на которой он, видимо, и умудрялся перемещаться против течения.

Мы поинтересовались, застал ли он бунт в Тымовском и возможно ли убраться железнодорожным транспортом? Каторжный сказал, что возможность уехать на поезде пропала после первого сильного толчка, разгром в Тымовском он не застал, потому что понял, к чему все движется, и убрался заранее. Японец улыбнулся.

Я не согласилась. Землетрясение, может, и повредило инфраструктуру и систему управления, но это временные трудности, в ближайшее же время бунты и возмущения будут подавлены и порядок непременно восстановится.

Японец улыбнулся снова.

– А вы разве не знаете? – спросил он.

– Нет, – ответила я. – Мы были в экспедиции, мы ничего не знаем.

– В экспедиции? – Теперь удивился уже каторжный. – Забавно. Я не слышал этого слова много лет... Знаете ли, я некогда служил инженером...

– Чего мы не знаем? – довольно невежливо перебила я.

– Карафуто больше не остров, – негромко сказал каторжный.

Я не расслышала, и он повторил. Сахалин больше не являлся островом. Во всяком случае, слухи ходили именно такие.

– И я полагаю, что это так, – сказал каторжный.

Сам он жил в Тымовском двенадцатый год, отбив до этого пятнадцать лет в «Трех братьях», занимался сельским хозяйством, держал небольшой рыбный садок, там многие такие держали. Продавал рыбу. Землетрясения и раньше случались, и достаточно часто, последние десять лет трясло не переставая, почти каждую неделю. Но несильно. Конечно, в новых домах вторые этажи редко кто осмеливался надстраивать, но во время толчков никто на улицу не торопился. Однако толчок, случившийся три дня назад, был другой, мощный и разрушительный, его не перенесла даже водонапорная башня, построенная по сейсмоустойчивой технологии, кроме того, с сопок сошли оползни, похоронившие под собой несколько кварталов в восточной части поселения.

Неприятности в Тымовском отнюдь не редкость; так, восемь лет назад в дождливое лето Тынь разлилась и затопила часть поселка, расположенную в низинах, были уничтожены поля проса, смыты посевы овса и других культур, однако администрация оперативно решала все

проблемы. Но в этот раз события развивались иначе: после первого же толчка администрация Тымовского, не мешкая, погрузилась в вагоны и автомобили и отбыла на юг, бросив поселение на произвол судьбы. Когда жители пришли к зданию окружного управления, они увидели, что это бегство – чиновники уходили, бросив всю документацию, оставив личные вещи, не допив чай и не доев лапшу. Впрочем, в суматохе отступления нашлось время на рации – их разбили и растоптали, так что никакой связи не осталось.

Среди поселенцев нашелся военный, в свое время служивший в береговой обороне, позже разжалованный и сосланный по решению трибунала в Александровск; он неплохо знал пролив и утверждал, что одного хорошего землетрясения достаточно для того, чтобы поднять между материком и островом мост достаточной ширины.

– Разве это возможно? – спросил Артем.

– Вполне, – кивнул каторжный. – Вода и без этого постепенно уходила из пролива, через несколько тысяч лет она ушла бы вовсе. Но землетрясение сделало это гораздо быстрее. Там... – Он махнул рукой в сторону севера, – там теперь перешеек. Суша. И поэтому все бегут. Все боятся.

– Чего боятся? – спросила я.

– Все боятся бешенства. Вспышки. Боятся, что власти зачистят территорию.

– Как? – продолжала глупить я.

Каторжный снял с ветки портянки и принялся наматывать их на ноги с необыкновенной тщательностью, удовольствием и улыбкой.

– В наши дни территорию зачищают одним способом, – сказал он. – Он быстр и эффективен. И никто под этот способ не хочет попасть. Поэтому все бегут на юг. И я бегу, и вы бежите. Все.

Артем промолчал.

– Но может, это и не так, – вздохнул каторжный. – Возможно, бегство связано лишь с бунтом в «Трех братьях». Там томилось много решительных людей... Тогда ничего страшного не произошло, все, как вы говорите, – бунт подавят, и порядок вернется.

Он встал, попрыгал и стал подкачивать надувные камеры байдарки насосом-лягушкой. Нам тоже пора было отправляться дальше. Артем поволок лодку к воде и стал проверять мотор, я осталась рядом с костром.

Каторжный продолжал спокойно подкачивать лодку, он не спешил и не суетился, видимо, годы тюрьмы и жизни в поселении научили его не торопиться.

– Что вы думаете о будущем? – спросила я у него.

Он ответил не сразу.

Артем услышал и засмеялся. Он и потом смеялся, по пути, вспоминая про лисицу и петуха.

– Только дурак может посадить лису и петуха в одну клетку, – говорил Артем, прибавляя газу. – Только полный дурак, полный дурак, Чек и то его умнее.

Поронай

Когда стало ясно, что река Тымь поворачивает на восток, мы сдули лодку и двинулись дальше пешком. Артем взвалил на себя две десятилитровые канистры, мотор и лодку, я несла палатки и еду. Карабин оставили, но патроны Артем закинул в рюкзак.

Местность от реки Тыми до истоков Пороная походила на огромное болото: деревья, некогда росшие на его месте, высохли и почернели, но еще упрямо стояли, отчего создавалось впечатление замкнутого пространства и одновременно простора. Мох под ногами был мягок, ям с жижей попадалось немного, Артем старался идти между крупных кочек, и у него получалось выбирать относительно сухие места. Несколько донимали комары, пришлось задействовать репеллент, но они умудрялись прорываться, жужжали над ухом и лезли в глаза. Артем, чтобы меня подбодрить, рассказал о некоем оводе, который был занесен ураганом из Китая, прижился на острове, размножился и стал опасен: этот овод, пролетая мимо жертвы, выбрызгивает ей в глаза личинок, и личинки впоследствии глаза выедают.

Мы ориентировались по солнцу и по карте, но мне все время казалось, что Артем поглядывает на небо и на планшет для того, чтобы успокоить меня, поскольку дорогу он знал и так – есть такие люди, которые всегда знают, куда надо идти, пусть даже они ни разу не преодолевали эти места.

Болота казались бескрайними, но я знала, что скоро мы преодолеем их – к востоку начинались сопки, смутно различимые сквозь влажный воздух, а по западу проходила железнодорожная линия и рядом с ней обычная дорога. Западный ветер приносил гарь, что подтверждало правильность выбора пути.

Толчки не повторялись. Погода установилась удивительно гладкая и спокойная, безветренная и легкая, и мы пробирались через долгий светлый день, словно мы застыли в нем; наверное, это было неплохо. Солнце раздвоилось и позеленело, тени исчезли, заболели глаза.

Артем оставался невозмутим, и его настроение передавалось мне. То, что случилось в последние дни, казалось нереальным, произошедшим будто не со мной. В душе установились покой и непонятная уверенность. Я улыбалась и думала о каких-то неуместных сейчас вещах: о прогулочных велосипедах, о вечных лампочках, о коврике в прихожей нашего дома, о который я запинаясь в детстве, а однажды сломала палец на левой ноге. О

шляпах. Вдруг захотелось шляпу и почитать книгу, лучше стихи.

Иногда я останавливалась и разглядывала мох. Артем терпеливо ждал.

Иногда я разглядывала камни. Здесь попадались необыкновенные камни, похожие на метеориты: оплавленные куски черно-синего металла и пупырчатые прозрачные стекла. Артем говорил, что это части корейских баллистических ракет, запущенных с подводных лодок и перехваченных над Карафуто, но счетчик показывал лишь незначительное превышение обычного фона.

Иногда с запада приносило миражи. Над Татарским проливом миражи – обычное явление, многие капитаны судов береговой охраны коллекционируют и систематизируют эти атмосферные феномены, существует даже общество, изучающее фата-морганы. В свое время сам профессор Ода отдал время изучению миражей, однако никаких определенных выводов сделать не смог. Как правило, миражи являли картины сожженных и уничтоженных городов, некоторая, незначительная часть представляла собой хрономороки, определить эпоху происхождения которых не представлялось возможным. Но существовала также крайне малая часть явлений, вид которых не объяснялся ни прошлым, ни настоящим. Ими и интересовался профессор.

Во время нашего похода до нас долетали исключительно погибшие, лежащие в руинах города. Я наблюдала за ними с интересом, Артем, напротив, отказывался смотреть, утверждая, что его товарищ Чек не советовал засматриваться на мороки и прочие видения.

Но я смотрела.

Несколько раз мы вброд переходили пересохшие ручьи с лужами застоявшейся воды, кишачей червями и непригодной для питья, несколько раз встречали вросшую в землю старую технику, брошенную здесь, наверное, еще до Войны, долго поднимались на пологий, но длинный холм, который являлся водоразделом между Тымью и Поронаем.

Каждые три часа мы делали остановку и пили воду, было жарко, и риск получить обезвоживание оставался высок; постепенно я стала отмечать, что наши перерывы становятся все длиннее и длиннее, у Артема начали дрожать руки. Мне кажется, у него проблемы с сердцем, дистрофия или что-нибудь в этом духе, выносливости никакой, дышит, как старый астматик. А может, он и есть астматик. Но виду старается не подавать, Прикованный к багру.

К вечеру одолели километров двенадцать. На ночь остановились на небольшом островке, поросшем папоротником. Я набрала хвороста, развела костер и стала варить кашу, Артем удалился в болото и вернулся с

котелком незрелых ягод клоповки. В свежем виде она действительно изрядно пахивала клопами, но Артем сказал, что так употреблять ее гораздо полезнее. Он подобрал чистый круглый окатыш и принялся давить им клоповку прямо в котелке; когда та превратилась в жижу, Артем залил ее водой. Получился пахучий горьковатый сок, который следовало пить маленькими глотками; по уверениям Артема, сок отлично тонизировал и снимал усталость.

Не знаю, от этого или от чего другого, но в ту ночь мне снилась птица. Печальная птица зимородок, она сидела на ветке над ручьем и глядела на меня нечеловеческим человеческим лицом. Я вспомнила, что при встрече с ним следует загадывать желания, но никак не могла придумать, что пожелать; так мы друг на друга и смотрели, молча, до тех пор, пока я не проснулась.

Артем спал в своей палатке так тихо, что у меня промелькнула мысль, что он умер, и я заглянула к нему – мой проводник лежал лицом вниз, абсолютно тихо и неподвижно; я испугалась, но побеспокоить его так и не решилась, просто стала ждать, слушать болота и смотреть на звезды, которые висели возмутительно низко.

Утром он тоже проснулся не сразу.

Переход от Тыми до Пороная занял двое суток, хотя по карте это расстояние выглядело незначительным; вполне вероятно, что без груза я одолела бы его часов за пять. Но мы провозились слишком долго; можно было управиться быстрее, выйдя на дорогу, однако Артем в очередной раз повторил, что дорог стоит сейчас сторониться, во всяком случае, пока мы не доберемся до территории, контролируемой войсками.

Артем полагал, что Поронайск устоял хотя бы в силу того, что от Александровска до него двести километров по прямой, по дороге же несколько дальше. В случае если железная ветка от Поронайска на юг сохранилась в исправном состоянии, то подтянуть к городу войска должны были успеть. Расстояние играло против бунтовщиков. Кроме того, по мнению Артема, возмущение имело локальный характер, вряд ли бунт охватил все каторжные тюрьмы острова, та же тюрьма в Углегорске не могла разрушиться от земельных колебаний, пусть и таких значительных.

Нам предстояло преодолеть примерно сто двадцать километров по прямой и сто пятьдесят километров по реке на юг. Сто пятьдесят – это приблизительно, разумеется, с мотором и вниз по течению Артем думал пройти реку за три дня. У меня имелись сомнения; я думала о том, что верховья Пороная сильно пересохла и для лодки были малопроездимы, впрочем, о своих сомнениях я предпочла умолчать.

В итоге они оказались беспочвенны: в отличие от Тыми Поронай был достаточно полноводен, Артем предположил, что это стало следствием землетрясения – привычный гидрологический режим нарушился, вода сошла с восточных отрогов хребта или выдавилась из болот. Мы решили сплавляться, останавливаясь лишь в сумерках и отправляясь в путь с первыми лучами солнца.

За триста лет освоения Сахалина эти места, в отличие от южных частей острова, так и не удалось толком обжить. Мы шли по течению, река извивалась в берегах, и опять над нами плясали два солнца, отчего у меня кружилась голова; порой река успокаивалась, выпрямлялась, сужалась и некоторое время текла ровно, порой берега были высоки и деревья, упавшие в воду, образовывали над нами причудливые косые мосты, отчего казалось, что мы плывем по забытому сказочному миру. Солнце умудрялось светить с двух сторон, свет плыл вокруг, Артем цеплялся багром за ствол, мы замирали в свете, и все замирало, даже вода под нами. Вероятно, и до землетрясения Поронай был шустрее Тыми, и благодаря этому почти все время мы двигались самоходом, Артем запускал мотор, лишь когда течение ослабевало и лодка входила в мертвую полосу. Следов пребывания человека не встречалось, после людского изобилия, к которому я успела привыкнуть за последнее время, безжизненные берега настораживали, и я невольно касалась рукоятей пистолетов. Артем тоже держал багор под локтем. Мы плыли.

Кажется, это случилось на третий день, впрочем...

Кажется, все-таки третий.

Над лесом поднялась ржавая мачта связи, поставленная здесь еще в те времена, когда существовала связь. Вышка вся ржавая, но стояла, как ни странно, ровно, не косясь, лишайником и то не обросла, а такое случалось редко.

– Поселок, кажется, – шепотом сказала я. – Если вышка, то поселок, да?

Артем обернулся, нахмурился и заглушил двигатель, лодка медленно вырулила за поворот. Поперек реки торчали загородки из кольев и проволоки, сама река распространялась и мелела. На берегу вокруг вышки виднелись многочисленные жилища, сложенные из древесной коры и дерна.

– Рыбоеды, – сказал Артем. – Они любят в таких местах селиться – где высокое.

– Где высокое?

Артем кивнул на вышку и в этот раз взял багор на изготовку.

– Чтобы видно было, если издали подходят.

Я поинтересовалась, кто такие рыбоеды, Артем нехотя рассказал, ему тут не нравилось, хотя ему везде не нравилось.

Рыбоеды были конченными людьми, лишенными последних надежд, изгои, которые, поблуждав по острову, сбивались в стаи и поселялись подальше от городов, в глуши и безлюдье. Изгоями становились те, чьи болезни не поддавались лечению, в основном это были пораженные саркомой, кожными болезнями, корковой чесоткой и хроническим фурункулезом. Корейцы, китайцы и некоторые японцы, бывшие каторжниками, а впоследствии вышедшими на поселение, старались определиться как можно дальше от остальных. Питаться такие отшельники могли либо черемшой и кореньями, собираемыми в лесу и возле болот, либо рыбой, входившей в реки. Рыба, кормившаяся пораженным радиацией морским планктоном, не способствовала укреплению здоровья – рыбоеды, употреблявшие ее, не жили больше трех-пяти лет.

Артем сказал, что он знал о двух поселениях рыбоедов возле Невельска и об одном недалеко от Южного, вот и тут тоже, оказывается. Пообщаться с ними вряд ли получится, они нас наверняка заметили еще издали и убрались в лес и сидели сейчас, разглядывая нас из зарослей.

Лодка чиркнула днищем по дну, Артем выругался и выскочил за борт, я за ним. Артем взялся за линь и рывком выволок лодку на гальку, и сразу я услышала тонкий писк уходящего воздуха, Артем раздраженно пнул лодку и принялся ее разгружать.

– Пропороли? – спросила я.

Это был уже третий прокол за наше недолгое путешествие по воде, и ничего страшного не произошло – Артем клеил резину быстро и надежно, полчаса – и готово. Однако сейчас ситуация была иная – по брюху левого баллона тянулась широкая рваная дыра, ясно, что на такой лодке продолжить путь не получится, надо чинить. Артему явно не хотелось оставаться здесь, он смотрел по сторонам с опаской и напряжением.

Хижины, построенные из коры и коряг, присыпанные землей и обложенные камнями и дерном, торчали вокруг вышки в хаотичном порядке и походили на чумные бубоны, вдруг возникшие на земле, даже смотреть на них было неприятно. Вероятно, жизнь, протекавшая в этом поселке, оказывала прямое воздействие на психику обитателей, хотя не исключено, что здесь просто в изобилии встречалась кора и крепкий дерн.

Всюду пахло. Возле хижин на установленных жердях ветром и солнцем вялилась рыба, вывернутая костями наружу. Железно брякало на вышке, обычный полдень в деревне мертвых под солнцем мертвых. Что-то

мелькнуло там, наверху, я подумала, что в глазу у меня от солнца замутилось, и внимания не обратила, мало ли? К полудню от бликов на воде в глазах начинали плясать бесенята, и мне периодически приходилось делать гигиеническую глазную гимнастику, так что я не придавала значения этому видению, немного проморгалась, и все.

А потом ветер сменился на западный, и я отчетливо услышала. Пахло все-таки кровью. Со стороны поселка, со стороны этих хижин, так похожих на нарывы.

Я оглянулась. Артем возился с лодкой, разжег горелку и грел вулканизатор. Поглощенный этим делом, Артем не чувствовал, как со стороны поселка тянуло кровью. Я хотела позвать его, но почему-то этого не сделала, я неотрывно смотрела на хижины, и мне было страшно. Там, в поселении айну, в окружении взбунтовавшихся каторжников страшно не было, а здесь почему-то да. Я думала про МОБ.

МОБ.

Я видела информационные фильмы, которые успели снять до санации восточного побережья материка. Широко известные, такие, как «МОБ-2: бойня в Хабаровске», в котором наглядно показывалось, что бывает, когда носитель мобильного бешенства оказывается в толпе. Или «МОБ-9: паром «Калуга», снятый автоматическими камерами, расположенными на теплоходе с беженцами. Теплоход подбирался к устью Амура, на борту случилась вспышка. Верхняя палуба была заполнена сотнями, если не тысячами людей, они стояли так плотно, что не могли пошевелиться. Непонятно, откуда взялся носитель. Обычно его легко обнаружить: безумные глаза с вывороченными пожелтевшими белками, рваные движения, прихихатывания, раскусанные в кровь губы, причем такое состояние возникает практически сразу после инфицирования. Примерно через час после заражения МОБ переходит во вторую, непосредственно мобильную и крайне агрессивную стадию. Приблизительно это и произошло на «Калуге». Двадцать восемь человек выпрыгнули за борт, семеро из них сумели добраться до берега. Кстати, именно на основании данных, полученных с «Калуги», удалось сделать первые выводы о природе МОБа, в частности о том, что инфицированные ведут себя по закону «птичьей стаи», проявляя некоторые механистические признаки псевдоразума.

Помимо стандартных документальных фильмов, посвященных МОБу и рекомендованных к просмотру в учебных заведениях, я познакомилась с несколькими картинками, снятыми для служебного пользования, – спасибо отцу и профессору Ода. Фильм «Приемы и методы противодействия

мобильному бешенству» оказался неожиданно толковым, я пересмотрела его три раза и почерпнула много интересного. Что примечательно – фильм был снят с использованием настоящих инфицированных и содержал действительно полезную практическую информацию. Например, о способах спасения. Выяснилось, что спастись от инфицированного в городских условиях достаточно легко при соблюдении нескольких нехитрых правил.

Первым и самым простым являлось правило ступеней: многочисленные эксперименты показывали, что инфицированные с трудом преодолевают пересеченную местность, в частности, обычная лестница представляла для них серьезное препятствие, поэтому главной задачей преследуемого человека был поиск лестницы, наткнувшись на ступени, преследователь, как правило, падал.

Вторым способом являлся способ разрыва контакта. В ходе испытаний выяснилось, что инфицированные не способны удерживать информацию длительное время, пораженный вирусом мозг стремительно деградирует до уровня примитивной рептилии, долго преследовать добычу инфицированный не способен, следовательно, чтобы оторваться, требуется всего лишь забежать за угол и спрятаться. Утратив визуальный контакт с добычей, инфицированный забывает про нее и отправляется на поиски новой. Именно поэтому зараженные бешенством инстинктивно стараются держаться группами – группа, действующая по принципу вышедшей на охоту стаи, дольше сохраняет контакт с жертвой и, как следствие, становится значительно опаснее.

Третьей относительно доступной возможностью спасения является вода: зараженные мобильным бешенством решительно сторонятся воды, причем это свойство выражено настолько ярко, что перешагнуть через лужу для зараженного порой абсолютно невозможно. Таким образом, достаточно найти подходящий по размерам водоем, зайти в него или перебраться на противоположный берег, чтобы уйти от преследования. Водоем может быть разный – от ручья и реки до большой лужи. В частности, тренер по выживанию, делившийся со мной по просьбе отца опытом перед поездкой на Сахалин, рассказал историю, случившуюся непосредственно с ним и прекрасно иллюстрировавшую водобоязнь зараженных.

Тренер в составе спасательной группы отрабатывал на материке технику эвакуационных рейдов. И однажды в относительно уцелевшей после санации Находке тренера, отставшего от отряда, инфицированные загнали в старый фонтан, заполненный дождевой водой. Они окружили его

по периметру, бежать было некуда, тренеру пришлось целую неделю сидеть в фонтане. Воды хватало, через несколько дней сидения тренер приноровился ловить горстью жуков-плавунцов, и хотя вкус они имели чудовищный, но продержаться помогли. Самое сложное, по словам тренера, заключалось во сне. Спать было опасно – вероятность соскользнуть в воду и захлебнуться очень велика, и несколько раз тренер чуть не утонул на полуметровой глубине; лишь вырвав из дна трубу водовода и привязавшись к ней, он мог спать. Обычно через две недели инфицированные погибали от жажды, поскольку влагу их организм способен получать только из мяса. Тренер, кстати, указал на потенциальную опасность водного метода, которая заключалась в неприятной возможности собрать вокруг себя слишком большую толпу инфицированных, задние станут наступать на передних, и тогда вода перестанет быть преградой.

МОБ.

Я глядела на поселок рыбоедов, и мысли про МОБ и способы спасения кружились у меня в голове; для уверенности я расстегнула кобуры пистолетов, хотя и знала, что пистолеты против инфицированного недостаточно эффективны – надо быть выдающимся стрелком, бить в глаз, в голову, в колени, в позвоночник, что непросто, особенно когда дело касается бегущей мишени. Хотя если нападёт один инфицированный, то очередью я с большой вероятностью попаду.

Кровь.

Блеснуло вдалеке, между двумя землянками, ярко и сочно, рассыпавшись радужными искрами, словно бриллиант. Ну вот. Если что, побегу к воде, подумала я, до воды всего ничего, метров двадцать, успею...

Интересно, что там блестит?

– Лучше туда не ходить, – сказал Артем.

Он возился с лодкой, дымил качуком, но багор как всегда держал под рукой, я заметила; и он прав, лучше туда не ходить, хотя и интересно. Безусловно, интересно посмотреть, как живут эти рыбоеды, профессор Ода советовал не пренебрегать...

Почему пахнет кровью?

Мне снова явился яркий бриллиантовый всплеск, солнце ударило в кристалл, и слепящие зайчики распрыгались по сторонам, и я направилась к свету...

Там было что-то вроде пятка в нескольких метрах от вышки.

Там было...

Да.

– Не двигайся. – Артем взял меня за руку и оттащил в сторону.

То есть попробовал оттащить, но я не сдвинулась, прилипла и едва не упала, Артему удалось меня подхватить.

– Что это? – спросила я.

Я вытащила пистолеты и тут же осознала, насколько они жалкие по сравнению с тем, кто это совершил.

– Не знаю...

Поляна на границе поселения была небольшая, да, пяточок, не более нескольких метров. Перегрызенные кости с остатками мяса. Не сильно воняло почему-то, лишь вблизи почувствовала. Или привыкла, и умеренный смрад мной не воспринимался как смрад.

Артем нервно озирался.

– Кто это сделал?

– Медведь... – неуверенно сказал Артем. – Наверное. Скорей всего...

– Медведь? – шепотом переспросила я.

– Медведь.

Но уверенности в его голосе не слышалось.

– Медведь. Большой мишка. Наверное, старый, охотится не мог... И не на кого. А человек очень легкая добыча, да и не считает их никто...

– Но тут много людей жило, – сказала я. – Почему они... не сопротивлялись? Они ведь наоборот...

Артем потер лоб.

– Они ему сами отдались, – наконец сказал он. – Сами...

Я не понимала.

– Что здесь... произошло?

– Знаешь, тут среди людей разные культы распространены...

Артем озирался, а я хотела скорее отсюда уплыть, пусть на сдутой лодке, пусть вообще без лодки, лишь бы подальше.

– Странные... – Артем вытащил из кармана жестяную баночку с многочисленными пробитыми гвоздем дырками. – Некоторые очень странные. Я видел людей, поклонявшихся костям...

Артем открыл баночку, вытряхнул из нее веревочку, кусок темной смолы и зажигалку, чиркнул зажигалкой и извлек огонь.

– Гусеницам еще молились...

Артем поджег с краешка смолу, она вспыхнула, затрещала, забрызгала, и Артем тут же ее задул, вставил в баночку и закрыл крышку; смола задымила, а Артем стал крутить самодельное кадило над головой на веревке. Из баночки повалил дымок, он пах чем-то резко техническим и при этом сладким, кроме того, банка издавала напряженный воющий звук,

словно над нашими головами загулял большой шмель.

– Каким гусеницам? – не поняла я.

– Железным, – ответил Артем. – От вездехода.

Вокруг нас наворачивался дымный кокон, у меня защипало глаза и запершило в горле, но Артем продолжал настойчиво вертеть банку, создавая вокруг нас дымовую завесу.

– Они думали, что гусеницы – это ремни из шкуры дракона, – усмехнулся Артем. – А ползуны... ты же видела, какие они...

Да, ползуны. Это впечатляет, этого я не забуду. Да я много чего не забуду. Да все.

– Жрать нечего,дохнут все и молятся, молятся... Дрянь разная лезет: сердцедеры, самоубийцы, живоглоты... Эти, может, тоже кому поклонялись...

Артем указал на столб с цепями.

– Скорее всего, жертвы приносили, – сказал он. – Знаешь, всякое такое... зверь из леса приходит раз в год и жрет... Но что-то у них тут пошло не так...

Артем принялся вертеть над головой кадиллом с удвоенной силой, отчего звук стал пронзительнее и тоньше, теперь это был не шмель, а комар.

– Что-то у них все вкривь. – Артем продолжал раскручивать банку. – Они его разозлили, и он сожрал их всех, а не кого-то одного...

– Как это всех? – шепотом спросила я. – Сразу?

– Зачем сразу? Мишка умный, мишка не дурак... Он им ноги сначала пооткусывал, чтобы уползти не могли, а потом уже жрал постепенно, день за днем. Собрал их в одном месте, чтобы не протухли...

Меня замутило, я достала пистолет и сняла с предохранителя.

– Он здесь где-то... – Артем сжимал багор. – Здесь...

– Почему?

– Много мяса осталось, не ушел бы.

Меня затошнило. Не от запаха – от напряжения. От острова.

Медведь. Медведя не спросишь о будущем.

– В голову старайся, если что, – посоветовал Артем. – Или очередью, может, тогда пробьет.

Да, буду стараться в голову. Очередью в голову.

Не пробьет, медведя так не застрелить.

– Для чего дым? – спросила я.

– Мишка не любит этот дымок, – пояснил Артем. – Ой как не любит...
Надо его отвадить...

– Мы же здесь не останемся, – напомнила я. – Зачем нам отваживаться?

– Да, – кивнул Артем. – Но он нас заметил, мы ему уже понравились... Он пойдет за нами по берегу.

Я почувствовала, как по шее поднимается холодок, много-много ледяных иголок, точно еж прокатился. Не скажу, что приятное ощущение, особенно после того, что я видела здесь.

Он пойдет за нами по берегу.

– Им сейчас раздолье, – сказал Артем. – Народу в последние годы много мрет, кругом трупы, вот они и жиреют. Да и без трупов... Людей ловить легче, чем рыбу. А если про пролив правда, если вода отступила, то с материка могло позайти... Представь, какой сейчас в Александровском пир идет?

Я потерла левой рукой горло, я представила Александровск. Медведей в сумерках, спускающихся с гор к морю, к городу, медленно бредущих вдоль развалин, и...

– Мы должны отвадить его, – сказал Артем. – Должны показать, что мы – трудная добыча, что с нами лучше не связываться, проще уйти за другими. Стрельни-ка.

– Куда? – не поняла я.

– В воздух. Стрельни пару раз, он должен испугаться. Мишка хитрый, но трусливый...

Я перевела пистолет на одиночный огонь и выстрелила два раза; получилось громко, звук отразился от фермы мачты и раскатился над лесом дребезжащим жестяным эхом; наверное, в прошлые дни над тайгой взметнулись бы птицы, но сейчас птиц не было. Только тишина и равнодушное жужжание насекомых, которых, кстати, осталось не так уж много.

Артем перестал вращать над головой вонючую банку, вытряхнул смолу, загасил ее слюной, сунул банку в карман.

– Надо бы тут сжечь все, – сказал он. – Но бензина жалко. А сжечь надо...

Он несколько помолчал, щурясь.

– Ладно, давай возвращаться к берегу, – сказал он. – Не спеша. И спиной не поворачиваясь. Не бежать ни в коем случае.

Мы стали отступать к воде, наконец-то отступать. Я чувствовала, как кружится голова и сжимается от тошноты желудок. За время Сахалина я привыкла к этой постоянной воню, обоняние укротилось и не воспринимало ее, но я все равно ее как-то ощущала. Вонь, безнадежность, вот что самое страшное здесь – безнадежность. Карафуту, место, в котором

нет больше времени, нет прошлого и почти нет настоящего. Где вы, профессор Ода? «Методология познания будущего», глава восемнадцатая «Трансгуманизм: тупики и надежды», какой тут, к чертовой матери, трансгуманизм...

Артем, крякая насосом, накачивал лодку, я стояла на берегу с пистолетами и караулила. Я никак не могла отделаться от ощущения постороннего присутствия, кто-то следил за нами, терпеливо смотрел из кустов, улыбался. Наверное, впервые за время моего пребывания на острове я почувствовала зло. Утопленники Монерона, мертвецы Холмска, угольные копи Углегорска, Александровск и его казематные людоеды, и зверства каторжных, безнадежность и беспомощность существования – все это вдруг воплотилось в зверя, наблюдающего за нами. Я вспомнила патэрена Павла, который сказал, что здесь ад; я поняла, что он имел в виду.

Лодка была накачана, Артем закинул ее на плечо и перенес по берегу к свободной воде, вернулся и потащил мотор. А я не могла оторваться и все смотрела на этот пологий берег, уходящий к лесу. На эти землянки, на серую кору и на почерневшее от солнца и воды дерево, и из каждой норы и каждой щели ад смотрел на меня.

Артем перетаскал и погрузил в лодку канистры и рюкзаки и стал выводить лодку на глубину, пора было отплывать.

Артем не стал дожидаться, пока нас подхватит течение, дернул стартер, и мотор послушно затарахтел. Я запрыгнул на нос, лодка, булькая винтом, стала выруливать на течение, берега сдвинулись и поплыли мимо нас, медленно, чуть покачиваясь. Ужас, в который я окунулась, постепенно отступал. Артем добавил газа, и лодка пошла веселее.

Не знаю, что меня заставило оглянуться.

– Оглянись! – крикнула я. – Назад!

Артем оглянулся и стал разворачивать лодку.

На каменистом берегу стоял человек. Невысокий, в мешковине человек.

Лодка хлебнула воды, развернулась и пошла обратно против течения, мы не успели отплыть далеко. Артем подхватил багор, выскочил из лодки и стал медленно приближаться к мальчишке.

Я тоже вылезла, одной рукой держала за линь лодку, другой пистолет; кошмар не закончился. Седой, так сначала показалось, такие люди всегда представляются седыми и старыми, однако, приглядевшись, я увидела, что мальчишка – альбинос, с тонкой полупрозрачной кожей и синими косоватыми глазами.

Артем смотрел на него, и я видела, как дергается у него нижняя губа,

но не от отвращения, а от ярости.

Что-то снова мелькнуло на краю зрения, неуловимое, как дневной морок, и в этот раз нервы у меня не выдержали, я резко повернулась в сторону высокого берега и, не успев подумать, нажала на курок.

Первые пули кучно убралась в зелень, сочно взметнулась срубленная листва, руку у меня повело вправо, снося растущие над косогором кусты, гильзы с шипеньем просыпались в воду, очередь оборвалась, щелк. Патроны кончились. Я быстро сменила магазин; я ждала, что вот-вот на берегу возникнет чудовищный зверь, зарычит и кинется на нас из кустов.

Ничего.

Там не было никого, только поломанные ветки. А еще оползали по склону сбитые пулями камни.

Мальчишка смотрел на меня. Я спросила:

– Как тебя зовут?

Мальчишка промолчал. Я спохватилась и спросила его по-китайски.

– Он тебе не ответит, – вмешался Артем.

– Почему?

– У него нет языка.

Показания Артема

Лагерь расположен у реки.

Это правильно, если что-то случится – на другом берегу пулеметы через каждые десять метров. Река неглубока и неширока, но перейти ее не получится – колючая проволока в несколько рядов, в воде тоже. Если толпа двинет на юг, то попадет в реку, под пулеметы.

Прорваться здесь нельзя. Никак. Можно обойти с запада, наверное, многие так и сделали, но у нас выбора не было.

Через реку перекинут железнодорожный мост, вчера патруль перевез Сирень на другой берег. Но она вернется, она не может не вернуться. Она постарается, я знаю. Верю. Я верю в нее с той самой минуты, как увидел ее в первый раз.

Мы сидим у воды, вокруг нас круг свободной земли шириной метров в пять, вокруг ханы. Они боятся меня. Я убил двоих, теперь не лезут. Ждут, когда я засну. Ждут.

Мальчишку пытались украсть. Скорее всего, колдуны. Среди ханов сильно поверье, что мясо и кровь альбиноса – лекарство от многих болезней, поэтому альбиносы здесь редко доживают до преклонного возраста. Почти все они беззубы и беспалы, у них нет ушей, волос – все это еще при жизни отбирают для изготовления амулетов, приносящих удачу. А у мальчишки нет даже языка. Он молчал и смотрел на меня, часто моргая.

Сирень оставила шоколад, кроме того, я успел набить карманы крупой. Жевали ее, не скрываясь, остальные не приближались, смотрели издалека. Смотрели, смотрели.

Ночь продержались. Ночь была темная, лишь гроза далеко в море, так далеко, что гром до нас не долетал.

Но к утру я заснул. Я могу не есть неделю, со сном сильно хуже.

С утра держался, придумывал, как его назвать. Сначала хотел Беляком, первое, что в голову пришло. Потом Косым, правый глаз у него косил сильно из-за моргания. Потом Жмуром, но передумал, неправильно это, живых мертвыми называть. В конце концов я так и не смог ничего толком придумать, место для придумок было плохое. Так что назвал я его Ершом, мы ведь нашли его в рыбоедском поселке, пусть будет Ерш.

Потом Ерша пытались украсть. Я задремал на минутку, не задремал даже, скользнул в свет и тут же всплыл, открыл глаза. Три хана тащили Ерша прочь. Он немного сопротивлялся, ну, насколько может

сопротивляться мелкий и хилый пацан без пальцев трем взрослым ханам. Я не стал кричать или пытаться угрожать, стал сразу убивать. По-другому тут нельзя, дашь слабинку – сожрут. Хань, когда их много, могут только бояться.

За ночь я набрал камней. Едва мы сюда попали, так и стал собирать, камней тут много, и все как один подходящие – с куриное яйцо. Конечно, никаких яиц я в жизни не видел, но знал, какого они размера. Кидать их удобно. В рукаве по штуке держал. Как увидел, что ханы Ерша тащат, так сразу и швырнул.

Багру меня Чек научил, а камни уже я сам. Мое открытие. Багор можно потерять, ну, или отберут его у тебя, да мало ли что может случиться? А камни, они всегда под рукой. С камнями я дружу.

Они волокли Ерша. Узнали, что альбинос, и поволокли. Хорошо, что Сирень отдала ему свой красный свитер, в свитере я видел его гораздо лучше на фоне грязных ханских мешковин.

Попал с первого броска, и правильно попал – в ханское темечко, с треском. Он так и отвалился, мордой в землю, ногами заплясал, а те двое Ерша уронили, он ко мне пополз. Второй камень я вдогонку выпустил, и второго хана тоже убил. Третий побежал, камни у меня оставались в левом рукаве, и я метнул с левой. Тоже попал, но по касательной, не убил.

В толпе закричали, крик подхватили, ханы, прихихикивая, дружно двинулись к нам. С другого берега ударил пулемет, я упал, вжался в землю, Ерша прижал.

Пулемет работал секунд десять и заглох. В толпе ханов в разных местах кричали от боли, потом по одному замолкали. Я подумал, может, они не собирались Ерша на амулеты разбирать, может, просто сожрать хотели. Убитых мной они, кстати, быстро забрали.

Дальше ханы молчали. Лежали, ненавидели.

Они меня ненавидят. Они поняли, кто я такой, они меня знают, пусть мы никогда с ними и не встречались.

Я никогда трупоедствовать не стану, лучше сдохну три раза, я не боюсь сдохнуть. А они боятся. Готовы жрать червей, крыс, друг друга, так хотят жить. Поэтому они бессильны. Это мне еще Чек объяснил, он, когда еще философствовал, ханскую мудрость хорошо изучил. О том, что благородный и доблестный муж готов умереть всегда и поэтому непобедим и ступает гордо, в нем живет вера, жалкое же сословие страшится праха небытия, ибо не верит, и поэтому слабо и нападает стаей, как крысы. Да и то под покровом ночи.

Они меня боятся. Пока.

Лежали минут пять, пулемет молчал, затем все стали потихоньку подниматься. Я тоже сел.

И снял рубашку.

Чтобы поняли те, кто еще не понял.

Все ханы знают, что означает знак на моей спине. Все каторжные знают. Я мог подойти к ним, выбрать любого и свернуть ему шею, и они не стали бы сопротивляться, потому что я – Прикованный к багру. А они... они никто. Черви. Черви думают лишь о себе, люди думают о других, сила в этом.

Теперь, после землетрясения, все немного по-другому. Но я их и теперь не боюсь.

Ерш продолжал лежать, не шевелился, умер. Очень хорошо мертвым прикидывался, я успел это заметить. Полезное качество.

У нас не очень хорошее место, до моста, наверное, метров пятьсот. Пятьсот метров ханов, в длину пятьсот метров и в ширину метров сто, наверное. Но ничего, я пройду. Мы пройдем. Успеем до вечера. До сумерек.

Потому что в темноте они станут смелее. Потому что в темноте наколка на спине их не остановит.

Видно, как горит Поронайск. Расстояние тут небольшое, а черный дым заметен издали. Город горит, и в море тоже что-то горит, такой же дым поднимается, разве что не черный. По пути на север мы миновали Поронайск ночью, так что я не очень хорошо его запомнил, лишь огни на станции да шумные стрелки.

На обратном пути мы до него не добрались. Не доплыли до Поронайска километров десять, нам повезло – подмяли винт. Я виноват, с утра на реке лежал туман, правильнее было бы мотор поднять и идти на веслах, но я спешил. Наскочили на камни и согнули лопасть винта, пришлось пристать к берегу.

Долго я возиться не стал, взял два камня, оббил винт и монтировал его на мотор, как вдруг над головой просвистело. По утреннему небу, расстегнув его пополам, пролетел самолет. Реактивный, гремющий, красивый. Над островом самолеты редко летают, а реактивные и подавно, так что я оставил камни и стал смотреть ему вслед.

Ерш упал на камни и привычно свернулся в улитку, Сирень нахмурила лоб, а потом прыгнула на меня и уронила на камни. Через минуту рвануло.

Это был не атомный заряд, другое, не такое мощное. Когда над нами пронеслась плотная ударная волна, закидавшая нас водяной пылью и листвой, Сирень сказала, что сбросили, скорее всего, вакуумную бомбу. В

данной ситуации это гораздо лучше – все, что попадает в зону поражения, превращается в кашу. Но для надежности неплохо бы подработать огоньком. В подтверждение этому над нами медленно прогудел крылатый грузовоз, и скоро бахнуло еще, но не так громко.

Сирень сказала, что можно вставать. Она подняла Ерша и стала его отряхивать, а он покачивался на своих черных обрезанных ногах и пытался держаться за нее обрезанными руками. А потом дала ему конфету.

Я все-таки поставил винт, не знаю зачем, на автомате, наверное, хотя было ясно, что лодка нам не пригодится.

Поронайск разгорался.

Без лодки, мотора и канистр вещей у нас оказалось немного, один рюкзак да сумка у Сирени. Она достала из этой сумки длинный красный свитер и надела его на Ерша. Свитер доставал Ершу до пяток, а рукава до земли, пришлось закатать. В свитере Ерш выглядел непонятно. И непонятно было, нравится ему свитер или нет.

Поронайск горел.

Я думаю, Поронайск использовали в качестве ловушки. Администрация и поселенцы успели эвакуироваться и отступить к югу, когда же волна мародеров ворвалась в город, его попросту разбомбили. Идти к городу было бесполезно и опасно, и мы повернули к юго-востоку. Через пять часов вышли к реке, спустившись по течению, добрались до лагеря. Нас встретил патруль на трех броневиках, Сирень объяснила, что мы – экспедиция Императорской академии наук, и предъявила бумаги. На Ерша бумаг не было, но Сирень сказала, что это этнографический объект – она как ученый имеет право собирать на территории префектуры Карафутто коллекции. Патрульные рассмеялись. Сирень начала трясти документами, вспоминать своего прадедушку-адмирала и отца почти адмирала и грозить неприятностями, патрульные немного осадили. Они повезли Сирень в комендатуру до выяснения обстоятельств, а нас с Ершом отправили в фильтрационный лагерь на берегу реки. Багор отобрали. Я не спорил. Патруль состоял из гвардейцев сил самообороны, они в наших местных делах плохо разбираются, к тому же у них чрезвычайные полномочия, могли и стрелять начать. Багор взяла на сохранение Сирень.

Лагерь, судя по всему, треугольной формы. Наверное, сверху все это очень похоже на загон: с одной стороны море, с другой – река, с третьей – выжженный лес, опутанный колючей проволокой.

Раньше тут был, кажется, поселок имени героического летчика, теперь от него не осталось ничего – пятьсот тысяч пришедших сюда за несколько дней разобрали до основания все постройки и использовали на дрова,

теперь вдоль берега пустыня, набитая людьми. Два моста еще, железнодорожный и автомобильный. Железнодорожный цел, но перекрыт, автомобильный взорван. В полдень с автомобильного моста запускают в сторону лагеря воду из брандспойта, можно напиться. Правда, это опасно, толпа велика, и в ней то и дело кого-то давят, особенно в центре, где вода льется гуще. Некоторые успевают напиться воды перед тем, как быть раздавленными, из-за этого мы с Ершом за водой не ходим. Ерш с виду хилый, но это обманчиво, а сам я могу без воды дня три протерпеть, а за три мы отсюда выберемся. Я в это верю.

Надо постепенно продвигаться к железнодорожному мосту. Мы договорились – Сирень будет встречать нас у моста, к мосту пойдем в полдень. Ждем до полудня, толпа качнется за водой, а мы сумеем пробраться.

На другом берегу – станция. Лагерь здесь, очевидно, для того, чтобы задержать всю эту тучу народа, чтобы они не рванули по железнодорожной ветке к югу, но что они будут делать с этим лагерем потом...

Придумают. С Поронайском же придумали, и тут придумают. А пока не придумали, надо выбирать. Неплохо было бы обзавестись оружием. Камни – это хорошо, но если приступят все и с разных сторон, то швырянием гальки от них не отобьешься, нужно нечто потяжелее.

Оружие.

Я снял куртку и принялся изготавливать кистень. Это не так уж сложно, схема простая, но убойная, и все материалы под рукой – кожа, камни, веревки. Или тряпка, камни, проволока. Или камень и проволока. Я знал как минимум десять быстрых и эффективных способов изготовить оружие из подручных средств. Больше даже. Чек научил.

Выбрал гладкий камень покруглее, размером с два кулака, не очень большой и не очень тяжелый. Если бы врагов было не так много, стоило взять камушек посолиднее, но чем больше вес, тем меньше скорость, а мне понадобится скорость. Придется поворачиваться.

Куртка сшита из четырех длинных полос: две полосы слева, две справа, посредине голова. Я думаю, еще давно ее сшил Чек, взяв за основу... Не знаю что. Полосы собраны тонкими кожаными ремешками, крепкими и длинными, подкладка из толстого бархата, который когда-то был, наверное, флагом, жаль, непонятно какой страны. Я достал из ботинка ножик и принялся разбирать куртку. Срезал по длинной кожаной полосе с каждого плеча и по несколько метров ремешков. Расстелил полосу на земле, положил в центр камень, саму полосу свернул в петлю, вокруг покрытого кожей камня плотно обмотал ремешок. Затем повторил такую же

операцию со второй полосой, в результате чего камень оказался со всех сторон окружен кожей. Оставшиеся четыре конца сплел в ленту. Получилось толково. Не шестопер, и не булава, и никак не багор, но пойдет – ханы народец хлипкий, полетят.

Ерш смотрел на мои приготовления без интереса. Ерш, кажется, совсем Ерш. Кожа у него в плоских волдырях от солнца, некоторые свеженькие, а другие старые, засохшие, на самом деле похож на колючую рыбу, умирающую на солнце. Вроде как и чешуя есть. Ерш. Как морской бычок, Ерш упадет на землю и сразу как земля сам, точно красный свитер пустой лежит.

Я поднял с земли Ерша, и мы стали есть. Зубов у Ерша нет, но пшеничная каша довольно мягкая, ее можно размочить слюной, размять деснами и проглотить. Я достал кружку, насыпал в нее крупы, сунул Ершу. Он долго смотрел, не понимая, пришлось показать – я закинул горсть крупы в рот и стал чмокать, потом жевать. Ерш, кажется, был не тупой, понял. Отхлебнул из кружки сухой каши и стал ее мусолить.

Время тянулось медленно, чтобы сократить его, я стал учить Ерша равновесию и камням. Подгреб к себе кучу овальной гальки и стал собирать пирамиду.

Я помню, как собрал первую, но не помню, сколько мне тогда было лет. Зато помню, что шел дождь. Четвертый день дождь. К этому дню мы заполнили водой все, что могли, от баков до пластиковых бутылок, я сидел на горе и смотрел на водные пузыри.

Со стороны океана пришел циклон, и над островом повисла густая хмарь, из-за которой не было видно даже соседней горы. Чек скрылся в дождь по своим делам, думаю, пошел грабить ханов, а я изучал пузыри, пока не увидел ведро с галькой. Оно торчало в углу и предназначалось для засыпки дыры под стеной, но дыра могла подождать, а мне было скучно. Тогда я взял и рассыпал камни на землю возле порога, а потом от нечего делать стал составлять один на другой. Совершенно неожиданно они не упали. Четыре камня друг на друга. Что удивительно, камни были неровные и встали не очень прямо, но все равно не упали. После того дня я начал пробовать. Брал разные камни – большие, маленькие, плоские и круглые, формы, опять же, всякие, хоть треугольные.

Получалось.

Я мог без труда сложить из гальки размером с кулак столб в два метра. Чек поначалу относился к моему увлечению со смехом, однако потом почему-то изменил свое мнение и иногда, вместо того чтобы послать меня полоть грядки, оставлял строить пирамиды. Иногда он садился наблюдать

за мной, часто с испугом. Я складывал столбики, а Чек смотрел и морщился. Порой он пытался построить рядом свою пирамиду, правда, у него дальше трех камней дело не продвигалось.

Я строил пирамиды, это меня успокаивало. Когда ставишь камень на камень, пытаюсь прочувствовать баланс на несколько камней вверх, начинаешь понимать некую закономерность, правило, грань...

Польза от составления камней тоже имелась, но я это потом только стал замечать. Я возился с камнями, а камни, кажется, начинали со мной дружить. Скоро я обнаружил в себе новое качество. Меткость. Я мог с пятидесяти метров попасть в бегущую крысу. Эта способность оказалась востребованной в нашей жизни – я знал неплохие крысиные местечки и, выйдя с утра на охоту, к полудню набивал по три полные вязанки, Чек их потом сбывал ханам. Кроме того, каждый год шестого и девятого августа Чек отправлял меня в Южный на традиционную церемонию мордования негра.

На этот праздник приходили многие каторжные и поселяне преклонного возраста, сами уже неспособные бросить камень. Я бросить камень мог, так что каторжные японцы меня частенько нанимали. Правда, я всегда кидал только по ногам и по спине.

А вообще камни меня успокаивали. Я мог заниматься ими часами, забывая обо всем, проваливаясь в мир покоя и равновесия. Вот и сейчас мне требовалось немного покоя и равновесия, протянуть время и придумать, как подобраться к мосту через все это многотысячное стадо. Подумать. Подумать.

Я отвлекся от камней и огляделся.

Над морем висели тучи и смерчи, но далеко, над горизонтом, дожди никак не могли приблизиться к берегу. Хотелось пить, но не сильно, терпимо. Ханы смотрели. Нет, они усиленно делали вид, что не смотрят, но сами смотрели, следили за каждым движением. За нами наблюдал тысячеглазый голодный зверь. Как тот медведь в поселении рыбоедов. Если тот медведь в поселении рыбоедов.

Ерш тоже смотрел на меня, на камни, жевал крупу. Кружку он перед собой держал обеими руками – трудно держать предметы ладонями без пальцев. Но он упорный вроде бы.

И я упорный. Камни послушно выстраивались в лесенку, камень на камень, камень на камень. На восьмом камне я сделал развилку. Обычно на восьмом можно пустить тройную развилку, но сегодня я решил немного усложнить задачу и сделал две пары. Это довольно редкая комбинация и получается не всегда, нужна особая точность. Обычно для двух пар следует

подобрать максимально одинаковые камни, если их нет под рукой, придется выстраивать более сложное равновесие. Сегодня получалось. Я развел две пары, раскладывая баланс четвертого уровня. Пирамида расходилась в стороны четырьмя копиями и росла.

Ерш перестал жевать крупу и смотрел на пирамиду, глаза у него были синие, пустые, непонятные, когда он наклонял голову, глаза пугающе вспыхивали красным.

Я думал.

Она всегда спрашивает о будущем. У всех о будущем. Это удивительно. Она удивительная, я не встречал таких. Она первая, кого интересует будущее. Даже Человека, когда он еще был вменяемый, будущее не очень волновало, ну, разве что в том случае, когда дело заходило о грядущей смерти, этот вопрос его занимал чрезвычайно. В последнее время чуть ли не каждый день об этом говорил. Мне кажется, он стал разочаровываться в могиле, которую копал. Она стала казаться ему недостаточно глубокой. Мелкая могила, ханы из такой достанут и сдадут в лучшем случае на энергостанцию, а то и сожрут. Подобного будущего Чек себе не желал и каждый день досаждал новыми прожектами собственного захоронения.

Я хотел сейчас подумать о ней, но Чек влез в голову, и я стал думать о нем, то есть о его смерти. Я предлагал ему самый верный способ – сожжение на погребальном костре, надежно и достойно, все как Чек любит. Так испокон веков хоронили знатных греков и доблестных викингов, так ушли в Аид и в Валгаллу Ахилл и Эрик Рыжий, ну, еще и много других, так Чек рассказывал. Однако Чек был категорически против сожжения, заявляя, что сожжение не его путь, поскольку при звуках трубного гласа все сошедшие в пепел не смогут восстать. Или восстанут с большими потерями.

Я предлагал ему много других способов, вполне достойных. Например, в море. Вот он умрет, я выпью чаю, зашью Чека в мешок с камнем и сброшу в море. Хорошо зашью, не всплывет. Но Чек был и против утопления, ему не хотелось, чтобы его ели рыбы. Вот если бы птицы, то тогда да, высоко...

Чек капризничал и вредничал. Но это до собаки, после собаки тема смерти его стала занимать меньше, он преисполнился надеждами и умирать больше не собирался.

Надоел. Чек надоел, устал о нем думать. Он умрет, а я останусь один. А она прекрасна. Даже если она не вернется, она все равно останется прекрасной.

Пирамида качнулась, слишком плотно на нее смотрели. А ее интересует будущее. Не то будущее, что у Чека или у меня, а другое. Настоящее будущее. Это понятно, будущее и она. Это так здорово – когда я вижу ее, я начинаю верить, что будущее есть. Она ушла, и мне плохо. Плохо. Нас попробовали убить во второй раз. Не только Ерша, но и меня. Неожиданно, никак не думал, что они осмелятся днем, рассчитывал, что все-таки ночью. Но они осмелились из-за того, что их много, когда ханов много, они забывают страх. Не могу понять, как я жил без нее раньше. В мое левое плечо воткнулась стальная ханьская спица, подлое оружие трусов и трупоедов. Они горазды эти спицы швырять, видел такое.

В этот раз кидальщик попался паршивый, не попал в горло, не попал в глаз – в плечо. В мышцу, прошло насквозь, кость не задело, я вскочил на ноги и заорал, ну, чтобы пулеметы на той стороне заработали. Но стрелять не стали. На автомобильном мосту зазвонили в колокол. Полдень, значит, сейчас станут лить воду. Все ханы вокруг вскочили, возникла суета и свалка, хорош замысел – прикончить нас сейчас, под шумок. Толпа сдвинулась за водой, обтекая нас и все сжимая и сжимая вокруг свободное пространство. Я выдернул из плеча спицу, подтащил Ерша к себе поближе и стал ждать, знал, что сейчас они нападут.

Толпа вздохнула – с моста полилась вода, кто-то кинулся мне в ноги, и тут же подсекли сзади, наверное цепью, ударили под колени. Я подсел, и они навалились, верещащий хан вцепился в лицо когтями и рванул, раздирая кожу. Я растянулся на спине, и на мне тут же оказались пять ханов. Двое из них неплохо кусались – есть у них, у ханов, такое мастерство, кусательное. Вроде как боевое искусство. Подпиливают себе зубы и ловко вцепляются в горло, в артерии, на человеке много мест, уязвимых для умелого укуса. Поэтому, когда на меня накинулись эти «бойцы», я прижал подбородок к груди, втянул голову в плечи, сжался по возможности, так что пришлось жрать меня за мясо.

Это было больно и опасно, могло случиться заражение – у кусателей грязные, гнилые зубы. Однако сейчас они не могли сильно повредить. Напротив, в чем-то они были полезны – мешали тем, кто посильнее, кто собирался свернуть мне шею и раздавить коленями ребра. Изловчившись, я сумел пнуть одного кусателя коленом в челюсть, и он пал жертвой своего же боевого умения – изо рта у него брызнула кровь, кажется, он откусил себе язык. Покалеченный шарахнулся прочь, а я, откатившись в сторону, сумел подняться на колени.

Меня били с разных сторон, кусали, но я смог подняться и на ноги.

Ерш исчез. Он болтался рядом, под левой рукой, и вот исчез,

оторвался. То есть его от меня оторвали.

Вокруг кружились ханы. Они тянулись с разных сторон, рвали и тыкали. Куртка, лишенная полос, поехала, ее разнесли по клочкам и разорвали рубаху под ней. На мгновение я подумал, что они остановятся. Увидят наколку на спине и на плече и отступят, но они ничего не видели. Они хотели меня убить, наколка лишь усилила их ярость.

Я заорал и ударил локтем в рожу и пнул кого-то, и передо мной возник хан, и я ударил его лбом в переносицу, и меня ударили по затылку, но несильно, ерунда. Толпа сошлась вокруг, я не мог никак поднять кистень, места для замаха не находилось, к тому же ханы висели на плечах, а один старательно кусал мою ногу.

Откуда-то сбоку налетел хан, он ударил в ухо и натянул мне на голову черный полиэтиленовый пакет. Я задохнулся. Ноги подогнулись, и я сел. В спину умело ударили, видимо коленом, и совершенно точно в позвоночник. Получилось больно, на мгновение я потерял сознание, очнулся уже лежа на земле.

На спине у меня сидели, кажется, трое, во всяком случае, пошевелиться я никак не мог. Я вдохнул сильнее, пакет втянулся в рот, и я смог разгрызть пленку зубами. В легкие ворвался воздух, это неожиданно придало сил, и я смог подтянуть левую руку и сорвать с лица остатки пакета.

Передо мной лежал нож, раскладной, с серебряными накладками, на одной собака, на другой рыбка, очень хороший ножик. Я взял его и вытащил ногтями лезвие и без раздумий воткнул нож в ногу того, кто сидел у меня на шее. Тот взвизгнул и отвалился, стало чуть легче, и я свернулся на бок, свалив того, кто сидел у меня на ногах.

От недолгой беспомощности я почувствовал ярость, и теперь меня вела еще и она. Я работал ножом, подсекал подколенные связки, калечил ахилловы сухожилия, разрывал артерии. Через минуту я поднялся на ноги. Они стояли вокруг, не решаясь. Наверное, я был страшен. Я наклонился и поднял кистень, крутанул его над головой.

Немного тошнило от крови и от удушья, а так ничего.

– Лежать, – приказал я.

Но они не легли.

Я подпрыгнул и увидел: красный свитер двигался к реке и направо. Кажется, его тащили в сторону автомобильного моста.

– Как хотите, – сказал я.

Я прыгнул и ударил кистенем первого, кто оказался на пути. Кистень при правильном использовании – оружие чрезвычайно смертоносное.

Чтобы догнать Ерша, понадобилось минут пять. Я устал. У меня дрожали руки. Не знаю, скольких я убил, многих. Я догнал Ерша, схватил за руку и поволок к мосту. Не оглядывался, а зачем оглядываться...

К мосту.

Возле моста продолжали сидеть тысячи три ханов. Зажиточные. Хань и в спасающей своей жизни толпе умудряются делиться на тех, кто пробовал рис, и тех, кому никогда не вкусить даже проса. А тут сплошь кругломордые. Лучшая часть человечества. У каждого пластиковая бутылка с водой – эту воду им приносят охранники. У каждого – джутовый мешок в качестве одеяла. Сидят. Ерш взял меня за руку.

Хань улыбнулись.

– Встать, – сказал я. – Встать.

Никто не пошевелился. Так, значит. Еще неделю назад они бы смиренно стояли и в пол смотрели, а сейчас нет, волю почувствовали.

Я – Прикованный к багру. Я рожден от свободного отца и свободной матери, я сам свободный. В любой момент я могу покинуть остров, взойдя на любой корабль. Я могу отправиться в Японию и жить там совершенно свободно. Я могу убивать.

Выше меня только Человек, он – Прикованный к тачке.

– Я – Прикованный к багру, – сказал я. – Я не буду вас уговаривать. Если вы не расступитесь сейчас, большая часть из вас умрет.

Это было неправдой.

Но они поверили.

Гастелло – Долинск

В этот раз нам не повезло с отдельным вагоном, не получилось раздобыть и отдельного купе, с помощью капитана сил самообороны, которому я предъявила предписание префектуры, удалось достать одну нижнюю полку в купе проводников, на верхней лежал раненый офицер, кажется, моряк.

Выручивший нас капитан был невысоким и, по обыкновению для острова, невеселым человеком лет тридцати, с руками, покрытыми цыпками и глубокими царапинами, капитан имел сусличье лицо и жидкие рыжеватые волосы, я подумала, что он болен и думает скоро умереть. Он отозвал меня в сторону и стал необычайно нудно говорить о погоде: погода портится, очень портится и, возможно, скоро вовсе испортится, ожидается серьезное ухудшение погоды и все такое.

Потом он, разумеется, вручил мне письмо, и я, разумеется, пообещала передать его матери офицера, похожего на суслика. Офицер заплакал, неожиданно обнял меня и снова шепнул, что погода скоро *действительно* ухудшится.

Я поглядела на море: гроза, приходившая по ночам, снова втянулась за горизонт, небо оставалось чистым и немного светилось от электричества; поселок Гастелло, который раньше находился на этом месте, превратился в настоящую военную базу: палатки для бойцов сил самообороны, склады с горючим – синие пластиковые бочки, выставленные в пирамиды, машины и мотовездеходы. Поинтересовалась, зачем здесь вездеходы, капитан ответил, что с помощью них происходит отслеживание беженцев, которые предпочитают пробираться на юг через сопки, их перехватывают моторизованные патрули, после чего помещают в фильтрационные лагеря. После бунта в Александровске некоторое количество каторжных пытается добраться до юга, чтобы смешаться с условно свободным населением, уже были попытки захватить суда и выйти в море.

О состоянии дел в Углегорске никакой достоверной информации не было, дорога, ведущая к западному побережью, разрушена оползнями, радиосвязь прервана. По некоторым предположениям, ситуация там развивалась по сценарию Александровска; вообще, по словам капитана, положение крайне серьезное – с юга прибывают составы с колючей проволокой и напалмом, а у них тут проволоки и напалма и так девать некуда, они каждый день в западную сторону по три километра

протягивают, а людей катастрофически не хватает, здесь, в Гастелло, меньше пяти сотен, а за рекой с каждым днем на несколько десятков тысяч беженцев больше, колючая проволока, в случае чего, едва ли поможет. Поэтому они копают напалмовые ловушки на случай массового прорыва, ну и фильтрационная работа тоже отнимает много усилий – каждого надо осмотреть, каждого проверить на принадлежность...

Он говорил и смотрел в глаза, я никак не могла понять, зачем он все это рассказывает. Я попросила, если можно, раздобыть одежду и обувь – при переходе реки с Артема сняли ботинки, а у Ерша их никогда, судя по всему, не было – культяпки, в которые превратились его ноги, были покрыты толстыми мозолями и сами по себе походили на подошву; если честно, я не могла спокойно смотреть на это, поэтому обратилась к капитану. Ему явно хотелось поговорить еще, поэтому, высморкавшись, капитан проводил меня к пакгаузу, возле которого возвышалась целая гора обуви – капитан пояснил, что всех беженцев с севера разувают – босой человек гораздо послушней и вряд ли далеко убежит. Обувь, сваленная в кучу, оказалась скверного качества, видимо, всё приличное забрали себе солдаты, кое-как я отыскала две пары самодельных тяжелых ботинок, хотя капитан и сказал, что я могу брать сколько хочу.

Неожиданно завывли сирены, капитан вздохнул, подержался за мою руку и снова напомнил, что погода испортится, после чего, сутулясь, побежал в сторону комендатуры. На одной из вышек застучал пулемет, толпа за рекой завывала, я поспешила в вагон.

Состав, уходящий к югу, включал в себя двадцать вагонов, заполненных отфильтрованными босыми беженцами. Они погружались на обычные грузовые платформы – их не успели переоборудовать, и желающие отбыть на юг стояли впритык друг к другу, а некоторые висели по бокам. Вагон для раненых солдат и офицеров, в котором предстояло ехать мне, Артему и мальчишке, тоже оказался забит людьми, в нем лежало полным-полно раненых солдат, они заполняли все полки, а на некоторых умудрялись лежать и по двое.

Артем ждал в купе проводников; если честно, выглядел он плохо. Они оба выглядели плохо, и Артем, и мальчишка, которого он называл Ерш, – имя мы ему придумать на реке так и не смогли, не до того было, хотя, наверное, Ерш пойдет, он ведь из деревни рыбоедов. Красный свитер на Ерше превратился в сплошную рванину, дырок больше, чем целого, и сквозь эти дырки проглядывают царапины и ссадины. Стал похож на шарф.

Я стащила с него остатки свитера, взяла бутылку с антисептиком, щедро намочила тампон и принялась протирать. Ерш не шевелился, словно

окаменел, кажется, даже дыхание исчезло, моргать перестал. Пластыря заклеивать раны не нашлось, но, судя по количеству старых шрамов, повреждения переносились им неплохо. Я протерла его еще раз, поставила ампулу антибиотика и оставила подсыхать.

Артему тоже досталось, им я занялась после Ерша. Из одежды на Артеме сохранились только штаны, его кожаная куртка исчезла, рубаха была разорвана, вокруг шеи болтались обрывки ткани и кожаная петля. Плечи, да и туловище Артема пострадали серьезнее, чем у Ерша, кроме царапин и ссадин на нем еще имелись и укусы, то есть не то что отдельные укусы – Артем был покусан весь, укусы глубокие и кровоточащие. Ниток нет. Геля нет. Медицинской глины нет. Пластыря и того нет. Скверно. Поставила антибиотики, двойную дозу, лучше бы тройную, но испугалась, что Артем с непривычки не перенесет, вряд ли он с антибиотиками знаком.

Артем остался к моим манипуляциям равнодушен, сидел и смотрел в окно, поезд никак не мог тронуться. Ерш тоже стал смотреть в окно. Пахло кровью и спиртом. Я сняла макинтош.

Поезд не мог тронуться еще часа три, все это время мы сидели на полке и смотрели в окно, это было так здорово – сидеть и смотреть на море сквозь муть. Ерш закрыл глаза, привалился к стене и провалился в сон. Артем закутал его в одеяло и положил в рундук под полку, сказав, что там ему будет спокойнее. А я подумала, что мне самой неплохо бы в такой сундук и поспать часов десять, но нам сундука не досталось, мы устроились на полке, я у окна, Артем у двери.

В вагоне пахло по большей части медицинскими препаратами и кровью; раненые ехали не сами по себе, за ними присматривал врач, под халатом не видно, какого звания, но плешивый, с длинными, зачесанными набок волосами, тщетно пытающимся прикрыть лысину. Я думала о том, что здесь, на Сахалине, японцы другие, точно позапрошлые. Вот глядишь на них, и на ум приходит начало двадцатого века, деревенские учителя с прокуренными коричневыми зубами, врачи, страдающие лишаем и близорукостью, подагрические истеричные журналисты и торговцы опиумом, столь живописно воспетые в классической литературе, глядишь и думаешь, что время на Карафуто обладает другими свойствами; если в Японии оно подталкивает тебя в спину, поторапливает, то здесь оно словно обволакивает, впитывается в кости и мясо, производит медленное и разрушительное действие.

Карафуто ест людей.

Здесь почти никто не следит за собой, видимо, оставляя это на возвращение домой. Здесь не моют лица и носа, отчего у офицеров щеки и

нос часто покрыты угрями, а уши грязны и заросли неприличной жесткой шерстью. Здесь не берегут одежду, когда она приходит в негодность, ее не выбрасывают, а чинят подручными средствами – на Сахалине вы легко встретите подполковника, чей мундир будет протерт на рукавах, прорван по бокам и самым грубым способом заштопан в разных местах.

Старшие офицеры практически поголовно худы и при этом нездорово пузаты, что наводит на мысли о поражении их кишечника паразитами, они обрюзгли и хромоноги от употребления самогона, белкового эрзаца и соленой черемши. Черемша является здесь самой популярной культурой и составляет значительную долю стола условно свободных, впрочем, и свободные японцы употребляют ее с большим удовольствием, утверждая, что эта трава укрепляет здоровье и нервную систему. Стоит ли говорить, что практически во всех местах стоит головокружительный чесночный запах, на непривыкшего человека производящий тяжелое впечатление.

Многие офицеры постоянно подкашливают от курения, которое здесь принято повсеместно, причем курят, как правило, дрянной табак, который для крепости смешивают с толченой костью и мхом.

Младший офицерский состав, подражая солдатам, отращивает безобразные бороды и щеголяет друг перед другом дикостью их форм и размеров, хотя это и категорически запрещено уставом. Но, судя по обилию на острове бородачей, не возбраняется обиходом, в результате построение даже небольшой караульной роты напоминает варварский сход.

Что говорить о других жителях, если сами японцы, являющиеся привилегированным и властвующим сословием, далеки от элементарной опрятности и от элементарной же гигиены? Я хмыкнула от этих неуместных мыслей, куда от них деться, от прежних мыслей? Надо думать, как убираться отсюда, а думается почему-то о глистах встреченного с утра господина полковника, о том, что господин полковник астматик, что у него артроз, что если он и вернется домой, то умрет очень скоро. А еще я убила Сиро Синкая, кажется, лучшего поэта нашего времени. Но его и без меня кто-нибудь бы убил.

Доктор принес нам воды. Я поблагодарила. Доктор сказал, что скоро поедем, некоторые проблемы с тепловозом.

Ерш спал. Артем молчал, как обычно, сидел, привалившись к стенке купе, разглядывал свой багор, точно соскучился по нему, или это казалось мне? Впрочем, вполне может стать, что и соскучился.

Раненый офицер на верхней полке очнулся и тяжело заворочался, наверное, у него была ранена не только голова, но и легкие, поскольку с каждым вдохом он хрипел, внутри у него клокотало и булькало. Думаю, он

стыдился этих своих звуков, поэтому он то и дело включал заводную шкатулку, игравшую одну и ту же мелодию. Странно, но эта музыка ничуть не раздражала, это была глупая детская песенка про веселых утят, которые одурачили прожорливого крокодила и зажили счастливо на солнечном берегу. Каждый раз, когда в проигрывателе заканчивалось электричество, раненый упрямо взводил пружину, запуская миниатюрную динамо-машину, добывавшую ток и запускаявшую воспроизведение утят. Я очень быстро привыкла к этой песенке, она оказалась привязчивой и крутилась в голове без перерыва, однако во время очередного проигрыша в аппарате что-то оборвалось, и музыка закончилась, утята уже не плясали вокруг воды. Вероятно, лопнула пружина.

Тогда офицер начал говорить. Я давно заметила – многие совсем незнакомые люди в моем присутствии начинают болтать так, словно мы старые друзья, причем часто рассказывают больше, чем хотелось бы слышать. Особо разговорчивость просыпается тогда, когда люди узнают сферу интересов, слово «футурология» оказывает на собеседника волшебное действие, звучит как заклинание, пробуждающее неожиданное красноречие. В футурологии разбираются все, во всяком случае, у нас за проливом. Здесь же ситуация немного другая, про будущее приходится выспрашивать, но вообще поболтать, не про будущее, как я заметила, любят. Вот и раненый офицер.

Когда его музыкальная машинка испортилась, он помолчал немного, а потом безо всякого предупреждения принялся рассказывать о том, что все очень плохо. Нет, сначала все было хорошо, его сосед по улице, прослуживший на Сахалине всего четыре года, вернулся домой в полнейшем довольствии, и дело не в жалованье, которое, по нынешним меркам, недурно, но еще и в широчайших возможностях получать всевозможные доходы с разных сторон. Сосед раненого офицера с верхней полки, пребывая в частях самообороны по части обеспечения, быстро встрял в нужное место и наладил снабжение гарнизонов обмундированием, в результате чего сейчас жил в двухэтажном домике с садом и маленьким прудиком. Сам офицер, в тот момент как раз заканчивавший высшие офицерские курсы, насмотревшись на соседскую удачу, вызвался интендантом на Сахалин.

Очень быстро молодой офицер нашел несколько достаточно необременительных способов возвышения своего имущественного статуса – он договорился с многочисленными гарнизонными поварами, которые умели готовить вкусно, но бережно, а все сэкономленное интендант весьма выгодно менял на тайные снадобья, производимые китайскими

врачевателями; снадобья офицер переправлял в Японию, где их реализовывала его невеста.

Так же быстро офицер, ставший интендантом, нашел общий язык и с местными промышленниками из числа условно свободных, в частности, с держателями лягушачьих садков – продукцию этих садков он поставлял в солдатские столовые, чем разнообразил рацион питания и, опять же, сумел сэкономить на консервах, консервы же были универсальным и чрезвычайно востребованным товаром. Затем интендант наладил тесные связи с подпольными эмигрантскими конторами. За вознаграждение они отбирали из числа островных наиболее крепких и здоровых юношей и девушек, а интендант заботился о том, чтобы эти юноши и девушки по прибытии в Японию попадали на работу во вполне определенные корпорации.

Благополучие офицера росло, и он подумывал, не взять ли ему в соответствии с модой в жены китайскую девушку из приличной семьи и с хорошим приданым, однако тут, как назло, приключилось это проклятое землетрясение. Нет, трясло и раньше, но чтобы так сильно – никогда. Буквально за час пересохли все лягушачьи садки, китайцы немедленно затеяли бунт и с удовольствием разграбили личный склад интенданта, забрали все, что удалось скопить за два года честной сахалинской службы. Дальше стало хуже – из-за нехватки личного состава офицеру вручили пулемет и отправили командовать заставой на окраине города; едва бывший интендант успел поставить на точки пулеметы, как на них вышла многотысячная банда китайцев под предводительством беглых каторжников.

Он бился, как лев.

В доказательство этого офицер продемонстрировал мозоли на правой руке, произошедшие оттого, что он слишком много стрелял из пулемета, и ожоги на руке левой, которой он менял стволы пулемета; и синяк на правой щеке, образованный отдачей приклада пулемета. Патронов хватило надолго, но китайцы валили и валили, им не было конца, офицер и его товарищи держали оборону до последнего выстрела, до последней гранаты. Потом китайцы прорвались и всех в городе убили, а интендант целый день прятался под деревянным тротуаром, ведущим от складов к уборной. И целый день по этому тротуару ходили сотни китайцев, они ходили по его рукам, по его ногам, в результате чего офицеру сломали несколько ребер, кроме того, он, лежа на земле, простудился, и сейчас у него явно развивалось воспаление легких.

Он сбежал ночью, ему повезло.

Офицер неожиданно заплакал, и непонятно от чего: от того, что

провалились его коммерческие предприятия, надежды рухнули или оттого, что ему было больно, да мало ли? Заплакал и стал снова пытаться завести проигрыватель, но проигрыватель щелкал внутри смятой пружиной, никак не отзываясь на усердие офицера. Попытавшись минут пять, он оставил эти упражнения и снова стал рассказывать. В этот раз про чудесные китайские лекарства, приготовляемые по рецептам секретной тайной медицины; с виду эти лекарства вроде как грязь грязью, но на деле весьма забавны, надо лишь знать, как их использовать.

Послышался гудок тепловоза, и поезд тронулся, окно нашего купе выходило в сторону моря, однако хоть что-то разглядеть сквозь него было затруднительно – таким оно было грязным, пробирался только лишь свет, да и то не без потерь. Я увидела, что Артем спит; глаза его были закрыты, голова свесилась набок и покачивалась в такт с вагоном.

Офицер, неудачливо отслуживший интендантом, этот усердный пулеметчик, замолчал, он тоже уснул, теперь все спали. В купе несколько раз заглядывал врач, он проверял состояние интендантского офицера, делал ему уколы, щупал пульс и закатывал веки.

Наверное, через некоторое время и я уснула, неспешность нашего передвижения, рассеянный свет из окна и долгие рассказы офицера произвели на меня усыпляющий эффект, незаметно я сползла в дрему, причем в редкую ее разновидность, когда снится солнечное поле, и солнце пробивается через закрытые веки, и верится в новый день. Явь пыталась проникнуть в мой сон, однако сон победил, и я проснулась в солнечной ловушке, хотелось только спать, я ощущала сквозь сон, как поезд идет, покачивается на стрелках, останавливается на разъездах и снова отправляется в путь.

Я проснулась от того, что солнце, прорвавшееся в мои полугрезы, погасло; я открыла глаза и увидела, что моря слева нет – состав, до этого идущий вдоль побережья, двинулся в глубь суши, и теперь за окнами ползла однообразная зеленка, выгоревшая зеленка.

Злосчастного офицера интендантской службы уже не было на верхней полке, вместо него на диване лежал молчаливый механический проигрыватель. Я подумала, что офицер вышел в уборную, однако он не возвращался слишком долго, и я позвала дежурного врача.

Сопровождающий вагон врач удивился и отправился по составу искать раненого, однако скоро вернулся ни с чем, он присел на полку, отдышался и предположил, что раненый, вероятно, в приступе паники выскочил из вагона. Врач поведал об этом с явным облегчением, а еще заметил, что так, наверное, лучше.

Он устал и тоже хотел поговорить, наверное, они в последнее время мало с кем разговаривали. А может, ему надоело общаться с ранеными.

Врач рассказал, что выпрыгнувшим человеком был печально известной славы капитан Масада, безобидный сумасшедший, повредившийся рассудком еще задолго до землетрясения на почве дурных предчувствий. Врач усмехнулся, а я заинтересовалась этим случаем и вообще тем, насколько распространены на Сахалине сумасшествия и другие психические отклонения.

Врач погладил мой макинтош, на его лице мелькнула тоска, думаю, по ушедшим временам и по себе самому. А про психические отклонения врач ответил, что особой статистики не ведется ввиду ее бессмысленности; при столь значительном количестве населения, его скученности и недостатке любых ресурсов разного рода, деменции и девиации среди условно свободных поселенцев являются нормой. Причем зачастую эти явления носят массовый характер. Кликушество, истерическая левитация, аутосекция, пищевые перверсии, заместительный мазохизм и искупительное ясновидение, при желании за несколько лет можно составить настоящий сборник редких, порой уникальных психических отклонений. Любой медик, специализирующийся по душевным недугам, сможет сделать на острове быструю научную карьеру, если сам не тронется умом, впрочем, желающих практиковать здесь нет. Психопатология на острове – удел лишь аматоров, таких, как он.

На мой вопрос о способах лечения и профилактике этих отклонений врач ответил, что на это нет ни средств, ни людских возможностей. В результате эти девиации не затихают, а культивируются, образуя причудливые формы.

– Вы знаете, что здешние жители практически все панически боятся зеркал? – спросил врач.

Я не знала.

– Спектрофобия в том или ином виде отмечается практически у всех ханов, – рассказывал он. – Они не могут переносить собственного отражения. Если хотите до смерти напугать поселенца – покажите ему зеркало. Но боязнь зеркал еще хоть как-то объяснима с точки зрения пусть и вывернутой, но логики. Но как объяснить боязнь мостов? Боязнь ногтей? Боязнь белого?

– Боязнь белого?

Врач кивнул. Он нашел слушателя и теперь с удовольствием рассказывал про бушующие на острове психические расстройства, лишь иногда, когда раненые в вагоне начинали стонать особенно громко,

высовываясь в коридор и подгоняя санитаров.

Боязнь белого, по его наблюдениям (а он успел послужить врачом в разных краях острова, за исключением севера), особенно свирепствует в угольных регионах. Ей подвержены многие шахтеры, и проявляется она в тотальной непереносимости белого цвета. Любое, пусть хоть и кратковременное созерцание белого отправляет страдальца в обморок.

Я спросила, как такие переживают зиму с ее снегом, врач ответил, что зимы стали не в пример короче ранешних, а углекопы и углежоги, подверженные этому отклонению, просто не выходят на поверхность из своих копей, предпочитая пережидать белое время под землей.

– А боязнь ногтей?

Оказалось, что боязнью ногтей маются немало условно свободных, болезнь достаточно распространена и комична на первый взгляд.

– Скорее всего, это некая разновидность обсессивно-компульсивного синдрома, – пояснил врач. – В крайних, разумеется, формах. Больные вдруг начинают ощущать собственные ногти и волосы чужеродными предметами и всеми силами стараются от них избавиться. Волосы жгут и выщипывают, ногти обгрызают. Пожалуй, даже не обгрызают, а выгрызают вместе с мясом, порой вырывают. Долго носители ногтебоязни не живут, поскольку через раны на пальцах велика вероятность заразиться столбняком и другими заболеваниями. Да и выглядит это, надо признаться, прескверно...

Доктор замолчал и неожиданно вытащил из кармана брюк железную флягу, открыл ее и без предупреждения стал пить, распространяя вокруг сильный запах картофельного самогона. Мне он выпить не предложил, но, я думаю, не из-за невежливости, а стесняясь скверных вкусовых достоинств напитка. Заодно врач подтвердил мое наблюдение о том, что здешнее офицерство злоупотребляет спиртными продуктами.

Врач опустошил, наверное, половину фляги, долго морщился, прислушиваясь к ощущениям, возможно, отчасти ими упиваясь, потом сказал:

– Но хуже всех, конечно, самоубийцы.

Врач приложил флягу ко лбу, как бы подтверждая недавно полученные ощущения, закрепляя их, впечатывая в бытие. Это было очень цельное поведение, последовательность манипуляций с флягой выглядела естественно и чрезвычайно укоренено в действительности, все в соответствии с идеями профессора Ода, советовавшего мне обращать внимание на такие явления. Когда в прахе дней и в бессмысленном беге суеты ты замечаешь мелочь, на первый взгляд бестолковую и бездарную, но непостижимым образом притягивающую к себе внимание, это значит, что

будущее посылает тебе телеграмму о скорой и неременной встрече. Будущее беспощадно, будущее не ждет.

– Самоубийцы хуже всех, – повторил врач, убирая флягу обратно в брюки.

Я не стала с этим спорить, в этом много истины, к тому же мне, как футурологу, самоубийцы омерзительны в сути своей, ибо осознанно отрицают будущее, бессовестно бросая свою жизнь ему в лицо.

– Самоубийства – это печальные будни Карафута, – равнодушно сказал врач. – Хотя считается, что в сложные периоды жизни тяга к самоубийству снижается, на деле это несколько не так. Во всяком случае, не здесь. В некоторых районах это поощряется, поскольку считается, что подобное поведение уменьшает плотность демографического давления, семья самоубийцы получает особый паек – дрова, перловку, воду. Однако не следует полагать, что самоубийства распространены исключительно среди подлых сословий. Знаете, еще несколько лет назад самоубийства были модной формой досуга в частях самообороны, дислоцирующихся на острове. Возник целый культ, который, впрочем, не имеет ничего общего с благородным обычаем сепуку...

Врач в задумчивости погладил себя по рукам, увидел лежащий на столике заводной инструмент капитана Масады и потрогал его пальцем.

– Молодые офицеры объединялись в клубы, в которых самоубийство было обставлено особым, частенько фантасмагоричным и нарочито нелепым ритуалом. Вы же помните, как там...

Врач потер пальцами лоб.

– Некий самурай... уж не поручусь за имя, пусть будет хоть и Морисей... Так вот, Морисей, потупив взор долу, прочитал прощальное трехстишие, после чего взобрался на дозорную вышку и, зажав зубами меч, кинулся вниз. И меч, острый, как резец Хокусая, отсек ему голову. Как там дальше?

Врач пренебрежительно рассмеялся.

– Я точно не поручусь, – сказала я. – Но по-моему, там еще кто-то таким же образом с вышки бросился. Десятки воинов последовали этому примеру, кажется, так?

– Мы, японцы, в душе большие романтики, – почесался врач. – Но эта проклятая земля... Она все искажает. Великое становится пошлым и смешным. В нашей части служили два офицера. Как-то раз они поспорили, кто из них сможет покончить с собой наиболее грандиозно...

Первый офицер не смог удивить публику ничем оригинальным: банально застрелился из ручного огнемета. Второй офицер проявил гораздо

большую изобретательность. Его способ покорила сердца гарнизонного офицерства как своей нарочитой бестолковостью, так и утонченностью, понятной далеко не каждому. Культурные офицеры, особенно те, что происходили из приличных традиционных семей, оценили *высказывание* офицера, совершенное им как бы за границей случившихся событий, второй и третий смысл этого поступка. Способ же был таков: образованный офицер вышел на балкон здания комендатуры, закрыл за собой дверь, поставил перед перилами стул, рядом с собой установил кувшин с водой, а на колени положил том дневников Арисимы Такэо, изданных уже после Реставрации. Офицер вырывал из книги страницы, жевал их и, запивая водой, глотал. Надо сказать, что качество бумаги, равно как и качество типографской краски, в послевоенный период сильно ухудшилось, поэтому дневники Такэо скоро привели желудок офицера к катастрофе. Бумага быстро набухла, а свинец начал стремительно впитываться в кровь. У офицера случился заворот кишок и серьезное воспаление, ему стало худо, однако он не отступил и продолжил есть бумагу.

Некоторые офицеры пытались его спасти, в частности, сам врач неоднократно предлагал упряму, пока не поздно, прибегнуть к оперативному вмешательству, а когда было поздно, облегчить страдания, однако образованный офицер строго запретил это делать. На протяжении двух суток он погибал в нечеловеческих муках, а когда все-таки потерял сознание, командир гарнизона приставил к балкону лестницу и, взобравшись по ней, прекратил мучения своего подчиненного.

Его смерть потрясла многих, о ней узнали и в Японии; говорят, что Император, кстати, сам большой поклонник таланта Арисимы Такэо, узнав о поступке офицера, прослезился.

Артем оскорбительно расхохотался, видимо, доблесть офицера его не впечатлила, врач тоже улыбнулся. Поезд снова выбрался к морю.

Был штиль. Из-за горизонта поднимался дымный столб чудовищной толщины и высоты, такой мог на самом деле подпирать небо. Врач предположил, что это проснулся один из вулканов Курил, видимо, на Итурупе, я согласилась, это могло быть так. Вспомнила патэрена Павла.

– Красиво, – сказала я.

Вспомнила Синкая. И одно его стихотворение из зимней книжки. Про девушку, живущую у подножия вулкана. Ее просят переселиться в безопасную тихую долину, но она может жить только там, где гора.

– Да, – повторил врач, – мы романтики. Вряд ли остался в мире хоть один народ, способный на великое. Впрочем, надо признать, что в мире почти никого не осталось...

Он не удержался и поприветствовал свою флягу еще раз и, посмеявшись, продолжил свой рассказ. Он снова и снова рассказывал мне о самоубийствах в гарнизонах, на гауптвахтах, на судах береговой охраны, в кантинах и в самодеятельных театрах, о смешных, нелепых или, напротив, высоких, а потом, когда эти истории стали повторяться и быть подозрительно похожими друг на друга, я немного прокашлялась, и врач перешел на другие популярные патологии. Эти другие патологии среди свободных, как гражданского, так и воинского звания, встречались нередко, по приблизительным подсчетам врача – в четыре раза чаще, чем в Японии, к тому же они проявляются несомненно ярче и разрушительней.

Артем опять спал. Ерш спал.

Врач отметил, что заболевания, присущие условно свободным ханского происхождения, к сожалению, зачастую охватывают и японское население. В частности, помимо капитана Масады, видевшего будущее, большую известность и скандальную популярность в определенных кругах получил лейтенант Фукуи, несший службу на одном из постов береговой охраны в Анивском заливе и в некий прекрасный день встретивший на побережье демона, покрытого створками раковин гребешка. Их радужные переливы произвели на Фукуи такое неизгладимое впечатление, что он в одночасье приобрел сильнейшее расстройство нервной системы, скоро проявившееся в тяжелой форме копролалии. Причем по роковому стечению обстоятельств страсть к выкрикиванию немотивированных ругательств была усугублена тем, что эти ругательства несчастный Фукуи адресовал всегда высшим должностным лицам, от господина префекта до членов правительства и лиц императорской фамилии.

Лейтенант пробовал бороться со своим недугом, заклеивая себе рот, однако кроме блудословия он, как на грех, страдал еще и хроническим насморком, а значит, дышать через нос не мог. Оставлять лейтенанта на службе не было никакой возможности, поскольку как боевая единица лейтенант больше не годился ни на что – он либо виртуозно сквернословил, либо задыхался от собственных соплей. В результате лейтенант был признан инвалидом службы и демобилизован...

Врача отозвали в вагон, и некоторое время я пыталась сама представить, что же дальше произошло с несчастным лейтенантом Фукуи. Артем спал, улыбаясь во сне, Ерш молчал в рундуке, за окном тек холмистый пейзаж, и, наверное, впервые я его немного понимала. Остров.

Врач вернулся, на его халате прибавилось несколько свежих пятен, руки у него заметно тряслись, и, чтобы унять эту дрожь, врач принялся грызть ногти. Я испугалась, что сейчас он их выгрызет, но доктор взял себя

в руки и продолжил рассказ про лейтенанта Фукуи; а я отметила, что рассказывает врач складно и красиво, то ли от картофельного самогона, употребленного им, то ли от того, что многие врачи склонны к долгим беседам.

Итак, стыдясь своего непристойного дефекта, лейтенант Фукуи отказался выезжать в Японию, где его непременно бы ждала незавидная участь психбольного, принудительное лечение и, скорее всего, верная лоботомия. Фукуи стал бродягой, долгое время скитался по южной части острова, питаясь чем придется, ночуя на земле, с каждым месяцем приходя во все большую негодность. В один из дней, мучимый голодом и отчаяньем, он ворвался в офицерскую столовую Корсакова, подбежал к котлу с лапшой и принялся ее вызывающе есть. К этому моменту лейтенант Фукуи выглядел обтрепанно и подержанно, повар хотел окатить его кипятком, но потом по каким-то чертам опознал в нем японца и избил на заднем дворе. Организм Фукуи, у которого начиналась цинга, перенес побои с трудом. Тогда он лишился большей части зубов и очень неудачно раскусил язык, так что кончик его раздвоился и стал напоминать змеиное жало.

Фукуи впал в отчаянье и хотел удавиться в нужнике, но украденная им веревка не выдержала, и замысел не осуществился. Падая из оборванной петли, Фукуи ударился лицом о дверь и свернул набок нос. Лейтенант вышел из уборной окровавленный и рыдающий, и побрел по улице, которая неожиданно привела его на центральную площадь Корсакова, где по случаю девятого числа проходило мордование негра.

Поскольку это была не годовщина, а обычное девятое число, мордование вершилось без присутствия приличной публики и представляло собой дежурное поливание сидящего в клетке американца пометом и грязью. Китайцы не особо старались уязвить сидящего в клетке, однако появление лейтенанта Фукуи изменило ситуацию – под впечатлением от перенесенных душевных волнений Фукуи впал в припадок сквернословия и пустился с бешеным воодушевлением ругать правительство и имперские ценности, но из-за отсутствия зубов и сломанного носа слова из Фукуи посыпались хоть и яростные, но вполне себе неразборчивые. Вид же самого Фукуи, худого, с растрепанными волосами и горящими глазами, однозначно указывал на необходимость более интенсивного закидывания нечистотами американца, в результате чего воодушевленные горожане практически погребли несчастного янки под градом испражнений, грязи и помоев.

С тех пор жизнь Фукуи сильно переменилась. Его стали приглашать на

все массовые собрания, где он, придя в истерический экстаз, бранился и обличал, за что потом получал свою миску супа и несколько горстей крупы. Скоро Фукуи сделался неотъемлемой частью схода подпольных либерал-демократов, с одной стороны, и официальных имперцев-националистов – с другой. Дело в том, что Фукуи, воспрянув, выправил себе вставную челюсть, так что если публика хотела послушать виртуозную брань в адрес правящего режима, то Фукуи вставлял челюсть, если же требовалось пламенной речью прославить дух Императора и его мудрую политику, челюсть достаточно было вынуть.

– Вот так мы здесь и живем, – вздохнул врач. – Карафуту ест людей.

– Но вы же можете уехать, – сказала я. – После окончания своего контракта...

Врач помотал головой и с прискорбием сообщил, что лично он уехать не может, поскольку он не совсем на службе, он – условно свободный, его каторга закончилась пятнадцать лет назад, после чего его приняли на медицинскую должность – на острове чудовищная нехватка врачей, поэтому негласно разрешено принимать в качестве гражданских специалистов бывших каторжных. Я не стала спрашивать, за что он угодил на каторгу, но доктор, не стесняясь, рассказал, что попал сюда за кражу наркотических веществ и за жестокое обращение с животными, и тут же пояснил, что наркотики он воровал для больного дельфина. Дельфин якобы служил в силах береговой обороны и выслеживал еще не потопленные вражеские субмарины, а после потопления последней был списан из флота по ранению, жил в дельфинарии, а потом, утратив силы, был отправлен на ворвань, но спасен патриотами. В армии дельфин пристрастился к стимуляторам и без них чувствовал себя несчастно, поэтому тогда еще молодой врач похищал их с медицинских складов, впрочем, он и сам скоро пристрастился к наркотикам. Приговор оказался суров – каторга. Вышло так, что врач пострадал за сострадание. Я не очень поверила в сказку про дельфина, но спорить не стала, мне нравились эти враки. К тому же они скрашивали невыносимо медленное продвижение состава и отвлекали от стонов раненых. И от других мыслей.

Врач оказался интересным человеком и приятным рассказчиком, ради этого я смирилась и с привычкой грызть ногти, и с ароматом сивушных масел, и пятнами засохшей крови на халате.

– Сахалин – это страх. Мы боимся. Боимся зимы – потому что холодно, боимся лета – потому что жарко, боимся землетрясений, беглых каторжников, сумасшедших боимся. Их все боятся. И сумасшедших, и сумасшествя. Я знал одного...

Врач замолчал, прислушиваясь к дорожным звукам, к перестуку колес и лязганью вагонных буферов, и забыл, что хотел рассказать, и произнес дрожащим голосом:

– И разумеется, здесь все боятся МОБа. Впрочем, ничего удивительного...

Он поглядел в окно, на дым за горизонтом. Дым стал похож на дерево, проросшее из моря к небу, связавшее их надежной лестницей, по которой вот-вот должны были сойти боги с брезгливыми лицами.

Ничего удивительного, большинство населяющих Сахалин бежали сюда, как раз спасаясь от мобильного бешенства, причем большинство из этих бежавших не представляют, что такое есть мобильное бешенство, а отсутствие информации порождает совершенно фантастические легенды.

– В представлении здешнего жителя, МОБ – отнюдь не инфекция, не болезнь, – рассказывал врач. – Это что-то среднее между злым духом и проклятьем, которое может обрушиться на человека. Вокруг мобильного бешенства наворочено столько мифов и предрассудков, что иногда сам начинаешь в них верить...

Врач взял со столика музыку капитана Масады, провернул ручку, аппаратик издал сломанные звуки, никаких мелодий, никаких утят.

– Например, существует поверье, что носители мобильного бешенства невероятно критичны в выборе своей жертвы. Что, если человек страдает, допустим, выраженными кожными заболеваниями, инфицированный на него никогда не накинется. Поэтому многие условно свободные потворствуют этим самым заболеваниям, чесотке, лишаям, фурункулам, экземе. Понимаете, такое распространение кожных недугов приводит к массовым эпидемиям... Хотя всем наплевать. В задачи префектуры не входит поддержание здоровья местного населения, скорее наоборот – чем этого населения меньше, тем лучше... Но с точки зрения футурологии...

– Откуда вы знаете? – перебила я довольно невежливо.

Врач усмехнулся:

– Видите ли, ваш визит... – Он покраснел. – Ваш визит не остался без внимания общества, редко когда в наши края хоть кто-то приезжает. А такая девушка... Одним словом... Ну, все говорят. Кто бы мог подумать, футурология! И это в наши дни...

– В наши дни футурология актуальна как никогда, – возразила я. – Будущее определяется как раз в подобные дни.

– Может быть, – не стал спорить врач. – Может, вы и правы... Но мне кажется, что между нами и будущим... пропасть. Вы не представляете...

Он в очередной раз нащупал флягу.

– Распространено совершенно дикое поверье, что мобильным бешенством не может заразиться человек, перенесший клиническую смерть...

Фляга застряла в кармане брюк, и врач немного ерзал, стараясь вытянуть ее пальцами.

Кажется, тут я не выдержала и все-таки хихикнула.

– Да-да, – горячо подтвердил врач. – Именно так! Считается, что два раза умереть нельзя, поэтому те, кто однажды умирал, не могут быть носителями! Безумный бред! Недалеко от Шахтерска существует целая деревня знахарей, предоставляющих услуги по контролируемому умертвию с обязательным дальнейшим воскрешением...

– Но ведь на территории острова не зарегистрировано ни одного достоверного случая мобильного бешенства, – перебила я. – Карантин надежно соблюдается.

– Это так, но... Многие здесь находящиеся пережили вспышку на континенте. Они рассказывают ужасные вещи... Хотя что может быть ужасней нашей жизни...

Врача позвали. Он пообещал, что в наше купе никого больше не посадят, так что я заняла полку капитана и смогла поспать несколько часов. Мне снился сон, в котором я умела играть на скрипке.

Когда я проснулась, мне показалось, что поезд сильно замедлил ход. Я опустила окно, выглянула и обнаружила причину этого замедления – весь состав был заполнен людьми: они сидели на крышах и цеплялись к платформам, они облепили тепловоз и набились между вагонами. Состав походил на огромную гусеницу, состоящую из людей, только санитарный вагон был свободен от них – на крыше дежурили несколько солдат, сбивавших лопатами всех, кто пытался прицепиться.

Мы снова отвернули от моря, и теперь поезд двигался между сопками. Вдоль насыпи шагали люди. Некоторые пробовали повиснуть на составе, другие не рисковали и шли самостоятельно. Проснувшийся Артем смотрел на них с опаской. Пока не стемнело, мы продвигались через идущих людей. Когда стемнело, их не стало видно. Мы прибыли в Долинск в полной темноте, и я не смогла его рассмотреть, видела лишь станционные здания и лучи прожекторов, бьющие в небо.

Артем достал из-под полки Ерша, тот пребывал в деревянном состоянии, не двигался, пришлось полить его водой.

Заглянул врач, сообщил, что наш вагон отцепят и переведут на санитарный двор для фильтрации. Я спросила его о будущем. Врач не ответил. Письмо никому передавать не стал.

Фильтрация прошла быстро. Раненых осматривал врач и обнюхивала овчарка, после чего их переправляли в госпиталь, развернутый в ангаре железнодорожного депо. Я опасалась за Ерша, но овчарка на него не отреагировала. Отреагировал карантинный офицер.

Офицер сообщил, что к югу от Долинска начинается закрытая зона, все беженцы должны остаться здесь для проверки, нам с Артемом можно двигаться дальше. Офицер был бледен и кусал губы; я поинтересовалась, что его так беспокоит, и он сообщил, что эпицентр землетрясения, которое разрушило Александровск и, видимо, Углегорск, находился в пятидесяти милях от восточного побережья Хоккайдо, Сахалин же пережил фактически афтершоки, хотя и достаточно разрушительные; по слухам, по всем прибрежным японским префектурам прошла серия разрушительных цунами, так что военное положение введено на всей территории Империи. Это означало, что скорой помощи ожидать не стоит, что все придется расхлебывать самостоятельно.

Я решила узнать о том, что нам сказал старый каторжник на Тыми – есть ли вероятность, что Сахалин, собственно, перестал являться островом? Офицер побледнел еще больше, повторив, что сведений об этом не поступало, но сведений вообще не поступает, и как обстоит дело на самом деле...

Офицер поморщился. Далее он предложил нам проследовать в комендатуру для определения дальнейшей нашей судьбы, поскольку насчет Ерша у него сильные сомнения, хотя овчарка и пропустила.

Проследовали.

Комендант – штатский издерганный человек, которому было исключительно не до нас. Он сказал, что раз в сутки в Южный отправляется колонна с грузовиками и он может похлопотать о местечке лично для меня, сопровождающего – комендант с недоверием поглядел на Артема – и экспонат – на Ерша комендант поглядел брезгливо – он отправить не может, поскольку мест не хватает.

Опять пришлось устраивать скандал, поминать Императорский университет, прадедушку и еще многих высокопоставленных лиц, с которыми я и знакома-то не была, трясти предписанием от самого господина префекта, профессор Ода тоже всплывал, впрочем, в этот раз тактика не сработала. Комендант объявил, что на острове введено военное положение и все предписания, выданные гражданской администрацией, не имеют силы; единственное, что он может сделать, – так это ради уважения к моему отцу и почтения перед моим прадедушкой определить мне место в одной из санитарных машин. Одной.

Я отказалась. Комендант смутился и сказал, что в Южном ситуация может быть иной, не такой напряженной, вполне возможно, что удастся получить транспорт там и дальше выбираться к портовому городу, к Холмску, к Корсакову, а еще лучше к Невельску – оттуда получится эвакуироваться вернее. Я сгоряча объявила коменданту, что никуда не собираюсь эвакуироваться с Сахалина, напротив, у меня возникло живое желание остаться здесь подольше, поскольку именно в переломные моменты будущее подступает к настоящему особенно сильно, порою с ним, с настоящим, сливаясь воедино. Неудивительно, что комендант поглядел на меня с прискорбием...

– Вы не понимаете, что здесь происходит, – сказал он, покачав головой. – Не понимаете... Впрочем, я никак не могу вам препятствовать. От нас до Южного дневной переход, местность обжитая и относительно контролируется властями. Выходите утром, я распоряжусь предоставить вам место на складе...

Писем комендант передавать не стал, пожелал удачи. О будущем я не стала его расспрашивать.

Комендант все-таки помог. Место на складе. Это был склад всего, то есть не склад, а скорее свалка разных вещей. Артем сказал, что это с кораблей мертвецов. Пояснил – Мировой океан, да и Атлантика до сих пор богаты судами с погибшим экипажем, танкеры, сухогрузы, круизеры периодически выбрасывают на берег. Они забиты барахлом, его перебирают особые команды, свозят на склады, так что нам повезло.

Мы заправились водой из резервуара во дворе комендатуры, залили фляги и пластиковые бутылки и напились впрок, кроме того, на складе добыли одежду для Артема и Ерша – комбинезоны и куртки. Артему все было впору, Ерш же в этом утонул, но не важно. Пыталась еще достать патронов для пистолетов, но выяснилось, что подходящих нет; это была моя ошибка – при подготовке к путешествию не подумала о том, что стрелять придется часто и обильно, не послушала отца, советовавшего взять стандартные армейские пистолеты, пусть они и тяжелее, зато практичнее в полевых условиях. В который раз убеждаюсь в том, что отца следует слушать. Когда вернусь домой, обязательно ему это скажу, ему понравится. Ему всегда нравится, когда он оказывается прав, а я не права.

Мы устроились между ящиками с обувью и уснули. Несколько раз я просыпалась от несильных толчков и замечала, что Артем не спит. А Ерш спал, ему все равно. В сопках слышалась стрельба. Потом я снова засыпала, с некоторых пор я без всяких сложностей засыпаю под стрельбу. Стрельба и стрельба, почему бы не пострелять?

Поднялись в путь с утра. Был странный день, солнце взошло, но через дым, растянувшийся по всему горизонту, пробивалось с трудом. Восток был красен, запад темен. Сквозь багровые сумерки я с трудом различала Долинск, впрочем, Артем сказал, что смотреть здесь не на что. Много грузовиков и людей, отфильтрованные беженцы, тысячи тысяч.

Артем заметил, что до Южного сутки пути, если быстрым шагом, но быстрого шага от нас ждать не следовало – Артем плохо перенес покусывания, они, несмотря на антибиотики, воспалились, и теперь Артем шагал с трудом, устало, Ерш цеплялся ногами за землю.

По дороге то и дело проезжали грузовики. Некоторые ехали на север, фарами нам в глаза, другие на юг, светом в затылок. И те и другие были доверху заполнены: на север везли бочки и ящики, на юг тоже ящики, а еще тюки, коробки, мешки и почти никаких раненых, если честно, я не понимала почему. Артем же усмехнулся и сказал, что ничего удивительного здесь нет – это господа офицеры спасают нажитое добро.

Справа вдоль дороги тянулась насыпь железной дороги, но поездов ни в сторону Долинска, ни в сторону Южного не было. По насыпи шли китайцы.

Продвигались медленно. Люди, вышедшие из Долинска позже, обогнали нас. На нас никто не обращал внимания, и скоро мы тоже перестали обращать. Артем держался последним, выставив поперек багор, так что вокруг нас с Ершом образовалось свободное пространство.

Люди шли чрезвычайно сосредоточенно, смотрели в спины впереди идущих, молчали, сутулились. Я хотела обсудить с Артемом план действий по прибытии в Южно-Сахалинск, но обнаружилось, что это совершенно невозможно – разговоры тонули в окружавшем нас шуме. Шаги, дыхание, шорох одежды – все это складывалось в шелест, хоронивший любые звуки. Пытались говорить громче, но бесполезно, слова съедались и рвались.

Грузовики обгоняли нас все реже, постепенно и без того невысокая скорость передвижения замедлилась, и мы оказались в толпе. Пространство, обозначенное багром, сократилось, теперь нас задевали. Приходилось терпеть.

Ерш выдохся и стал часто падать. Мы останавливались. Я поднимала Ерша, а Артем разгонял наседающую толпу. Это получалось плохо, китайцы уже не боялись. Артем орал и бил их багром, но они все равно наседали. Их было много, так много, что вокруг виднелись только их головы, густое поле голов, точно рассыпанный горох. После очередного падения Ерша Артем взял его на шею. Я сама хотела его взять, но Артем не позволил, хотя я и знала, что скоро он выдохнется. Он устал – багор держал не поперек, а под

мышкой.

Потом мы остановились.

Я оглянулась и, насколько смогла видеть, увидела головы. Артем предположил, что впереди мост, создающий затор. Мне было все равно, что там впереди, я боялась.

Попались. Я поглядела на Артема.

Впервые я увидела, что он не знает, что делать дальше. Надо держаться вместе – вот все, о чем я думала. Держаться. Опасность. Могут задавить. Беженцы прибывали и прибывали. Когда их станет слишком много, при каждом колыхании толпы в ней будут гибнуть десятки. Можно поддаться панике и задохнуться. Можно потерять сознание, упасть и быть затоптанным. Быть убитым сошедшим с ума соседом. Сойти с ума самому. Здесь легко сойти с ума.

Артем покраснел. Я приблизилась к нему и пересадила Ерша себе на плечи. Артем не протестовал. Он, кажется, плохо соображал. Я сама уже плохо соображала. День продолжался. Солнце поднялось выше восточного дыма, и стало жарко, я хотела снять макинтош, но Артем взял меня за локоть, правильно, лучше так, снимешь – потом не наденешь. Могут отобрать, выхватить, утащить.

Люди все прибывали.

Стало трудно дышать. Ерш не тяжелый, но давил, в голове шумело. В таких ситуациях надо или думать, или говорить. Думать, сосредоточившись и отключившись. Говорить. Думать у меня не получалось, я стала говорить.

Про то, что знала лучше всего. Про будущее. Я говорила.

Будущее должно быть непременно светлым. Разве кому-то нужно другое? Ошибочно думать, что будущее определяется настоящим, будущее определяется будущим. Будущее говорит с нами, его голос звучит каждую секунду в каждом сердце, но мы не слышим его. Хотя тысячи лет человечество училось читать его знаки. В движении воды, в форме облаков, в полете птиц.

Будущее должно быть светлым.

Китаец посмотрел на меня. Я спросила его про будущее. Он не понял.

Будущее приближалось. Настолько стремительно, что мы не успевали этого понять. Оно ждало нас за поворотом дороги, улыбалось нам. Китаец не понимал. Впрочем, это мог быть кореец. Ему все равно, его будущее коротко и печально.

Мне стало жаль корейца. И тут же он потерял сознание и повис у меня на плече, Артем схватил его за одежду и стащил в сторону, китаец не упал, остался стоять, припертый остальными.

Вдруг сделалось легче. Над толпой пролетел ветер. Я подумала, что все, солнечный удар, он прекрасно сочетался с футурологией, но неожиданно задышалось. Потерявший сознание китаец упал, я услышала хруст его костей, по которым прошли остальные.

Толпа рассеивалась, перед нами образовывались прогалины, мимо равномерно торопились люди, они задевали и толкали нас, Артем очнулся и стал пробивать путь к обочине, чтобы выбраться из этого человеческого потока.

Мы поднялись на невысокий холм и увидели, что это действительно был мост. То есть два моста – слева автомобильный, справа железнодорожный. Сначала беженцы пытались переходить реку по ним, но теперь они переходили ее и по дну, из-за этого стало просторнее.

Я сняла Ерша с плеч, и он лег на землю. Артем сел рядом. У него дрожали руки.

Со стороны моря прибыл вертолет береговой охраны, он пролетел над дорогой и резко завис над автомобильным мостом, просев брюхом, как садящийся на воду пеликан. После чего вертолет начал расстреливать тех, кто переходил реку по железнодорожному мосту. Никто не удивился и не побежал, продолжали переходить. Мы смотрели.

Люди спокойно и равнодушно переходили реку вброд. Вся река была заполнена китайцами, живыми и мертвыми примерно поровну, под мостами мертвых было больше, живые перебирались через мертвых. Я неожиданно отметила, что раненых нет, люди, встретившись с пулей, умирали, не стараясь цепляться за жизнь, ложились под ноги других. Вертолет стрелял. Китайцы не останавливались.

Патроны в вертолете кончились быстрее, чем люди на земле. Но вертолет не улетал, завис над мостами, я предполагала, что пулеметчик перезаряжается, но оказалось иначе – с вертолета стали разбрасывать листовки и что-то красное и мелкое. Винты взбивали листовки, над рекой кружилось белое облако, так, наверное, выглядели чайки, бьющие килечный косяк. Красиво.

Со стороны Южного подтянулся состав, несколько вагонов с охраной на крыше. Китайцы расступались, поезд приблизился к мосту. Вертолет развернулся и полетел на юг. Поезд остановился перед мостом, с лязгом сдал назад, затем снова двинулся вперед, сбрасывая щитом оставшихся лежать на полотне.

Ветер донес листовку и до нас, я подняла и прочитала. В ней сообщалось, что в связи со сложившейся обстановкой на территории префектуры Карафуто объявляется военное положение. Любое

сопротивление властям будет расцениваться как бунт и караться смертью. Всем каторжным, оказавшимся на свободе, предлагалось сдать в комендатуры. Всем условно свободным японского происхождения обязательно зарегистрироваться. Остальным условно свободным безоговорочно подчиняться. Также ввиду сложившегося положения префектура временно разрешает употребление в пищу рыбы и морепродуктов, добываемых из загрязненных водоемов, включая реки и море. Краткосрочное употребление зараженных продуктов не нанесет серьезного вреда здоровью, однако в профилактических целях надлежит употреблять антидот из красных контейнеров. Сохраняйте спокойствие.

Мы отдыхали больше часа. Пили воду. Мимо нас шагали китайцы. Их стало поменьше, так что, отдохнув, мы отправились дальше по дороге к югу. Реку перешли по мосту, я набрала в карманы листовок и красных капсул.

Дорога к Южному была однообразна и утомительна. Через трупы приходилось перешагивать. Останавливались каждые полчаса. Артема тошнило. Я о чем-то рассказывала, кажется, об Итуруппе и патэрене Павле. Артем молчал, но потом начал отвечать. Говорил, что не верит.

Ерш молчал.

Мы шли.

Шли.

Китайцы нас давно обогнали, и дорога опустела. Потом нашли грузовик. Валялся свежеепрокинутый в широкой придорожной канаве; он немного дымился, водителя поблизости не лежало, зато из фургона просыпались большие консервные банки. Китайцев вокруг не было, странно, но консервные банки оставались в неприкосновенности, я подняла одну. Артем открыл ее с помощью ножа; лично я надеялась, что в банке найдется что съедобное, поскольку банки сильно напоминали банки для комбижира или банки от томатной пасты. Но в банках продуктов питания не обнаружилось, в них содержался технический вазелин синеватого оттенка. Артем предположил, что это сэкономленный вазелин. При некоторой сноровке и инженерных навыках несложно заменить вазелин смесью мазута с каким-нибудь загустителем, сам же вазелин можно переправить в Японию, где продать.

– Там своего вазелина хватает, – сказала я. – Зачем воровать вазелин? Это глупо.

У Артема имелся свой взгляд на этот вопрос, в пример он привел своего соратника Человека, который по мере приближения старости сделался склонен к немотивированным поступкам, в частности, к

собирачеству бесполезных вещей и кражам; по словам Артема, Чек стал воровать у китайцев всевозможное старье, не имевшее никакой ценности и зачастую выброшенное без надобности, старье это он складировал в доме и вокруг него. А в краже вазелина ничего удивительного нет, вазелин может использоваться... Артем не смог придумать, для чего мог быть использован технический вазелин. Но вазелином неожиданно заинтересовался Ерш, он погрузил свои беспальные руки в этот вазелин и вдруг засмеялся. Это был первый звук, который мы слышали от Ерша, смех, он держал руки в банке с вазелином и смеялся. Совсем по-человечески, по-детски, я не удержалась и начала тоже смеяться, и Артем тоже.

Потом еще немного прошли.

К вечеру мы сумели одолеть около двадцати километров, полпути от Долинска до Южного, может, чуть больше. Начало темнеть, я чувствовала себя еще вполне себе бодро, однако и Артем, и Ерш явно выдохлись. У Артема поднялась температура, на лбу выступил пот, а зубы начали плясать, хотя он и старался держаться. Ерш падал.

Мы ушли с дороги и взобрались на сопку, не на самый верх, а где-то до середины, Артем стал разводить огонь, и у него долго не получалось. Я достала из кармана макинтоша огниво, Артем чиркал им, высекая настоящие фейерверки, однако огонь не занимался, думаю, оттого, что у Артема дрожали руки или настроение у него было другое. Но он, конечно, справился – огонь побежал по собранным сучьям, костер вспыхнул, и я придвинулась ближе, не от холода, а оттого, что огонь показался мне каким-то родным, своим, что ли.

Ерш уснул, не дождавшись огня, он так и не отпустил банку с вазелином и перед сном засунул в банку руки, так ему казалось лучше, так ему было хорошо.

Артем усмехнулся. Его колотила дрожь. Я прижалась к нему, через несколько минут Артем замер. Еще через несколько минут он уснул. Я достала брезент и растянула его на двух кривых ветках, так чтобы Ерш и Артем уместились между костром и брезентовым экраном.

Спать не хотелось, я сидела возле огня. День выдался суетливым и шумным. Неожиданно проснулся Ерш. Проснулся и сел рядом со мной.

Над нами висели созвездия, море пряталось за сопками, но его все равно было слышно; море раскачивало воздух, он светился и закручивался в поднимающиеся в небо вихри, Ерш наблюдая за ними, тихонько и восторженно мычал. А потом я слышала странные, не подходящие к этой обстановке звуки – песенку про утят. Я оглянулась, готовясь увидеть Масаду, сумасшедшего интенданта, знавшего будущее. Однако его здесь не

было, это Ерш достал из кармана куртки заводной проигрыватель и стал неловко вертеть ручку динамо-машинки и снова смеяться.

ЮЖНЫЙ

Тот, кто разрабатывал систему каторжных учреждений на острове, определенно был выдающимся человеком. Я повторяла это про себя и зареклась по возвращении обязательно узнать, кто этим занимался. Думаю, этот человек был наделен определенным художественным вкусом. Как иначе можно объяснить тот факт, что тюрьмы Сахалина находятся в таких неожиданных местах? Только очень странный человек мог выбрать для каторжной тюрьмы такое живописное место, в котором так неистово чувствуется дыхание Деусу; если бы я верила в него, я бы назвала это место именно так – «Дыхание Господа». Хотя для тюремной цитадели это название, наверное, чрезмерно высокопарное и не отвечает ежедневным каторжным реалиям, впрочем, как знать.

Каторжная тюрьма «Легкий воздух» расположена на сопке, возвышающейся над Южно-Сахалинском, который все местные именуют не иначе как Южный. На сегодняшний день в городе не осталось высоких зданий, так что тюрьму можно наблюдать практически из любого места; куда бы ты ни отправился, ты всегда неким непостижимым образом чувствуешь направление в ее сторону. Тюрьма как стрелка компаса в твоей голове, всегда ведет на север.

Мы вошли в Южный утром. Переночевали в сопках, забравшись поближе к звездам на самый верх; китайцы, которых вокруг расположилось множество, вели себя смиренно и дальше середины сопки не поднимались, предпочитая держаться у подножия. Они жгли костры, и мир вокруг нас был наполнен неяркими огоньками, и под ногами, и над головой.

Застава на дороге со стороны Южного присутствовала. Ее держала рота бойцов самообороны, на капонирах караулили пулеметчики, и на вышке тоже виднелся пулемет. Нас пропустили без проволочек, предписания префектуры вполне хватило.

Большого количества желающих попасть в город не наблюдалось, все китайцы, сумевшие добраться сюда со стороны Поронайска, держались поодаль. Все те толпы, что мы наблюдали последние дни, разлились по округе и ждали.

Артем объяснил это тем, что Южный известен своими неприветливыми жителями, крайне недружелюбно относящимися к тем, кто приходит со стороны, администрация города всячески эти настроения поддерживает, периодически организовывая добровольческие рейды по

окрестностям, побивая непрошенных гостей бамбуковыми палками и ломая их шалаши. Нам, впрочем, опасаться было нечего; по утверждениям Артема, к условно свободным, а уж тем более к свободным в Южном относились с подобающим почтением. А Ерш... Ерш – коллекционный экспонат.

Удивительно, но нам без особого труда удалось найти ночлег; в городе имелось несколько гостиниц для чиновников и военных, все они пустовали. Я выбрала гостиницу «Легкий воздух», расположенную на сопке недалеко от одноименной тюрьмы, где по предъявлению предписания префектуры нам отвели два номера с видом на город. В гостинице не имелось горячей воды, но работал буфет, в котором нас накормили жареными бататами и напоили неплохим ячменным кофе.

Это было крайне необычное ощущение – после отступления от Александровска снова оказаться в цивилизации; мы словно проснулись в сердце тайфуна, в дне затишья, окруженном бурей. Передышка. Штиль. Покой. Место, где бумага от префектуры еще имела вес.

После обеда разошлись по комнатам. Я к себе, Артем с Ершом к себе. Я обдумывала дальнейшие планы. До сих пор в своем путешествии по Сахалину я придерживалась определенного маршрута и не собиралась его менять. Южный, с его известной тюрьмой, был одной из вех этого маршрута. Дальше я собиралась направиться к Анивскому заливу, посетить военную базу в Корсакове, вернуться обратно в Южный и уже оттуда через Ловецкий перевал добраться до Невельска. Конечным пунктом моего сахалинского путешествия я планировала сделать, разумеется, мыс Крильон. Как и Корсаков, Крильон являлся закрытым военным объектом; имея на руках предписание префектуры, я могла проникнуть на них без труда, однако...

Должна признаться, что случившееся с нами в Александровске и впоследствии, по пути к Южному, несколько смутило меня. Если же говорить точнее, озадачило. Нет, я имела вполне определенную эмоциональную реакцию, но старалась не поддаваться ей, реакция эта могла исказить картину реальности, именно поэтому я старалась контролировать ее, вот...

Вот только Артем.

Артем, он...

Он ведь вполне мог оставить Сахалин; он как Прикованный к багру, фактически свободный подданный Империи, мог покинуть остров и поселиться на любой территории. Его этот Человек, кажется, тоже. Ерш... Ерша можно оформить как экспонат. Объект прикладной футурологии, эти

дураки в иммиграционной службе все равно ничего не понимают в футурологии, думаю, я смогла бы его вывезти. То есть сахалинская поездка, несмотря на ужасы и невзгоды, которые нам пришлось пережить, безусловно, удалась. Поездка удалась, от Южного до Корсакова недалеко, а там мы могли бы погрузиться на военный корабль и эвакуироваться.

Вполне реально.

Вполне.

А пока...

У меня не было возможности делать подробных или хотя бы конспективных записок, но этого и не требовалось – один из методов практической футурологии – метод непосредственного восприятия действительности, создание мнемо-карты ощущений с последующим анализом, как непосредственно индуктивным, так и с помощью подсознательной деконструкции с выводом в сон. Профессор Ода был особо пристрастен именно к этой системе, он уверял – понять, что с тобой произошло в момент непосредственного события, невозможно, суть произошедшего станет тебе ясна потом, возможно, по прошествии лет. Именно поэтому задача любого полевого – поддерживать уровень текущей рефлексии на максимально низком уровне во избежание возможных искажений. Это сложно.

Оставалось наблюдать. Часто не получается, но наблюдать.

На следующий день Артему стало лучше, и он, отлежавшись полдня, к вечеру отправился в окрестности Холмска, чтобы забрать своего старшего товарища, этого самого Человека. Я оценила обстановку и пришла к выводу, что смысла отсиживаться в гостинице нет, ситуация в окрестностях Южного взята под контроль, особых волнений в городе не наблюдается, подоспевшие с юга отряды самообороны выдвигаются к окраинам округа, и, пожалуй, можно спокойно осмотреться. Не терять времени и не упускать возможности, именно так.

Возможность была замечательная. В «Рубиконах», одной из своих последних работ, профессор Ода составил сценарный перечень точек бифуркации, мест надлома, уничтожавших одни цивилизации и рождавших новые. Мне не очень нравилось именно это его исследование, на мой взгляд, производить футурологический анализ, основываясь на литературных источниках, хоть и изящно, но все-таки малонаучно. Ода думал иначе. Южно-Сахалинск по всем признакам подходил под сценарий «Город Накануне», таким образом, появилась возможность проверить гипотезы профессора в полевых условиях.

Упустить эту возможность я не могла, поэтому вызвала рикшу, одела

Ерша получше, добыла у администрации гостиницы термос и наполнила его кипятком, после чего отправилась путешествовать по Южному.

В Южном волнения, охватившие северную часть острова, практически не ощущались, так что можно было беспрепятственно бродить по городу и говорить с людьми. Чиновники префектуры исполняли свои обязанности, осуществлялось электроснабжение и патрулирование дорог, торговцы наполняли улицы, туда-сюда сновали рикши, над лотками поднимался кислый запах жареной черемши и эрзац-кофе, и казалось, все было как всегда.

В среде здешних китайцев наблюдалось, впрочем, некоторое беспокойство – пришельцы с севера, обосновавшиеся на полях и сопках вокруг города, раздражали население Южного. И хотя чужие предпочитали держаться от местных подальше, я, перемещаясь по городу, неоднократно слышала призывы к погромам и устрашительным расправам с пришельцами, однако никаких решительных действий не наблюдала.

Рикша, гораздо более полно осведомленный в городских делах, сообщил, что среди населения распространяются слухи, причем, насколько я поняла, слухи эти невероятные и оптимистические.

Рассказывали, что в Анивской бухте видели четыре больших десантных корабля, прибывших из Японии с войсками, причем на одном из кораблей замечены не обычные солдаты, а гвардейцы Императора.

Рассказывали, что землетрясением разрушены Александровск, Поронайск и Углегорск, что уцелевшее население взбунтовалось и создало на севере вольницу, и теперь это возмущение будет безжалостно подавлено, бунтовщики уничтожены, а их имущество и жизненное пространство разделятся между лояльным населением. И что якобы близ Корсакова формируются добровольческие отряды, и что каждый, кто примет участие в северном походе, получит землю и гарантированный водный паек. Кроме того, особо отличившимся в борьбе с восставшими позволят легализовать детей, во всяком случае, одного ребенка точно.

Рассказывали, что на севере бушуют пожары, выгорают целые лесные районы, а значит, цены на уголь скоро упадут и зиму удастся пережить легче. Подешевеет и вода, поскольку потребление на севере снизится. А еще (это рикша сообщил по секрету) выйдет послабление бывшим каторжным; они, если, конечно, не замечены в антиправительственной деятельности, получат возможность вернуться в Японию. В результате чего освободятся должности, и уважаемые люди из китайских общин смогут занять достойное место в обществе. И наконец, шептались, что вся эта корейская пена, скопившаяся во множестве на острове, эта пена ждет

уборки, и для этого найдется сила и воля местного самоуправления.

И рикша немедленно изложил небольшой план по окончательному решению давно назревшего корейского вопроса в городе Южно-Сахалинске, который, без сомнения, японский город, ну и немножечко китайский, но ни в коем случае не корейский, никак, никогда.

В целом землетрясение благотворно скажется на жизни Южного как культурного и экономического центра, у города откроются новые перспективы, именно поэтому город охвачен некоторым предчувствием.

А ведь еще этот дым на востоке; во многих он будит некий трепет, поговаривают, что на Эторофу взорвался вулкан и в атмосферу выброшен подземный яд, так что скоро все умрут, невзирая на принадлежность.

Рикша оказался большим сплетником, я выслушала его с немалым интересом. Покончив же со слухами, рикша предложил мне несколько видов культурного досуга, а именно всячески рекомендовал посетить центральную городскую площадь, на которой сегодня состоится двойное мордование негра. Я удивилась, напомнив, что сегодня не шестое и не девятое, на что рикша заметил, что у них мордования проводятся еженедельно – Южный может себе это позволить. Сегодня же для консолидации жителей города решено провести двойное мордование – такое случается чрезвычайно редко, и нельзя пропустить это зрелище.

Поначалу я отказалась от этой затеи, поскольку планы мои были несколько иные – посещение знаменитой электрической фабрики, работающей на мертвецах, и посещение каторжной тюрьмы, о визите в которую я договорилась заранее. Но все разрешилось успешно – оказалось, что площадь лежит как раз на пути к электрофабрике.

Все подходы к площади оказались запружены китайцами, никогда не видела такого количества китайцев, и нельзя сказать, что я чувствовала себя в их присутствии комфортно. Думаю, это давала о себе знать японская кровь, которая приходила в биологическое волнение в присутствии такого количества китайского элемента. Я чувствовала, как потеют ладони и учащается биение сердца, как начинают слезиться глаза, как рука тянется к пистолету. Наверное, мне помог Ерш, он вдруг сунул в мою ладонь обрубок своей руки – боялся потеряться, а я схватила его за запястье и держала, не отпускала.

Безусловно, двойное мордование негра представляло определенный этнографический и, не побоюсь сказать, футурологический интерес. Площадь Реставрации продолжала заполняться народом, по моим прикидкам, на площади собралось около миллиона человек, возможно, больше, издали, разумеется, они не воспринимались как китайцы, скорее

как люди, пожалуй, люди.

Центральная площадь Южного напоминала широкий пологий амфитеатр, я сверилась со старинным, еще довоенным справочником, раздобытым мной в гостинице, и смогла опознать местность по некоторым приметам, в частности, по треугольному пруду, окруженному узкоколейной железной дорогой, когда-то здесь тянулась улица Детская.

Разумеется, сейчас тут никаких детей не было, лишь взрослые. Да и улиц как таковых тоже не было, прежнее геометрическое совершенство разрушилось, и все стало кое-как, без плана, системы и смысла. Сам пруд находился в некотором углублении, вокруг которого располагалась плотно утрамбованная земля, задирающаяся кверху; через эту землю проступали остатки многочисленных бетонных зданий, на этой земле стояли самодельные вышки с трибунами, несколько старых кранов с подвешенными на тросах балконами; а некоторые из зрителей запаслись ходулями разной степени высоты. Продвинуться через толпу не получалось, однако ко мне практически сразу подскочил некий расписанный китаец, предложивший услуги гида и место на третьем этаже сохранившегося пятиэтажного дома; цена оказалась невелика, и я решила не упускать возможность посмотреть на мордование сверху.

Китаец проводил нас к разрушенному дому, и мы заняли место в маленькой комнате с ободранными обоями, на которых раньше сияли звезды. Стены, где было окно, не существовало, ее вынесли целиком, так что наши кресла располагались на самом обрыве; Ерш улыбнулся и совершенно неожиданно для меня приблизился к краю, сел на бетон и свесил ноги; я села все-таки в кресло.

Отсюда открывался исключительный вид. На поверхности треугольного озера плавали черные шары, много шаров, меж ними желтели две надувные платформы, пока пустые, без негров.

Солнце сместилось, и я вдруг увидела, что озеро фиолетового цвета, я спросила у сопровождающего нас китайца, что это означает. Он ответил, что этому явлению есть две серьезные причины: во-первых, фиолетовый – любимый цвет господина Цзина, солидного человека, владеющего многим в этом городе; во-вторых, озеро пресное – и это тоже одна из особенностей Южного – такого открытого водоема с пресной водой на Южном Сахалине больше нет, фиолетовый же цвет вода имеет от яда, который в ней растворен. Вода хоть и пресная, но для употребления совершенно негодная, в противном случае озеро давно бы вычерпали. Кстати, самоубийцы Южного не ищут для своего исхода каких-то оригинальностей, как это частенько принято на склонном к выкрутасам севере, они просто пьют воду

из озера, после чего встречают первые рассветные лучи и околевают на парапете.

Кроме неестественного цвета озера приводило в замешательство и расстояние до берега открытых надувных платформ, весьма немалое. Я задумалась: каким же образом на таком расстоянии должно осуществляться мордование? Неужели из рогаток или самострелов? И где, собственно, сами негры?

Китаец пояснил, что никто пользоваться рогатками не станет – это неприлично, а любые виды самострелов запрещены. Но в целом я права: мордование в Южном отличается от подобных фестивалей в других населенных пунктах, имеет свои традиции, свое неповторимое и узнаваемое лицо. Жители города не жалеют средств и усилий для праздников, всегда подходят к ним основательно, а не абы как, в частности, недалеко за городом есть особая ферма, на которой разводятся негры специально для подобных мероприятий, так что Южный может смело похвастаться тем, что негры здесь всегда в достаточном количестве, а иногда и в избытке. Кстати, некоторые каторжные, вышедшие в состояние свободных поселенцев, любят потешить себя и частными мордованиями; к этому развлечению постепенно пристрастилась и китайская компрадорская элита.

Это гид произнес с отвратительным сладострастием.

И тут же добавил, что сегодня стоит ожидать необычайно интересного зрелища, поскольку в честь праздника один негр убьет другого до смерти.

Я поинтересовалась, как в этом участвует публика, китаец ответил, что публика подбадривает бьющихся и делает ставки, варварский обычай саморучно кидаться в негров штырями, камнями и экскрементами здесь, в Южном, давно изжит, мордование, таким образом, возложено на самих мордуемых, что гораздо более цивилизованно и гигиенично.

Послышался ржавый звук, ударила струя пара, загремело железо, и по узкоколейке вокруг озера двинулся небольшой паровоз, снабженный тремя вагонами и открытой платформой, на платформе сидели разряженные в непривычно яркие платья дамы, кто находился в вагонах, видно не было, поскольку окна забирались плотными шторами. Китаец пояснил, что в вагонах располагаются самые дорогие места, для людей, которые состоятельны и могут позволить себе приватность.

Достаток жителей Южного действительно высок – содержать в городе изрядный водоем, да еще окруженный железнодорожной веткой, не имеющей никакого экономического значения, то есть, по сути, являющийся роскошью, мог, пожалуй, только он. Южный был богат и избыточен, как

богаты и избыточны любые столицы, пусть даже и столица каторжного Сахалина, однако я ничуть не пожалела, что оказалась здесь уже на обратном пути, сумев увидеть и другую сторону острова.

Поезд остановился на берегу пруда, и действие началось.

Первыми на ристалище вышли не негры, а специально обученные собаки, едва платформы сошлись, они с видимым наслаждением вцепились друг в друга и принялись терзать, это продолжалось довольно долго, причем при полном восторге публики, а закончилось неожиданно – одна собака задавила другую, но та успела вцепиться ей в заднюю лапу и утащить победительницу на дно. Утонули обе. Тут же несколько человек кинулись в пруд с намерением выловить трупы собак, в фиолетовой жиже возникла схватка, в ходе которой, как я отметила, были покалечены несколько китайцев. То, что пруд отравлен, ничуть не смутило охотников за собачатиной.

Наш гид в досаде стукнул кулаком по стене, видимо, он проиграл деньги на собачьем бою, после чего пояснил, что это тоже традиционная часть праздника: перед тем как за дело примутся негры, публика всегда наблюдает за схватками животных.

После собачьего боя последовала битва двух свиней. Я, если честно, не знала, что такое практикуется, однако китаец сказал, что бой свиней гораздо интереснее боя собак, потому что свиньи не в пример яростнее и не отступают никогда, свиньи не стали дожидаться, пока надувные платформы сблизятся, одна из свиней в боевой ярости кинулась в воду и преодолела преграду вплавь.

Они сшиблись с бешенством и отчаяньем. В стороны полетели кровь, ошметки сала и шерсти, свиньи не отступали, укус у каждой был мощный, челюсти вырывали куски, однако бой не прекращался; закончилось все довольно быстро – свиньи вцепились в глотки и свалились на платформу, где лежали до смерти, брызжа кровью и стараясь задеть противника задними копытами. Потом затихли. И тут же в пруд ринулись не десятки, но сотни китайцев и, захлебываясь, по грудь в воде устремились к центру пруда, для того чтобы добыть еще и свинины.

По поводу свиней приключилось небольшое побоище, которое, как я поняла, составляло чуть ли не основную часть общего развлечения, отравленная вода буквально вскипела, мне показалось, что она закончилась вовсе, ее вытеснили китайцы, жаждущие получить хотя бы кусочек свиного мяса. В целом публика осталась довольна и выражала одобрение громкими криками и ликованием, Ерш же, поглядев на это немного, отвернулся и стал изучать стену.

Китайцы колотили друг друга кулаками, применяли приемы локтевой борьбы, топили, лягали и калечили другими способами, особенно я выделила низкорослого, но крепкого бойца, который использовал необычную тактику – он подбирался к своему противнику на небольшое расстояние и бодал в подбородок, видимо, этим искусством он владел так высоко, что устоять не смог никто, и бодала, пробившись к центру пруда, овладел целой свиной головой.

Неожиданно гид издал непонятный звук, так, наверное, скрежетали бы железные стружки в серебряном чайнике или стальные бобы из асимметричного подшипника, если бы кому-то взбрела идея его прессовать. Я повернулась к китайцу, он дергал щекой, я не поняла его знаков, но он принялся косить на Ерша, а я не поняла снова. Но китаец все двигал лицом, и я заинтересовалась, потому что решила, что он собирается предложить мне нечто полезное. Мы вышли в коридор.

Китаец долго и застенчиво хмыкал, похлопывал по стенам, смотрел себе под ноги и рассказывал о некоем господине Сяне, который имеет влияние. Рассказывал, что у этого господина Сяня есть сушильня, четыре артезианские скважины, множество садков и склады белкового порошка, что господин Сянь, наряду с другими выдающимися жителями Южного, держит доли в строящемся опреснителе; кроме того, этот господин Сянь – известный покровитель искусства и науки, интересуется культурой и содержит за свой счет труппу самодеятельного театра. Я не очень понимала, к чему он вспоминает про культуру, театры и все остальное, но потом китаец сказал, что господин Сянь предлагает чрезвычайно интересную сделку, в частности, он смеет просить уступить ему моего раба, в отдачу же может предложить золота, сколько я смогу удержать на вытянутой руке.

Сначала я не поняла, но китаец тут же все пояснил, указав пальцем на Ерша.

Мне стало интересно, и я спросила, зачем господину Сяню мой «раб», на что гид ответил, что тот озабочен возможностями народной медицины и долголетием, а белоголовый раб для этой медицины ценный материал.

Я попросила гида открыть рот пошире. Он открыл. Я достала пистолет и засунула ему в глотку до рукоятки. Хрустнули зубы, по подбородку потекла кровь. Я достала второй пистолет и сказала, что, если он посмеет шевельнуться или выпустить пистолет из зубов, я выстрелю ему в глаз. После этого мы вернулись в комнату.

Ерш не удивился.

Гид остался беспрекословно стоять у стены, а я стала наблюдать за

неграми, их схватка уже началась. Американцев не снабдили никакими орудиями, предоставив им разбираться врукопашную. Кстати, один из негров был белым, а другой напоминал по цвету кофе, сильно разбавленное сливками, что лишний раз свидетельствовало о достатке жителей Южного, белого негра действительно могли позволить себе не везде.

Драка негров заметно отличалась от предшествующих сражений, собаки и свиньи бились значительно беззаветнее, негры же береглись, каждый хотел победить и остаться в живых. Поэтому сражались они осторожно, сходились, расходились, наносили удары, и каждый старался подловить противника.

Публика бесновалась, подбадривала участников, стоял настолько громкий крик, что волны его долетали до третьего этажа. А Ерш, перепуганный накалом беснования, и вовсе заткнул уши.

Белый оказался успешнее темного. Темный попытался пройти в ноги, неудачно, они принялись бороться стоя, и в ходе этой борьбы белый сломал темному руку. Получив такие повреждения, темный негр не смог оказывать сопротивления и был быстро забит белым.

Публика неистовствовала. Гид стоял возле стены с пистолетом в зубах. На лице этого китайца просматривался триумф, вероятно, он ставил на белого.

Толпа не расходилась. Победителю кинули железный стул, он установил его в центре площадки и посадил на него мертвеца. Затем схватил мертвеца за руки и стал ими ритмично размахивать. Толпа засмеялась, видимо, начиналась комическая часть представления. Веселиться никакого желания в себе я не находила, достала пистолет из рта гида, и мы с Ершом отправились дальше осматривать город.

Рикша, доставивший нас до площади Реставрации, предусмотрительно дожидался в проулке. Он выглядел довольным, улыбнувшись беззубым ртом, объявил, что сегодня хороший день. Я не стала спорить. Ерш забился в угол коляски рикши и закрыл глаза, я же смотрела. От площади Реставрации мы направились в сторону электростанции.

Южный жил тюрьмой и энергетикой – тюрьма давала работу не только людям, служащим в ней, но и многочисленным лицам, обслуживающим каторгу косвенно, в частности, была распространена система продовольственных подрядов – два раза в год тюремная администрация устраивает торги между местными промышленниками на поставку в тюрьму продуктов питания. Провиант выращивается здесь же, в городе и окрестностях, которые изобилуют просяными полями, моллюсковыми садками и кроличьими фермами, есть также сушильные и коптильные цеха.

Производители, предлагающие наиболее низкую цену, становятся тюремными поставщиками.

Комендант «Легкого воздуха», с которым у нас впоследствии состоялась беседа, отмечал, что система подрядов как нельзя лучше соответствует целям и задачам существования тюрьмы: во-первых, продукты в тюрьму поставляются самые грубые и низкокачественные, что усугубляет наказание, делает его более полным, отвращает каторжан от мыслей о телесном и направляет помыслы к раскаянию, во-вторых, благодаря подрядам в округе развивается земледелие, что в будущем непременно сыграет положительную роль в судьбе острова, а в-третьих... Комендант здесь несколько замешкался, а затем, смущаясь, заметил, что, в-третьих, продовольственные подряды позволяют экономить значительные казенные средства, направляемые впоследствии на улучшение содержания тюремных служащих. Жизнь здесь, как известно, тяжела, и жалование не может в полной степени компенсировать лишения и нравственные страдания, которые вынуждены испытывать на Сахалине как воинские чины, так и вольнонаемные.

Одним словом, вокруг «Легкого воздуха» существует своя небольшая, но цепкая, живучая экономика – от продавцов копченых кроликов до горных рикш, чьими услугами пользуются служащие тюрьмы. По статусу им положены вездеходы, но их они берегут, благо содержание рикши в три раза дешевле содержания машины, так что чиновники предпочитают именно их.

Другой столп, на котором базируется экономика Южного, – это наличие в округе двух теплоэлектростанций. Одна из них питается углем, привозимым эшелонами из Углегорска, именно она и обеспечивает бесперебойной энергией и теплом администрацию Южного, гарнизон и одну из анивских военных баз; вторая электростанция как раз та самая экспериментальная, использующая для генерации тепла сушеных мертвецов, пропитанных гель-мазутом. Если честно, мне представлялось, что рассказы про электростанцию, работающую на мертвецах, – некоторое преувеличение, однако это оказалось правдой.

Южный, как и многие сахалинские города, вытянут с юга на север; энергостанции располагаются в северной части. Угольная централь не интересовала меня, модельную же станцию, работающую на мертвецах, я посетила.

Инженер, молодой приятный человек по фамилии Одзаки, даже не взглянул на предъявленное предписание префектуры, он сказал, что сейчас, по причине жары, станция функционирует в половину мощности, так что

он вполне может провести экскурсию. Я ничего против не имела. Одзаки выдал оранжевые каски, и мы приступили к осмотру.

Если честно, модельная энергостанция меня немного разочаровала. Я ожидала встретить что-то более inferнальное, однако станция мало чем отличалась от обычной электроцентрали, работающей на угле или мазуте. Мертвецы были лишены индивидуальности и напоминали скорее бревна. Одинакового размера, одинаковой толщины, черные, похожие на топливные брикеты. Они подавались в печи с помощью конвейеров, процедура была практически полностью автоматизирована, и лишь в конце дежурил человек, поправлявший брикеты.

Успешен ли был этот эксперимент? Инженер Одзаки ответил, что более чем успешен. Мертвецами топить выгодно и экологично: во-первых, они горят в полтора раза дольше угля при равном количестве выделяемых калорий, во-вторых, при горении не выделяется радиоактивных веществ, которые накопились в выросших после Войны деревьях. Если какой-нибудь Александровск может топить исключительно деревом, не думая о последствиях, то Южный последствия предполагает. Опять же, эта перспективная технология позволяет утилизировать мертвецов, которых в противном случае попросту некуда было бы девать.

По подсчетам инженера Одзаки, осуществленным им с помощью Департамента Статистики, даже если не принимать в расчет нелегальную миграцию с континента, уже существующего количества населения хватит для работы станции на шестьдесят лет, что многократно окупит затраты по ее строительству и содержанию.

Инженер Одзаки проводил меня и Ерша в свой кабинет и угостил чаем и пирожками, не забыв подчеркнуть, что электричество, на котором приготовлен чай и испечены пирожки, почерпнуто из мертвецов. Как многие японцы, вынужденные нести службу на Карафуто, Одзаки был открыт и охотно отвечал на многочисленные вопросы.

Он рассказал, что в городе и в его окрестностях в изобилии распространены полузаконные или вовсе незаконные начинания и городская администрация закрывает на это глаза. Повсеместное воровство угля, совершаемое зачастую с прямого попустительства и участия работающих в энергетике каторжных специалистов, стало обычным делом и закладывается в планы в графу «потерь при транспортировке». Буйно процветает переработка в белковый порошок моллюсков, выбрасываемых на анивское побережье и тайно добываемых там ночной порой; разумеется, практически все моллюски активны, однако это мало кого смущает – вместе с наборами прессованных белковых батончиков на рынках продают

сразу антидот, украденный с военных складов. А есть еще топливные склады, расположенные для пожарной безопасности на самых западных границах города, склады тянутся вдоль сопок и издали напоминают череду муравейников, собранных из упавших деревьев, причем некоторые из топливных складов давно превратились в жилища – сушеные ветки спрессовались с прелой хвоей и мхом, проросли травой и образовали холмы; что творится в этих обителях преступности и беззакония, доподлинно неизвестно.

Понизив голос, инженер рассказал о существовании некоей нелегальной биржи, где каждый желающий может обзавестись «смердом» – китайцем, который за определенную плату готов поступить фактически в рабство на определенный срок, на год или на три. Изобилие незанятого населения делает этот вид услуг чрезвычайно востребованным, иметь в своем услужении одного или нескольких смердов считается приличным; причем некоторые смерды не заняты ни в производстве, ни в услужении, ни вообще хоть в какой-то осмысленной деятельности, их задача всюду таскаться вслед за своим владельцем и создавать вокруг него дружественное многолюдие. Иногда для забавы своего господина они устраивают ссоры с людьми другого владельца, причем порой эти ссоры втягивают в себя улицы и целые кварталы, перерастают в небольшие войны, сопровождающиеся веселыми погромами и поджогами.

Наемные люди недешевы, но востребованы, поскольку иметь своего человека считается престижным. Этим, по сути, рабством балуются многие, особенно условно свободные поселенцы, которым тем или иным способом удастся сколотить капитал или получать его от родственников из Японии.

Инженер покачал головой, то ли с одобрением, то ли с завистью.

Некоторые из чиновников префектуры, продолжил Одзак, снискавшие благосостояние возле казенных средств, заводят себе оркестры и театры, в которых поют и играют фактически добровольные невольники. Девятого или шестнадцатого числа на пруду Реставрации в центре города можно увидеть необычную картину – по водной глади скользят расписные лодки, заполненные песенниками и актерами. Сегодня же там разгул насилия и дикости, совершаемый на потребу местной китайской знати и морально деградировавших японских поселенцев.

Я сказала, что на площади Реставрации сегодня уже была, и спросила инженера про будущее.

Всего мы провели на модельной станции два довольно насыщенных часа, и все это время рикша нас услужливо дождался. Я была щедра на

чаевые. Перекусив пирожками и чаем, я решила отказаться от обеда и велела рикше без промедлений везти нас в «Легкий воздух», последнюю каторжную тюрьму, которую я должна была посетить на острове.

О Южном как признанной столице каторжного края известно гораздо больше, нежели о других сахалинских городах. Впрочем, и сам город своим видом, расположением и атмосферой рассказывает о себе немало. Здесь сильно, пожалуй, сильнее, чем в Холмске, чувствуется перенаселение, уже и центр города застроен неряшливыми китайскими фанзами, напоминающими коричневые древесные грибы, раскиданные по окрестным холмам. Люди здесь живут везде, иногда кажется, что каждый метр используется под обиталище, и к существующим будкам пристраивают все новые и новые, создавая порой весьма необычные дома. Хотя назвать эти сооружения домами в полном смысле этого слова нельзя, это скорее некоторые устройства для житья, сооруженные из любого подходящего материала. Распространены и пользуются популярностью у жителей дома, сложенные из нефтяных бочек, в основании железных, а в верхних этажах пластиковых; каждая бочка в таком строении является самостоятельным отсеком, в котором умещается и умудряется существовать отдельный человек, а иногда и два; издали эти конструкции похожи на пчелиные соты. Дома из морских контейнеров, проржавевшие насквозь. Я видела дом, построенный из угольных вагонеток, и этот дом, по меркам квартала, считался достаточно престижным. И дом, вылепленный из глины, целую улицу таких домов.

Впрочем, есть и фешенебельные районы, они располагаются по склонам сопок и на возвышенностях, и здесь можно встретить не только глиняные дома, но и деревянные, построенные, скорее всего, из ворованного леса. Японский квартал в Южном выглядит так же, как подобные кварталы в других японских городах, и напоминает родину.

Сахалин удивляет на каждом шагу. Станным сочетанием природы ослепительной красоты, просторов, солнечного света и вездесущей грязи, обязательного отчаянья, запечатленного во всех встречных лицах, привычного, что уже как отчаянье оно не воспринимается. Здесь вы не встретите ни одного человека, в фигуре и жестах которого не отразилась бы каторга, здесь все одинаково сутулы и прижаты к земле, от последнего корейца, живущего лапшой из сушеных земляных червей, до господина префекта, получающего к завтраку омлет из трех яиц и чашку горячего шоколада из старых запасов. В суставах людей живет постоянная расслабленность, сами люди то и дело оглядываются, а когда видят незнакомца или человека, кажущегося им опасным, покорно уступают

дорогу; жизненная сила, которая должна присутствовать в людях, здесь растрочена. Продолжается не жизнь, но мучительное и безнадежное доживание, и, глядя на толпы мертвецов, еще не успевших превратиться в топливные брикеты, я понимаю замысел профессора Ода, его интерес, его мысли.

Общество, в котором нет детей.

Общество, в котором практически вырваны малейшие ростки завтрашнего дня, похоже на заполненный пустотой цилиндр барометра, который с тончайшей отдачей реагирует на изменения в окружающем пространстве.

Именно в таком звенящем вакууме корпускулы грядущего особенно заметны, как заметен алмаз, угодивший в золу. Открой глаза и увидишь, как в прах и отчаянье радиоактивной пустыни из пыли, грязи и крови прорастает грядущее.

Профессор, безусловно, гений.

«Летний воздух» по строгости режима вполне сопоставим с «Тремя братьями», однако в другом он сильно отличается. Если честно, я не надеялась на то, что мне будет дозволено осмотреть это заведение в чрезвычайных условиях, сложившихся вокруг Южного, однако, к моему удивлению, уже, впрочем, не сильному, комендант тюрьмы пошел навстречу.

«Летний воздух» не разочаровал, впрочем, как и его комендант Нисида, который был мастером и художником своего дела; я успела это заметить уже у него в кабинете, белоснежные стены которого украшали многочисленные репродукции Пиранези, портреты Кафки и Джойса; собственно, и сам «Легкий воздух» во многом носил следы их творческого наследия. Если снаружи тюремный замок напоминал обычную консервную банку квадратного сечения и чуть приплюснутую сверху, то внутри он представлял архитектурное сооружение независимых и смелых пропорций.

Камеры, в котором содержались заключенные, располагались в хаотическом порядке; этажей как таковых не было; выяснилось, что здание имеет необычный скелетный каркас, собранный из старых чугунных рельсов, между которыми пролегли железные лестницы и натягивалось множество цепей. Сами камеры имели разные формы: треугольные, квадратные, походившие на соты нестандартных размеров, они были изготовлены из ржавых железных проклепанных листов. Полковник Нисида объяснил, что эти листы сняты с выбросившегося на берег нефтеналивного танкера, равно как и все оборудование тюрьмы, от труб до светильников. Фактически она представляет собой разобранный и по-

другому смонтированный корабль, однако собирал его обратно человек с весьма и весьма необычным взглядом на мир – это стало понятно, едва мы оказались внутри комплекса. Ерш закрыл глаза и для надежности натянул на лицо рукав свитера, переделанный мной в шапку.

Нет, здесь не было никаких пыточных инструментов, разложенных в раскаленных тазах, не было несчастных, подвешенных на крюках к стенам, здесь вообще мало что напоминало об узилище, больше всего... Не знаю, если честно, я не смогла припомнить, на что походил «Легкий воздух». Пожалуй, на сон. Не на кошмар, нет, на мучительный сон с открытыми глазами, когда мозг оказывается надежно заперт между сновидением и явью, и не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, и в этом состоянии являются видения мучительных построек, разрушающих геометрию мира. Эта тюрьма была как раз из таких построек, возможно, подобные сны видел и Пиранези.

Мне не захотелось закрыть глаза и спрятаться куда-нибудь подальше, но голова закружилась сразу, так что меня даже подхватил под руку полковник Нисида, причем я отметила, что сделал это он не без гордости за произведенный его тюрьмой эффект, а эффект, надо признать, в самом деле получился мощнейший. Комбинация лестниц, пролетов, многоугольных конструкций, свисающих непонятно из каких высей, камер, представляющих собой многоугольные организации, света, появляющегося из самых неожиданных мест, цепей и еще цепей – все это произвело головокружительное впечатление; показалось, что пространство сломалось и стерлось, что вызвало некий перекося в мозге и легкий приступ тошноты.

Полковник Нисида предусмотрительно угостил меня и Ерша особыми мятными леденцами; конфеты неожиданно помогли, я почувствовала, что тошнота отступила, и мы смогли неспешно продолжить осмотр, разумеется, с соблюдением элементарных мер предосторожности – стараясь не выпускать из рук лееров, натянутых вдоль переходов, и не смотреть вверх, чтобы не вызвать головокружения. Полковник рассказывал, что «Легкий воздух» спроектировал и построил архитектор Нобу Тикамацу во время отбывания им пожизненного каторжного срока, его имя мне должно быть известно.

Имя Тикамацу действительно было мне известно, и хотя расцвет его творческой деятельности пришелся на то время, когда я еще не появилась на свет, многочисленные легенды, байки и анекдоты я знала, более того, я застала один из последних особняков архитектора – он стоял неподалеку от нашего дома.

Рассказывали, что, еще будучи студентом, Тикамацу сошел с ума при

попытке построить коттедж в виде бутылки Клейна, однако поначалу никто не заметил его нездоровья, заметили позже, когда Нобу, как одному из ярких представителей новой школы, поручили построить квартал особняков, предназначенных для офицеров инженерного корпуса. Впоследствии за этим районом прочно закрепилось название «Мясная гора», и название это оказалось вполне оправдано – в одну из ноябрьских ночей в квартале произошла массовая резня. Во сне было умерщвлено, преимущественно обезглавлено, порядка двадцати офицеров и членов их семей, причем убийц так и не удалось обнаружить.

Страшная правда «Мясной горы» открылась позже, во время суда. Обнаружилось, что необычной конструкцией своих вилл Тикамацу маскировал хитроумную систему потайных ходов, по которым можно перемещаться в стенах и перекрытиях; архитектурный гений Нобу позволил сделать эти переходы абсолютно незаметными, что позволяло ему тихо подкрадываться к своим жертвам и отрубать им головы.

Другие здания, построенные Тикамацу, не имели ни двойных стен, ни потайных панелей, ни фальшивых полов, но эти, казалось бы, самые безобидные строения неизменно приобретали дурную славу; люди, которые в них жили, регулярно сходили с ума, сводили счеты с жизнью, убивали окружающих; те, кто выживал и оставался в относительном рассудке, сообщали странные, пугающие вещи. В домах, созданных Тикамацу, практически постоянно ощущалось острое присутствие зла, необъяснимое, но постоянное и гнетущее, некоторые слышали чужое дыхание, другим чудился плач, третьи видели глаза и тени. Исчезали жильцы, причем некоторые исчезали окончательно, так, что не удавалось найти никаких их следов, даже при последующем разборе этих домов до основания.

Однако самым известным творением Тикамацу стали печально известные дома с бродячими «красными комнатами», легенды о которых плотно вошли в современный фольклор. Сегодня каждый школьник знает о том, как вести себя при встрече с Туалетной Хироко и что делать, если у тебя в доме ни с того ни с сего появилась «красная комната». Чем в действительности была вызвана к жизни легенда о «красных комнатах», доподлинно неизвестно, однако вспышка «алого безумия», имевшая место в одном из престижных районов в пригороде Токио, до сих пор вспоминается его жителями с ужасом. Комиссия, созданная для расследования инцидента, выяснила, что Тикамацу при строительстве вилл использовал целый комплекс методов, угнетавших сознание и порождавших чудовищные галлюцинации. Им применялись приемы анаморфической организации пространства, реализованные с изощенной

техникой и фантазией, особые отражатели вкупе с системами антенн и камертонов насыщали здания низкочастотными звуками и вибрациями, а краски и деревянные паркетные полы испускали неуловимые запахи, разрушающие рассудок. В результате человек начинал видеть некий фантом, который определялся им самим как «красная» или «кровавая» комната, после этого наступала смерть или серьезное помутнение рассудка.

Комиссия начала расследование деятельности Тикамацу и скоро выявила, что практически все его работы в той или иной степени приносили своим обитателям смерть, причем, судя по всем признакам, случайностью это не являлось. Впоследствии, несмотря на протесты Императорской академии архитектуры, было принято решение снести дома работы мастера. Как я говорила, последний особняк располагался недалеко от нас, и мы, еще маленькие, наблюдали, как его сжигали. Пламя охватило стены, стекла полопались, и дом завыл, точно с него сдирали шкуру, – разумеется, это был всего лишь эффект возникшей тяги, но от мыслей, что горело живое существо, я не могла отделаться еще долго.

На суде Нобу Тикамацу признали условно вменяемым, ему назначили наказание в виде пожизненной каторги, пятнадцать лет он отбыл в Углегорске, десять в Александровске; в проектировке и строительстве «Легкого воздуха» он участвовал уже глубоким полуслепым стариком, однако, несмотря на это, болезненность его дарования проявилась здесь в полной мере. Именно поэтому полковник Нисида с гордостью отметил, что «Легкий воздух» является самой серьезной тюрьмой Сахалина, раскрывающей перед заключенным сияющую бездну возмездия.

Для примера полковник предложил осмотреть одну из ближайших камер. В ней содержался некий Гэндзабуро Отважная Рыба, я про него ничего не слышала, но Нисида пояснил, что заключенный сжег полицейский участок и призывал отказаться от ядерного оружия; сначала пацифиста пытались лечить, но после нападения на полицейских приговорили к каторге. Гэндзабуро отсидел четыре года из семилетнего срока и в настоящее время пребывал в блаженном состоянии в углу камеры.

Сама камера представляла собой небольшое помещение неопределимой формы, мне показалось, что все-таки восьмиугольник. Стало неудобно, Ерш схватил меня крепче за руку – с потолка камеры практически до ее пола свисал выпуклый пузырь, точно потолок был мягкий и сверху на него натекла вода. Только пузырь железный и при приближении неровный, точно его наполняла крупная, размером с кулак, икра; пузырь этот занимал значительный объем камеры, один взгляд на него поверг меня в непонятную, ничем не спровоцированную печаль, я

почувствовала себя накрученной на этот икрянистый пузырь, его присутствие ощущалось даже с закрытыми глазами.

Узник Гэндзабуро поднялся со своей койки, представлявшей собой прикованный к стене суковатый обрубок бревна, и довольно вяло отрапортовал, что самочувствие у него нормальное, настроение бодрое, жалоб нет. Голова у Отважной Рыбы оказалась свешена набок, как у дохлой курицы; я поняла, отчего это произошло – я попыталась обойти вокруг этого выпученного пузыря, и моя голова немедленно приняла противоестественное положение. На другой от пузыря стороне нашлось окно, во всяком случае, это в какой-то степени являлось окном; это было странное устройство, состоящее из труб, стальных прутьев, треугольников; чтобы заглянуть в него, мне понадобилось подпрыгнуть.

Я увидела ягуара.

Полковник Нисида сказал, что подобные конструкции есть и в других камерах, но в целом оформление каждой индивидуально, что-то продумал еще сам Ному, что-то разрабатывали сторонние дизайнеры, а часть и сам полковник в свободное от работы время, в данном случае дизайн камеры продумал именно он. А еще комендант Нисида пояснил, что окна камер, в отличие от остальных тюрем Сахалина, выходят не наружу, а внутрь помещения, отверстия во внешних стенах, которые многие принимают за окна, имеют декоративное назначение или служат для вентиляции. Это создает дополнительный эффект, отстраненность заключенных от остального мира является полной, фактически они пребывают внутри морока, созданного Нобу Тикамацу, причем среди заключенных существует убеждение, что тело самого архитектора замуровано в металл одной из камер, хотя это, разумеется, не так – в соответствии с Уставом каторжных тюрем труп Тикамацу был кремирован.

Я подпрыгнула еще раз и снова увидела ягуара.

Мы вышли из камеры Отважной Рыбы, человека, решившего в нашем безумном мире преклониться перед пацифизмом, человека, голова которого не держалась на плечах. Полковник предложил продолжить осмотр, однако я отказалась, комната с ягуаром произвела на меня тяжелое впечатление. Возможно, это случилось от усталости – сегодня было слишком много событий, душа моя, растревоженная Сахалином и сегодняшним днем, утратила устойчивость, и мне явился ягуар.

Полковник посоветовал стараться не смотреть сразу двумя глазами, не смотреть под ноги и по сторонам – это опасно, ведь надзиратели, несущие службу, носят особые очки, отсекающие анаморфические и прочие визуальные эффекты и позволяющие избежать значительных

профессиональных деформаций. Однако я неосторожно попробовала окинуть внутреннее пространство еще раз, и это было очередной ошибкой – я снова почувствовала, как в голове сместилась тонкая и прозрачная ледяная пластина, рассекая мозг на две части.

Я очнулась в кабинете полковника, комендант Нисида прикладывал мне к затылку мятный компресс, и от этого компресса действительно было хорошо, холод спускался по шее на спину и расползался по ребрам, создавая внутри организма чистый морозный звон. Голова продолжала кружиться, перед глазами продолжала стоять искаженная геометрия «Легкого воздуха». Безусловно, архитектор Ному был гением. Рядом со мной сидел Ерш, он играл с облезлым резиновым кашалотом, ел зеленый горошек из плошки и был абсолютно счастлив.

Полковник пояснил, что со мной произошло то, что часто случается с посетителями тюрьмы, – обморок. Такое регулярно случается и с заключенными, особенно с теми, кто поступил в «Легкий воздух» недавно, постепенно они привыкают существовать с этим искажением сознания, сползают в это искажение и начинают жить в сдвинутом мире, придуманном для них безумным мастером.

Полковник заметил, что мне стало лучше, и предложил отвар из трав и цветочного меда; он оказался неплох, разогнал головокружение и нормализовал пульс, полковник предложил мне еще и перекусить, но я отказалась. Я поинтересовалась текущим состоянием «Легкого воздуха», и выяснилось, что не все камеры «Легкого воздуха» заполнены, имелось некоторое количество свободных мест, поскольку (и это комендант Нисида сказал не без гордости и удовольствия) узники всеми силами противятся направлению в Южный. Многие используют не только финансовые ресурсы, но и влиятельных родственников для того, чтобы попасть в «Трех братьев» или в «Уголек», куда угодно, лишь бы не в «Воздух». Потому что большинство из тех, кто прибывает на Сахалин отбывать наказание, рассчитывают рано или поздно выйти в поселенческое состояние, повесить на локоть ведро и продолжить свою противоправную деятельность, однако после отбывания наказания здесь это мало кому удастся по понятным причинам.

По убеждению коменданта Исиды, ничто так не подавляет психику и не смиряет сознание, как абсурд и бесконечность. Абсурд запускает механизм дефрагментации критического восприятия мира, бесконечность же умножает возникшую аномию стократно, подобный марьяж расслаивает личность на первичные страты, с которыми работать уже просто. Ничто: ни голод, ни пытки, ни безнадежность – не может погасить в человеческом

существо искры человеческого до конца, в крайнем случае применение этих методов способно лишить заключенного разума. Но заведение полковника Исиды воистину чудодейственно, пребывание здесь в кратчайшие сроки избавляет заключенного от самой мысли о преступлении.

– К нам приходят закоренелые душегубы и бунтовщики, а за ворота выходят практически буддисты. Наша тюрьма похожа на дистиллятор – она возгоняет душевную субстанцию в блистающих горнилах, отделяя от нее кипящий эфир порока и зловонную взвесь греха, оставляя лишь чистую и спокойную воду бесконечной добродетели.

Так сказал полковник Нисида, очевидно, сын рыбака. И добавил, что процент рецидива у освободившихся из «Легкого воздуха» практически равен нулю; годы, проведенные в застенках, кардинально меняют людей, и, выйдя на положение условно свободных, бывшие каторжники становятся полезными членами общины и, что немаловажно, избегают вступать в криминальные организации и тайные общества, занимаются ремеслами и другой полезной деятельностью.

Правда, сказал полковник, у этого метода есть и отрицательная сторона, впрочем, в существующем положении дел не очень критическая: как оказалось, среди заключенных частенько случаются самоубийства, в среднем в два раза чаще, чем в остальных тюрьмах, однако это тоже есть благо. Разумеется, администрация не ставит своей целью довести каторжника до суицида, но, если это вдруг происходит, никаких мер к реанимации узника и возвращению его в ряды живых не производится.

С методами «Легкого воздуха» я разобралась, и, если быть откровенной, у меня не возникло никакого желания знакомиться с этими знаниями сколь-нибудь обстоятельнее, поэтому от вопросов общей превенции я решила вернуться к проблемам насущного дня и поинтересовалась, что полковник Нисида думает про нестабильность, возникшую в связи с недавними землетрясениями. Александровская тюрьма уничтожена полностью, и судьба ее коменданта незавидна, кроме того, на севере разрушено несколько городов, началась массовая миграция на юг, как в сложившейся обстановке думает действовать администрация «Легкого воздуха»?

Нисида ответил, что предпосылок для паники нет. Да, «Три брата», по имеющимся сведениям, разрушены, а каторжные разбежались – однако ничего катастрофического не случилось, тюрьму восстановят, сбежавших переловят, собственно, их не придется даже ловить – едва закончится лето и начнутся дожди и первые заморозки, все выжившие и бежавшие

вернутся, а если не вернутся, то особой беды нет – зиму из них мало кто переживет. Что касается миграции с севера, не стоит ее опасаться, такое происходило, и не один раз, особенно в жаркие годы, когда в центральной части острова начинались массивные лесные пожары и ощущался острый недостаток чистой воды. Кроме того, как заверил Нисида, жители Южного обладают развитым общественным чувством, формируют дозорные группы и отряды самообороны, которые в случае опасности окажут необходимую помощь и содействие.

На вопрос, почему происходит эвакуация администрации северных городов, Нисида ответил, что это не эвакуация, а передислокация и концентрация сил – военные стягивают ресурсы к базам, чтобы затем начать постепенное восстановление разрушенной инфраструктуры. Так что в целом переживать пока не о чем, это временные трудности. Южный, как ни один другой населенный пункт Сахалина, готов к экстренным ситуациям.

Заверив меня в том, что ситуация стабильна, Нисида предложил осмотреть его коллекцию дагерротипов Южного Сахалина, сделанных еще в середине девятнадцатого века, однако я отказалась в силу позднего времени. Полковник Нисида не стал настаивать, письма со мной он передавать не стал, из чего я сделала заключение, что обстановка, возможно, на самом деле не такая уж угрожающая. Я попробовала узнать, есть ли возможность попасть в Корсаков или хотя бы в Аниву, но полковник сообщил, что пока такой возможности нет – вокруг анивских баз действует жесткий режим фильтрации, пробраться через который вряд ли получится.

Мы с Ершом покинули «Легкий воздух» в четверть пятого; полковник предлагал тюремный автомобиль, однако я отказалась – хотелось немного прогуляться, подышать воздухом, настоящим воздухом, который здесь был действительно хорош и легкий. Обьевшийся горохом Ерш разомлел и еле шел, засыпая на ходу и стремясь улечься в любом подходящем месте и потом где-то в середине спуска уснул. Сел на камень и уснул в обнимку с облезлым резиновым китом, подаренным ему любезным комендантом Исидой, чей дед был рыбаком и верил в духов прибоа.

Ерш уснул, так что пришлось тащить его на спине. Мы шагали вдоль крепких опор старинной канатной дороги, дорога эта была сооружена надежно, сохранились треугольные мачты и канаты, годы не нанесли им серьезного урона, они лишь просели немного под весом лишайников, поселившихся на них. Погода стояла безветренная, но лишайники все равно покачивались, напоминая странное рассредоточенное живое существо, состоявшее из множества щупалец, но не имевшее тела. Слева от

нас чернел лес.

Ерш сидел у меня на спине и не дышал, в нем не чувствовалось ни тяжести, ни тепла, а я думала, что такие, как Ерш, люди, наверное, со временем приобретают особые качества – они учатся прятаться, учатся задерживать дыхание и не шевелиться и убирать температуру с поверхности тела, никак не выдавая себя; они умеют сидеть неподвижно сутками, они умеют не есть, они умеют не пить, впитывая воду кожей из тумана и утренней росы, они умеют не пахнуть. И наверное, с возрастом они научаются отсекал остальные человеческие качества, если эти качества можно приобретать, то и утрачивать их тоже. Я шагала под гору и совершенно не чувствовала веса Ерша у себя за плечами и думала, что это, возможно, оттого, что он каким-то способом научился контролировать вес; эти мысли увлекли меня настолько, что я перестала замечать все вокруг, и когда возле головы пролетел камень, я не поняла, что это было. Поняла секунду спустя, когда второй камень ударил в затылок со страшным мясным звуком.

Я упала и потеряла сознание, думаю, на несколько минут, потому что, когда я очнулась, все вокруг изменилось. Появился несильный ветер, он нагнал небольшие облака, низкие, похожие на клочки невесомой пены, солнце ломалось в этих облаках, воздух пропитывался рассеянным светом, движением, бликами, казалось, что вокруг меня вертится световой и воздушный смерч. Потом я увидела остальное, то, что мой мозг отсек при пробуждении, лишнее, ненужное, пену.

Были еще китайцы, много, я не стала их считать принципиально, но их там находилось порядочно, причем не просто какие-то проходящие мимо, но явно организованные – в одинаковой тяжелой обуви, в темно-зеленых рубашках, в шапках. Китайцы стояли, перекидывая в руках дубинки, изготовленные из обрезков труб, на меня не смотрели, кроме одного: он стоял близко и улыбался. Тот самый деловой китаец-гид, которому я засунула в рот пистолет, жаль, что не выстрелила. Он стоял рядом, с тухлой улыбкой, держал в руках мои пистолеты, а потом ему приглянулся макинтош, и он перевернул меня на живот и стал стаскивать его. Тянул, выворачивая руки, а кто-то другой поставил мне ногу на шею. Я, конечно, попыталась сопротивляться, но безуспешно.

Остальные занимались Ершом. Хотя им и заниматься-то особо не требовалось, он сидел не шевелясь, а они его пеленали. Обматывали длинной белой лентой, похожей на бинт, Ерш сидел, а один из китайцев описывал вокруг него круги, и в этом обматывании вполне преуспел – только голова торчала, и почему-то эта голова казалась не по-альбиносьи

белой, а вполне себе седой. Ерш не спал, я видела его глаза, в меняющемся свете они вспыхивали попеременно то серебром, то красным, а иногда зеленым, он не моргая смотрел на меня. Смотрел. Почему они не ушли? Ведь ничего не стоило подхватить невесомого Ерша на плечо и утащить его прочь, а они так не сделали, они оставались тут, под этой канаткой. Но потом я догадалась. Камень меня хорошо оглушил, и хотя сотрясения, кажется, не случилось, но соображала я туго, и плечи болели.

Это из-за гида-китайца. Он хотел, чтобы я видела, как они унесут Ерша, чтобы я почувствовала свою ошибку, чтобы наблюдала его торжество и торжество господина Сяня, ценителя вековых традиций, человека, имеющего вес. Вполне могло стать, что этот китаец и являлся господином Сянем, тогда стоило бояться, он наверняка не прощает обид и унижений, наверняка в господине Сяне волнуется, едва держится в берегах темное зловонное море.

Кажется, Сянь что-то хотел сказать, у него рот уже сложился для этого, но он посмотрел на меня и передумал, только улыбнулся и покивал с презрением, а потом ударил сапогом в голову. Я потеряла сознание снова, в этот раз, правда, надолго. Я открыла глаза и поднялась на ноги. Они не убили меня, понятно, господин Сянь желал, чтобы я помнила это, моя смерть не принесла бы ему никакого удовлетворения, да и опасно – за мою смерть его бы непременно нашли.

Меня сильно тянуло влево, наверное, потому, что на левой стороне головы надулась шишка размером с полкулака. Я пыталась сообразить, что делать, как искать Ерша, Ерша ведь надо искать, искать...

Комендант Нисида. Полковник должен помочь, наверняка у него есть связи среди китайцев, надо всего лишь вернуться наверх, к тюрьме...

Неожиданно меня посетила сумасшедшая и одновременно страшная идея – я подумала, что, наверное, не стоит возвращаться в тюрьму. Потому что полковник Нисида... Конечно, он японец и не стал бы связываться с китайцами, но кто может поручиться, что годы пребывания в «Легком воздухе» в окружении анорморфического безумия не воздействовали и на его рассудок. Ведь Карафутто ест людей.

Сахалин меняет людей, люди становятся другими, западный ветер приносит с континента пепел сгоревших, их жир и прах оседают на крышах, пропитывают землю и воду, въедаются в волосы и кожу; восточный ветер дышит вулканами, пеплом, рением и ртутью, песнями сожженных китов, он вгрызается в горло и стекает в легкие, Сахалин меняет людей. И полковник Нисида, сын рыбака, мог страдать наследственными отложениями солей, и ревматизмом, и подагрой, в

промозглые дни его ступни выкручивало наружу, пальцы распухали в суставах и делались похожи на паучьи лапки, колени наливались водой, а тут господин Сянь, и господин Сянь говорит, что от этого весьма помогает мазь, приготовить снадобье не сложно, но ингредиенты редки, очень редки, вот если бы вам, полковник, удалось добыть крови и костей альбиноса...

Разумеется, это было не так. Это не могло быть так, но эта мысль уже поселилась в моей голове, и я не могла ее выкинуть, хотя никаких здравых причин для такой мысли не находилось, но меня тоже отравил воздух Сахалина, я слишком долго дышала мертвецами и звездной медью.

Наверное, меня охватило отчаянье. Во всяком случае, раньше я не чувствовала ничего подобного, не чувствовала такой тьмы внутри, словно в горло залили кипящее масло, но я не умерла, еще шевелюсь, но знаю, что спасения нет, что это конец. Я, кажется, закричала и пошла вниз по склону, стараясь держать равновесие, но все равно изрядно мотало, будто за уши вбивали гвозди, а под каждым зубом взрывалось по маленькой бомбе. Я потеряла Ерша, глупо, совершенно глупо, на ровном месте, как абсолютно законченная дура, дура, и это никак не исправишь, его не найти в этом городе нор и трущоб, он исчез, как и появился, неожиданно, в никуда.

Меня толкнули в спину, так показалось сначала, я упала на колени, а потом лицом в землю, вцепившись в мелкую гальку пальцами, перекатилась на бок, намереваясь защищаться. Рядом никого. Тряслась земля, не тряслась, а дрожала, вибрация расходилась по поверхности, точно это пела натянутая барабанная шкура. Мимо прокатилась крышка, подпрыгивая и издавая самые странные хлопающие звуки.

Я в очередной раз собралась и поднялась и смогла пройти еще несколько сотен метров под уклон, до бетонных плит, заросших мхом и железной травой; в зарослях этой травы сидел господин Сянь, сидел и тряс головой. Подумалось, что господин Сянь мне чудится, но, приглядевшись, я обнаружила, что это не так, просто господин Сянь был мертв. Я приблизилась и увидела, что Сянь мертв – через правое плечо у него проходила глубокая борозда. Сянь был разрублен до ключицы, но кровь из него не текла, точно из куклы; шея тоже разрублена, от этого и болталась голова, но и здесь без крови.

Я заметила еще нескольких китайцев, они лежали вокруг, но не выделялись на местности, потому что, в отличие от господина Сяня, одежда у них была не очень видная, серая, в тон окружающей грязи, но я не стала их разглядывать. Скорее всего, одна китайская банда разобралась с другой китайской бандой, на господина Сяня нашелся господин Лянь, всегда так происходит.

А потом я увидела Артема. Слева, он показался из-за каких-то земляных бугров. Артем держал на плече багор, за ним шагал Ерш, перемотанный длинными белыми бинтами и напоминавший личинку, только ноги свободны. Ерш тоже увидел меня и кинулся навстречу, но тут же упал и покотился, из-за спины Артема выступил человек. Очень примечательный человек, старик. Здесь, на Сахалине, я совсем не встречала стариков, их, разумеется, здесь нет среди японцев, их почти нет среди китайцев, во всяком случае, до сих пор я не встречала ни одного, само собой, их нет среди корейцев. А этот выглядел лет, наверное, на семьдесят. Или больше, по нему сложно было что-то сказать.

Наверное, Человек. Скорее всего. Я представляла его другим. Вернее, я его никак не представляла, старик, он старик и есть, но Чек меня все-таки удивил. Выше Артема на голову, а меня, наверное, на полторы, рослый и ничуть не сутулый. Прикованный к тачке. Если он переберется в Японию, будет казаться великаном. Сухой и широкоплечий, с коричневой кожей, с гладкой лысиной, с длинными руками, которые двигались немного отдельно от тела. На правом глазе явная катаракта, а левый молодой, острый, еще сто лет таким можно видеть.

Куртка из толстой зеленой кожи с многочисленными карманами и кольцами, с ремешками и с серебряными пряжками, дорогая куртка, достойная; на плечах и на спине ярко алели пришитые продолговатые кожаные ромбы; куртка старая, как и макинтош, а вот ромбы свежие, пришитые недавно, лакированные.

Чек опустил руку, схватил за шкирку Ерша и легко поставил его на ноги и сказал что-то Артему, я не расслышала. Потом старик увидел меня и замер, точно выключился.

Он смотрел на меня не мигая, и я не могла понять по его лицу, что он думает. А Артем улыбался, и Ерш улыбался, а старик смотрел, не улыбался, смотрел.

Я шагнула к ним, я хотела их обнять и прижаться к ним, даже к этому сумасшедшему старику, похожему на седую обезьяну, но земля дрогнула снова, и гораздо сильнее, опора фуникулера, стоявшая выше нас по склону, подломила ногу и обвалилась, повиснув над самой землей на тросах. Ерш застучал ладошами, ему понравилось.

Взвыли сирены на сторожевых башнях тюрьмы, вспыхнули и тут же погасли прожекторы, отключилось электричество, и Южный, и без того плывущий во мраке, погрузился в него окончательно.

Но темно не было. Горизонт светился оранжевым, сквозь который вспыхивали ослепительные белые звезды, земля дрожала в ритм с этими

вспышками, с горы сходили осыпи, мелкие камни плясали вокруг.

Пришел звук. Он походил на рев далекого яростного животного, предсмертный крик кракена, пронзенного золотой стрелой Ахиллеса, раздавленного льдами.

А еще через несколько мгновений с севера явился теплый воздушный поток, сначала по земле, потом выше, и стал уже ветром, а за ветром пришел новый свет, ярко-белый, сияющий, и почти сразу тени, они резко вытянулись в нашу сторону и вернулись обратно к горизонту, свет сделался плотнее, и постепенно небо начало разгораться от этого северного пожара, и стало светло, как днем, словно над островом поднялось еще одно солнце.

Чек расхохотался и поймал меня за плечи, сжал и стал смотреть в глаза и не отпускал, все смотрел и смотрел. Артем воткнул багор в землю и стал разрезать бинты на Ерше, деловито, собранно.

– Надо уходить, – сказал Артем. – Похоже, что это...

– Бомба, – закончил Чек. – Конечно же это бомба, мне ли не знать!

И все не отпускал, глядел в лицо, а я почему-то не старалась вырваться.

– Огонь идет за тобой... Мне повезло... Нет, мне все-таки повезло напоследок!

Это он почти выкрикнул. Я все молчала, а он все смотрел.

– У бездны мрачной на краю, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане... Она же ангел, ты это хоть понимаешь?! Огонь идет за ней!

Артем срезал с Ерша куски бинта и разбрасывал его по сторонам, Артем выглядел сосредоточенно, а Чек не отпускал меня.

– Понимаешь ли ты, бестолковый?! – снова крикнул Чек. – Это же навсегда!

Артем плюнул под ноги и сказал, что надо уходить, и чем скорее, тем лучше.

Ловецкий перевал

Там, на дороге, уходящей к Ловецкому перевалу, я думала.

Ерш спал, закутавшись в военную куртку, он с головой утонул в ней, так что могло показаться, что к сиденью пристегнута пустая куртка. Я сидела на соседнем месте и пыталась выпрямить ноги, что в узком пространстве квадрата получалось плохо, но это были сущие мелочи, ерунда, пустяки.

Вечер был суетливым и трудным, впрочем, я не очень хорошо его запомнила; я хотела вернуться в гостиницу, чтобы забрать вещи, но Артем сказал, что на это нет времени, надо уходить. Собственно, в гостинице у меня не осталось ничего особенно ценного, коробку с письмами я носила с собой, и китайцы ее за ненадобностью не отобрали, так что в путь я вполне была готова отправиться хоть сейчас.

Я спросила, откуда он понял, что мы с Ершом отправились именно в «Легкий воздух», но Артем так толком и не ответил, пожал плечами, а Чек хмыкнул и заявил, что во времена седовласого Пелея это называлось Бог из Машины.

– Линии Судьбы давно прочерчены в наших ладонях, – сказал Чек. – Некоторые учатся их читать и видеть перекрестия, некоторым это и не нужно, некоторые могут ходить поперек. Я сам в свое время...

Когда Чек был юн, горяч, жил на балконе с видом на Золотой Рог и читал в сортире книги из серии «Портал Зла», это называлось рояль из кустов. Артем не походил ни на первого седого, ни на второго лысого, но появлялся всегда вовремя.

– За ним такое водится, – подмигнул Чек. – Появляться в нужное время в нужном месте, это у него с детства. Такой вот засранец.

Я верила, почему нет?

Недалеко от того места, где Артем встретил господина Сяня и его товарищей, нас ждал квадроцикл, на котором Артем и Чек прибыли из Холмска. Машина была не в лучшем состоянии, силовой каркас из труб смят и, видимо, смещен по продольной оси, а на левом переднем диске я заметила большую радиальную вмятину, отчего колесо наполовину спустило и выдавило килу. Артем объяснил, что по пути у них лопнула рулевая тяга и они ушли под откос, два раза перевернувшись. Потеряли двадцатилитровую пластиковую канистру с бензином, что ощутимо осложнило наше положение; по плану горючего должно было хватить до

Крильона, но теперь Артем опасался, что его едва хватит лишь на то, чтобы преодолеть перевал.

Квадроциклу требовался ремонт, и Артем собирался заняться этим сегодняшней ночью, однако все случилось по-другому. Южный проснулся и зашумел, и с высоты мы увидели, как город ожил, зашевелился, как выброшенный на пляж гигантский осьминог, натянул щупальца улиц, заколыхался телом домов и поволок себя к воде, к югу, перекатывая по гниющей рыхлой шкуре россыпи вечерних огней.

Вечер нас выручил, согнал с близких гор туман, спутал дороги и тропы и мысли людей, а мы не стали медлить, пока еще оставалась возможность, мы проскочили в последний зазор между сопками и этим ожившим городом.

Я в последний раз оглянулась на «Легкий воздух».

Север пылал. Багровым светилось небо, и от этого никак не было видно звезд. Мы отъехали от Южного километров на двадцать к югу и остановились на одной из троп, уходящих в сторону от дороги. Артем велел всем спать, сказал, что покараулит. Чек тут же уснул, а Ерш, кажется, и так спал.

Я долго не могла уснуть, небо играло цветами и выглядело толще, чем обычно, оно склонилось к земле, осело между холмами, казалось, что кто-то медленно тянет по верхушкам сопок блестящее шерстяное одеяло. От этого получались молнии, молнии, как серебряные нити. Проснулась, пожалуй, с рассветом, впрочем, тут сказать трудно.

По дороге шагали китайцы, успевшие за несколько часов преодолеть расстояние от Южного. Я уже привыкла к этому, а тут еще туман, он дымился вокруг, пахнувшая гарью пелена висела над склонами рваной ватой. Ерш проснулся.

Артем запустил двигатель едва мы проснулись. Ехали не спеша, держась правее. Дорога шла наверх, туман постепенно рассеивался, и на востоке поднималось солнце. Китайцы, услышав нас, убирались, тех, кто не убирался, Артем подталкивал бампером. Постепенно, по мере подъема в гору, их становилось меньше, скорость увеличилась, ехали свободнее, стало больше воздуха, дышалось легче.

– Видимо, дело плохо, – рассуждал Чек, выставив ноги из машины. – Если они разбомбили Поронай... Дело дрянь. Окончательная дрянь! – с удовольствием сказал Чек, понюхав воздух.

– Значит, им не удалось удержать кордоны... – Чек плюнул сквозь зубную прореху. – Могу поспорить – половина япошек уже удрала морским путем, другая половина вот-вот удерет. Они всегда так делают! Остров

обречен! А вчера, бесспорно, бомбили.

– Может, это все-таки напалм, – предположил Артем. – Случился прорыв, его залили напалмом, теперь леса горят...

– Нет, это не напалм, – тут же возразил этот Чек. – От напалма только свет, а здесь по полной программе. Я знаю, что такое бомбежки, я помню... К тому же вот.

Чек сунул руку за пазуху, достал счетчик.

– Еще вчера утром все было зелено, – Чек стряхнул счетчик, как стряхивали старинные ртутные градусники. – А сейчас жжется, а?

Сейчас уже жжется, он прав.

Артем молодец все-таки. Настоящий Прикованный к багру. Раздобыл квадр, теперь мы не ползем в гору пешком, а едем. Плохо, но едем, опережаем толпу, бредущую по дороге.

– Япошки бегут, – опять с удовлетворением произнес Чек. – Я знаю. Бегут, что им делать? Все бегут. И скоро побегут еще быстрее, я чувствую. Я чувствую конец Тьмы! Он близок!

Чек подмигнул:

– Пермское вымирание, ты, конечно, про него слышала. Пермское, великое, прекрасное! Вымирания случались всегда. Но это не конец, это начало! Это освобождение места, эволюция. Земля сбрасывает кожу, время пришло. Резец Господний рассек одряхлевшую плоть, она отваливается гниющими кусками, осталось недолго. Время идет быстрее. Пермское вымирание длилось сто тысяч лет, сейчас все стремительнее и стремительнее, мы прекрасные ученики. Сегодня Господу не надо возиться с бактериями и подгонять метеориты, сегодня у него есть мы. Мы эффективнее метеоритов и быстрее бактерий, мы быстренько справились с заданием.

Сумасшедший. Ничего удивительного. Почти всю жизнь здесь. Прикованный к тачке.

– Алхимики были глупы, но при этом абсолютно правы. Все их жалкие забавы с лягушачьей блевотиной и сушеными червями имели жемчужное зерно, жаль, у этих натуралистов не хватило ума его разглядеть. Именно поэтому их гомункулусы рождались безнадежно и безнадежно мертвыми. Остров – это не каторга, это реторта. Радиация, голод, болезни, это всего лишь катализаторы, соль роста. Для перехода нужна точка, крупинка грядущего света, чтобы вокруг нее вспыхнул яростный завтрашний день. Где взять эту точку?!

Чек повернулся ко мне.

– Здесь нет этой точки, – сообщил он. – Как не было ее в первый миг

Творения. Это все Нити. Они не только расстояние, они еще и время. Они открывают окна, в окна сквозит, заносит пух и пепел и пыльцу того, что скоро свершится. А ветер всегда дует с горы.

Сумасшедший. Ветер с горы.

– Любая собака чует ветер с горы, – сообщил Чек. – Знаешь, я расскажу тебе про это. Про собак то есть, я их большой аматер. Там у нас одна такая есть, жирная, килограммов двадцать, наверное. Я ее хотел на петлю взять...

– Надо в Корсаков попробовать, – сказал Артем негромко. – Могли бы прорваться.

– Нет, – решительно помотал головой Чек. – Бесполезно. Туда бесполезно. Нужно в Невельск. Оттуда еще можно уйти, поверьте, я знаю эти места лучше всякой псины...

Вероятно, Человек прав, несмотря на явные признаки безумия, Человек прав. В Корсакове большой порт, но там и военные базы в округе; если действительно началась эвакуация, не стоило и пытаться пробиться через Корсаков; скорее всего, военные заняли глухую оборону. Нет, Чек старичок определенно зубастый, надо за ним приглядывать. Мысли генерирует, слишком много мыслей. Интересно, врет про то, что философ? Ведь проверить все равно никак.

– Скоро здесь станет жарко. – Чек весело толкнул Ерша в бок. – Атомное лето! Я помню его начало, мне повезло быть при его финале.

– Хватит каркать, – вмешался Артем.

– Это не карканье, Темен, это всего лишь анализ ситуации. Могу поспорить на ту жирную псинку – вчера вечером япошки сожгли Поронайск.

Впереди опять возникла группа китайцев, видимо, самых хитрых, убравшихся из Южного сильно заранее. Китайцы образовали затор, Артем сбавил скорость, и мы остановились, окруженные толпой. Китайцы стояли со всех сторон, плотно обступая квадроцикл, смотрели на нас, но никаких враждебных действий не предпринимали; они были все одинаковые: серые, грязные, голодные, с мешками за плечами. Как обычно, равнодушные; я явно видела, что им все равно – жить – не жить, и никак не могла понять, зачем они тогда идут через перевал? Объясняла это стадным инстинктом.

– И это был не напад, что бы вам ни хотелось думать, – продолжил Чек. – Скорее всего, тактические заряды. Не знаю как вы, я насчитал шесть толчков. Поронайск – это совсем рядом от нас. Надеюсь, вы понимаете, что без крайней нужды они бы не стали применять ядерное оружие?

– Ты думаешь, это... – Артем обернулся на Человека.

Комбинезон у Артема сдвинулся, и я увидела синюю борозду, идущую у него поперек горла – кажется, недавно Артема пытались задушить.

– Я думаю, – сказал Чек. – Я не думаю, я уверен! Поверьте мне, молодые люди, я прекрасно знаю япошек. Они бы не стали бомбить, если бы не было реальной угрозы. А реальная угроза одна. И это не бунт в «Трех братьях».

– МОБ, – сказал Артем.

Он добавил газу и сдвинул квадрат метра на три, дальше толпа не дала. Скорее всего, оползень. Оползень из китайцев. Опять китайцы.

– МОБ, – подтвердил Чек. – Если на самом деле пролив пересох, то он мог прорваться на остров. Тогда...

Чек поморщился.

– Поэтому лучше нам успеть в Невельск, – сказал он. – А еще лучше добраться до Крильона. Должны успеть. Думаю, ночью они выжигали между Поронайском и Южным санитарную полосу. Это на некоторое время остановит распространение, этого времени хватит, чтобы эвакуировать всех своих. Во всяком случае, большую часть.

– А потом? – поинтересовалась я.

Чек засмеялся. И снова поразительно счастливо. Я спросила, почему он смеется. Чек ответил:

– Всегда хотел так умереть. Летом, чтобы в тепле, чтобы солнце. Чтобы вокруг молодые. Чтобы было ясно, зачем.

– Вам ясно – зачем?

Чек кивнул:

– Да, ясно. В последнее время у меня просветления, знаете ли... Просветления. И на душе светло-светло. Все будет хорошо, правда, Ерш?

Ерш сидел за Человеком. Ему не нравилось ездить, и он привязал себя к сиденью веревкой, а может, он сделал это для того, чтобы его снова не украли. Хотя я и позаботилась о том, чтобы скрыть его волосы под шапкой, а глаза за темными очками.

Ерш. Я к нему уже привыкла, хотя сама не знаю почему. Он не изменился. Только стоит или лежит, ест мало, пьет мало, на человека не похож. Но с нами. Почему-то мы не можем его бросить.

Чек смотрел по сторонам и рассказывал о том, как тут было раньше – он каждый год приезжал сюда с материка на рыбалку. Какие ягоды спели здесь в распадках между сопками, как глухи и дремучи были леса; когда-то в середине двадцатого века уходящие с острова японцы сожгли почти все, но леса высадили вновь, и выросли они на славу, и получились глухи, в них скучали сами медведи и от тоски выходили к дороге и, лежа над ней,

наблюдали за проезжающими машинами. Про заветные поляны в лесу. Про жизнь.

– Все будет хорошо, – смеялся Чек. – Жизнь качнется в нужную сторону, вот увидите. Сирень, а вы знаете стихи?

– Знаю, – ответила я.

– Нет, на русском? Прочтите что-нибудь.

Я начала читать, но Человек меня тут же остановил, заявив, что я не умею читать, что я читаю, как пономарь, а надо вот так!

Он откинул брезентовую крышу квадра и стал читать стихи, с задором, размахивая рукой и брызжа слюной, как, наверное, читали эти стихи их молодые голодные авторы в стране, которой больше никогда не будет, от которой осталась лишь память, от которой остались мои голубые глаза.

Стихи он читал превосходно.

Человек читал злые, веселые стихи, искренне щелкал обломанными зубами, тряс остатками седой гривы, грозил кулаком то китайцам, а то и небу, которое здесь висело особенно близко. Так хорошо читал стихи только один человек, Сиро Синкай, на зимней заснеженной улице, давно. Я его убила.

Артем усмехался, а я слушала.

Чек скоро выдохся, и стихи кончились. Мы переехали старый мост над полувысохшей рекой, дорога свернула к горам. Или к слишком крутым сопкам... Нет, наверное, все-таки к горам, вокруг которых завелись фанзы, сараи и хижины самого разного вида, правда, не в таком количестве, как в Южном.

– Это Огоньки, – сказал Чек. – Прекрасный был поселок до Войны, чудесный, мы сюда с ребятами ездили. Знаете, здесь удивительная почва, на ней рос виноград, росли арбузы. Благодатное место, райский уголок. Вон там... – Чек указал пальцем. – Да-да, вон там, правее, гора Влюбленных, фантастическое место, такой воздух, такие травы! Здесь тек прекрасный ручей, а где он впадал в реку – водопад. Я помню. Мы сидели вон там, рядом с водой, и слушали ее звук. Вы когда-нибудь слышали водопад?

– Да, – сказала я. – В Японии.

– Там другие водопады, – отмахнулся Чек. – Они совсем не те, они неправильные. Эх, видели бы вы эти места! А сейчас...

Да, если здесь и было раньше райское местечко, то сейчас от него не осталось и тени. Горы, некогда зеленевшие лесом, стояли голы и черны, лес давно выгорел, а тот, что недовыгорел, пустили на жилища, отчего они походили на куски угля. В этих странных домах, правда, кажется, не

осталось прежних жителей, теперь дома стояли пустые и потихоньку разбирались на дрова.

Появились китайцы, пожалуй, несколько тысяч, они молча шагали в сторону Ловецкого перевала, не замечая нас.

Огоньки. Девочка, моя милая девочка, за райскими воротами давно уже распотрошили последнего единорога, ты же знаешь.

Артем сказал, что двигатель начал потеть маслом и перед подъемом на сам перевал его необходимо хоть немного охладить. Он сдал обороты и вырулил к бетонному каркасу разрушенного еще во время войны двухэтажного здания. Мы остановились. Артем сказал, что следует перекусить, потому что подъем предстоит долгий. Перекусить все были не против, а мне, наоборот, есть не хотелось. Огоньки.

Сквер и памятник. Сквер давно вытоптали, кроме того, он зарос невысокой колючей дрянью, мелким выродившимся кустарником, шипастым, с красными цветочками, а памятник устоял, но сделался безобразным, его объели кислотные дожди и выщербил ветры, и теперь в нем с трудом угадывался человек.

Я приблизилась к памятнику и довольно долго смотрела на него, пытаюсь в размытых линиях увидеть черты лица, понять, кем он был. Скорее всего, старинный герой, отмеченный бронзой за подвиги. Разрушенное здание являлось школой или чем-то подобным, прошлые дети смотрели на памятник и брали с него пример. Возможно, космонавт, или выдающийся деятель здравоохранения, или геолог... Вдруг представилось, что это местный футуролог, Кассандр Амадей Лето. Ему поставили памятник еще при жизни, но время обошло с ним сурово, не сохранив ни имени, ни лица, ни его предсказаний, и лишь будущее, равнодушное и неприступное, сохранит в себе память о нем. Странно, что памятник уцелел. Что его не распилили, не повалили ради каких-то непонятных целей.

Человек и Ерш ели, Артем возился с квадром, а я знала, что будет дальше.

Двигатель не завелся. Артем долго дергал пускач и пытался растолкать квадр с хода, однако ничего не получилось; Артем полез в мотор и скоро нашел причину – отставший контакт генератора, всю дорогу в гору аккумулятор не заряжался, и теперь оживить машину не представлялось возможным. Артем некоторое время сосредоточенно пинал колесо квадра, потом успокоился.

Дальше мы шли пешком.

Ловецкий перевал, соединявший центральную часть острова с его

южной оконечностью, выглядел мертво. Леса, некогда в изобилии зеленевшие здесь, пришли в негодность и высохли, так что основной цвет местности стал красно-ржавый и черный от множества подпалин. Артем рассказал, что раньше на перевале селились китайские общины, занимавшиеся заготовкой топлива. Рубка леса на Сахалине запрещена; некоторые квоты имеют лесозаготовительные компании, состоящие из бывших каторжников, впрочем, квоты эти невелики и едва-едва покрывают потребность в строительных материалах, добывать же лес в качестве источника дров нельзя вовсе. Зимы же на острове случаются если и не лютые, то вполне прохладные; отапливаться покупаемым углем может лишь состоятельный островитянин, большинство находит другие способы.

В условиях нехватки топлива расцвела заготовка хвороста и сухопада, поскольку отмершие ветки и упавшие деревья собирать разрешалось; артели, которые занимались этим промыслом, базировались в окрестностях Южного. Едва наступала весна и сходил снег, группы собирателей направлялись в леса, сохранившиеся в районе. Они добывали валежник и сухопад, сортировали, разделявали, прессовали и вывозили на склады возле города; кроме того, использовалась сухая хвоя, шишки, мох, торф – артельщики выгребали все, что могло гореть, – именно эти склады мы видели недавно в Южном.

В оставленных нами Огоньках долгое время располагался лесной пост, занимавшийся надзором за просторами и контролем за добычей топлива, однако со временем средств на содержание этого поста стали выделять все меньше и меньше, и в итоге его ликвидировали; в отсутствие контроля начались многочисленные злоупотребления, а потом и злодеяния. Артели, которым удалось объединить мощности, занялись планомерным уничтожением оставшихся лесных массивов. Технология этого процесса, по словам Артема, была предельно проста: лесозаготовители бурили вокруг выбранного дерева шурфы и закачивали в них соленую воду, которую брали в море. При наличии малоограниченных людских ресурсов большое количество морской воды доставить до цели сложностей не представляло – от побережья в глубь острова пролегли тайные соляные тропы, по которым доставлялась в канистрах вода. Артем рассказал, что сам участвовал в некоторых облавах и засадах, установленных на водяных тропах, впрочем, при такой протяженности береговой линии контролировать все не удавалось. И очень скоро лес начал гибнуть в массовом порядке, и это можно вполне наблюдать здесь, на Ловецком перевале, который похож на шкуру леопарда. Природное равновесие было нарушено, леса страдали от пожаров и засух, зеленый цвет здесь встречался редко.

– Царство теней, – усмехнулся Чек и указал пальцем вверх: – Я видел, как они смотрят на нас. Девочка, моя милая девочка, я тебе говорил...

За райскими воротами красные волки давно разорвали последнего единорога.

Ерш шагал медленно, и Чек шагал медленно, и я медленно, Артем уходил далеко вперед, оценить обстановку, и возвращался или дожидался у обочины. Китайцы при виде него переходили на другую сторону.

Чек рассказывал. Сначала я не понимала и не слушала, но Чек продолжал рассказывать.

Он родился ранним утром в час Дракона, в день Дракона, в год Дракона. Чек помнил, тогда еще он вел календарь и видел в этом смысл, его завораживали цифры, Человеку нравилось, что каждый день учтен и вписан.

Чек забыл, как звали его мать, она умерла, когда тому едва исполнилось три месяца. Его кормилицей стала кореянка без имени, потерявшая своих детей. Она привязалась к мальчишке.

Когда ему исполнилось восемь, он и его кормилица собирали на склоне горы кислицу. Кислица росла вдоль ручейка, берущего начало в источнике. Они набрали по две корзины и, утомившись, решили отдохнуть. Он уснул на траве у воды, а его кормилица остужала в ручье ноги, распухшие от усталости. Проходящий мимо свободный поселенец из каторжан решил напиться и, опустившись на колени, стал зачерпывать из ручья воду. Вдоволь напился, но тут его угораздило посмотреть вверх, и он увидел кореянку, которая погрузила ноги в ручей, в воду, которую он пил.

Каторжанин пришел в ярость, задушил кормилицу веревкой от вещевого мешка и сбросил ее под гору. После этого он заметил спящего в траве мальчишку, убил и его, разбив ему голову тяжелым плоским камнем и сломав позвоночник. Мальчишку каторжный не стал сбрасывать вниз, повинувшись внезапному и необъяснимому порыву, он уложил тело между валунами и составил над ним невысокий каменный холм.

Мальчик выжил каким-то непостижимым образом. Чек искал их сутки, обходя гору по спирали сверху вниз, и к вечеру нашел у подножия место, куда упала кормилица – кровь и поломанные ветки. Само тело исчезло, скорее всего, его утащили ханы. Тела ребенка Чек тоже не нашел. Он вернулся наверх, на гору, а на следующее утро приполз он. Его голова была разбита, ноги отнялись, но некоторым чудом он оставался жив, хотя не мог говорить и почти ослеп.

– Но это прошло, – говорил Чек. – Голова зажила, кости срослись, а позвоночник вытянулся. Вернулось зрение, и он снова стал ходить. Не

сразу, конечно, с костылем, с палкой. У нас дома висел мой старый багор, он ходил с ним. Ты заметила? Эту штуку с камнями? Это впечатляет...

Он мог поставить багор на тыльник, и багор не падал. Он легко находил равновесие, составляя пирамиду из двух стульев. Его было сложно сбить с ног, он был словно приклеен к земле, даже землетрясения не могли его поколебать. Он почти никогда не поскользнулся и почти никогда не падал. Человеку казалось порой, что центр тяжести у этого мальчишки находится где-то в пятках.

Еще когда он лежал у стены с переломанной спиной, Чек притащил с реки ведро гладких круглых камней и высыпал их под матрас из водорослей, чтобы оставалось меньше пролежней. Когда Чек вернулся вечером, он обнаружил столб, построенный из окатышей. Все камни, принесенные Человеком. Столб уходил под потолок.

Через полгода он смог подняться на ноги. Он взял багор, приспособил к нему рожон и ходил как с костылем. Тогда Чек начал его учить.

– Он был чудесным учеником, – говорил Человек. – Он и сейчас лучший, думаю, ты заметила. Он выведет нас отсюда. Знаешь, у меня имеются некоторые сбережения и некоторая недвижимость. Не здесь, разумеется, там... – Чек махнул в сторону юга. – Я прожил жизнь не зря, я тропил тропы. Главное – выйти в море. В Невельске у меня был старый знакомый, как и я, Прикованный к тачке, он торговал морскими червями... Он поможет нам выйти в море...

Чек рассказывал, как легко на Невельском рейде подкупить каботажного офицера, на любом судне легко и за незначительную сумму. Переберемся через Лаперуза, заживем. Человек спрашивал, достаточным ли влиянием обладают мои родственники и знакомые. Несомненно, достаточным, добиться пропуска на Остров без такого влияния невозможно.

– Непонятно, однако, как батюшка отпустил вас сюда, – щурился Чек. – Он безрассудный человек, воистину безрассудный...

Я отвечала, что батюшка был против, но надо учитывать тот факт, что я самостоятельный человек – это раз, и что я отправлялась на остров задолго до землетрясения и всех этих беспорядков. Кроме того, я ехала на остров под эгидой Академии наук и долго училась стрелять.

– Вы – чудесная девушка, – Человек смеялся. – Чудесная. И умеете стрелять. Вы прямо как из романов. У вас была собака? Я могу много рассказать об этих восхитительных тварях...

Дорога бесконечно тянулась вверх, вокруг возвышались настоящие горы, а никакие не сопки. Землетрясение не задело дорогу через перевал, и

я отмечала остатки еще довоенного дорожного устройства – проржавевшие отбойники и бетонные блоки с сохранившейся кое-где краской. Было видно, что дорога поддерживалась в рабочем состоянии, что по ней возили военные грузы из Корсакова в Невельск и дальше, на Крильон, туда, к катерным базам, прикрывающим южную часть острова.

– Некоторые рекомендуют непременно выдерживать ее несколько дней, чтобы шкура отходила равномерно...

К полудню Чек начал выдыхаться, и мы часто останавливались и ждали, пока он восстановится. Отдыхая, Человек играл с Ершом в «камень-ножницы-бумагу» и всегда выигрывал.

Артем уходил на разведку, возвращался, говорил, что впереди спокойно, и ждал вместе с нами. Чек отдыхал все дольше и дольше, дышал с трудом, вываливая язык, а потом пряча его обратно в рот руками. Ерш молчал. Артем молчал и хмурился.

К полудню я потерялась в подъемах и спусках. Чек сказал, что от Огоньков до Невельска пятьдесят километров подъемов, спусков, снова подъемов, серпантинных. Перевал не был единым горным хребтом, дорога огибала все встречные горы, и когда уже казалось, что мы должны начать спуск, показывалась еще одна гора, на которую требовалось взбираться.

Мимо нас не проехала ни одна машина.

К вечеру вымотались. Чек, Ерш и Артем особенно, хотя Артем и держался. Иногда Чек падал и лежал в пыли. Я предлагала Артему остановить несколько китайцев и заставить их тащить Человека на носилках, но Артем говорил, что не стоит. Лучше бы убраться с дороги, так безопаснее, к сожалению, перевал вне дорог труднопроходим, по тропам и ручьям путь займет дней десять, если не больше. Так что дорога. На дороге опасно, чем выше, тем напряженнее становился Артем, и молчаливее становился Чек, он все хрипел и смеялся.

Когда стемнело, остановились, вползли в гору, но не до верха, отыскивали площадку над дорогой, с краю от осыпи, между ручейком из белых окатышей и сухими кустами. Удобная позиция, сверху никто не полезет, снизу бесшумно не подняться, съедешь по камням. Удачное место, год можно просидеть. И китайцев вокруг не оказалось – часть отстала, часть, напротив, ушла вперед, мы остались одни под звездами. Снова пылало небо на севере и белело на юге, восток вспыхивал молниями, а на западе была тьма.

Артем наломал веток и зажег костер, мы сидели вокруг и, хотя сильно устали, никак не могли заснуть, ни я, ни Чек, ни Ерш, я видела, как блестят его глаза. Кустарник горел хорошо, немного трескуче, брызгая по сторонам

крупными малиновыми искрами, Чек вытянул ноги к огню, стянул ботинки и шипел, когда искры садились на пальцы. Но ног не убирал.

– Ты знаешь, что между небом и землей натянуты канаты? – спросил Чек.

– Да, что-то слышала. Нити Хогбена, если не ошибаюсь. Их открыли еще до Войны.

– За две недели до первого удара, – уточнил Чек. – Я помню, я был там, на Русском, там чудесные подземелья...

Искры не гасли.

– Разумеется, существование Нитей теоретически предсказывали и раньше, но на практике... С практикой мы поспешили, это да. Первую установку построили буквально за месяц до войны, торопились очень. Предполагалось, что освоение технологии создаст почву для качественного технологического рывка. Никто не мог представить, чем это закончится на самом деле... Мы очень поспешили, но нам извинительно, мы были захвачены возможностями...

Искры.

– Бесконечная энергия, мгновенные перемещения, новые вычислительные машины, искусственный интеллект. Мы верили, что не пройдет и пары лет, как звезды лягут к нашим ногам. Мы уже видели схемы пространственного двигателя, способного идти вдоль Нитей, скользить по радужному мосту, цепляться за белые волосы. Это было делом нескольких лет...

Чек погрузил свои руки в тонкую землю, шевелил ими, как бы пытаясь что-то там нащупать.

– Древние считали, что небо держали Атланты. – Чек достал руки, отряхнул их и указал пальцем на всходившее над горой облако. – Но они ошибались. Они серьезно ошибались, все вовсе не так. Не небо лежит на земле, но наоборот! Это земля подвешена к небосводу! Ты понимаешь?! Она висит над бездной на невидимых Нитях!

Чек принялся искать вокруг руками, словно пытаясь нащупать эти самые нити, но ничего не нащупывалось, Человек ругался, клял куриную слепоту, недостаток витаминов и древних греков, которые тоже знали про Нити.

– ... но не смогли рассказать! Самое важное, что открылось человечеству, они заболтали баснями про мудрых кентавров и кривоногих фавнов! Про всех этих вонючих семиглавых пиявок и паршивых клыкастых боровах! А ведь могли, ведь были близки. Струны души, музыка сфер... А на чем боги эту музыку играют?!

И тут же ответил:

– Да-да, небесные арфы! Боги по понедельникам бренчат по ним от скуки, а все говорят, красное смещение, красное смещение... Вот вы знаете, почему многие собаки любят повить? Они слышат. Не все, есть собаки более одаренные, есть менее, но те, которые одаренные, слышат. Планеты катятся с волшебными песнями, звезды говорят друг с другом...

– В космосе вакуум, – перебила я.

– Это не так! – возразил Чек. – Там отнюдь не вакуум, там есть молекулы. Но их слишком мало, поэтому и звук получается очень тонкий, только собаки и слышат. Собаки – удивительные звери, они сильно чувствуют. Вот я когда-то знал одну собаку, так она перед землетрясением выла, вы представляете?

Я хотела сказать, что собака, скорее всего, ощущала микровибрацию, но вспомнила, что Артем предупреждал – о собаках с Человеком не заговаривать, у него по поводу собак какое-то свое расстройство, поэтому я промолчала.

– Но даже когда она не выла, она все время смотрела в небо, что неудивительно – все сущее так или иначе стремится вверх. Кроме ветра, тот всегда вниз.

Искра его припекла все-таки, Чек принялся дрыгать пальцами ноги, стараясь стряхнуть огонек, и получилось.

– Любое существование есть борьба с гравитацией, жизнь есть борьба с гравитацией, первый признак того, что человек умер, – это трупные пятна. Вы знаете, отчего они происходят?

Я знала в общих чертах благодаря университетскому курсу анатомии. Ерш закрыл глаза.

– Кровь скапливается под кожей, – сказала я.

Я плотнее закуталась в свой макинтош.

– Правильно, – улыбнулся Чек. – Кровь умирает, больше не может противиться силе тяжести и стекает вниз. Смерть – это нисхождение, жизнь – это взлет. Всё стремится вверх, вверх... Жизнь, она как лоза, понимаете? Жизнь чувствует кровь и стремится вдоль Нитей в небо. Деревья и трава тянутся ввысь, люди строят лестницы, пирамиды, церкви и башни и нитяные двигатели... Вверх, только вверх, только к звездам, только так!

Чек заволновался и закашлял. Искры погасли.

– Мы не знаем, что сейчас происходит. – Чек сплюнул. – Нам кажется, что это конец! Но это начало! Колыбель! Мир пал, чтобы возродиться из пепла! Атомный огонь выжиг скверну...

– Мне кажется, что скверны стало больше, – возразила я. – Гораздо

больше.

Чек пожал плечами, а у меня немного заболела голова, скорее всего от воздуха, которого здесь действительно было слишком много, от усталости.

– Это вам так кажется, – сказал он. – Сейчас скверна не рядится в светлые тоги добродетели, не стесняется, ее лица грубы и привычны, и нет Лота...

Чек закашлялся.

– Я достаточно стар, – сказал он. – Это странно, вам не кажется?

Я согласно кивнула. Это действительно странно, особенно здесь, в земле, где старикам не место. А ему... Если он застал Войну молодым...

– Странно, – повторил Чек. – Причем... в молодости я был очень больным человеком.

Чек усмехнулся.

– У меня диагностировали порок сердца, – сказал он. – А еще диабет. Даже в те времена с такими диагнозами никто не заживался, и я никогда не мог подумать, что доживу хотя бы до сорока. Но когда началась Война, меня призвали, тогда всех призывали, хромым, одноглазым... Не знаю, что случилось. Я вошел в Войну полукалекой, настоящей развалиной, а вышел из нее абсолютно здоровым человеком. И как это объяснить...

– Возможно, стресс, – предположила я. – Организм мобилизовал ресурсы, болезни отступили, я слышала про такое...

– Возможно, – согласился Чек. – Все возможно. Но меня всегда занимал этот дикий парадокс, знаете ли... Если бы не Война, я был бы уже мертв. А так я просто очень стар, очень стар. И я помню. Я помню, как выцветал и становился на колени этот мир. Год за годом. И началось это задолго до Корейского кризиса. Я помню...

Чек поглядел на свои руки с удивлением, точно никогда их не видел, а я вспомнила, что со мной иногда случается такое же – смотришь на руки и словно не узнаешь их, чужими кажутся.

– Я помню, как мелели реки, как из них уходила рыба, как небо теряло свой цвет, а пища вкус. Вы не представляете, какой раньше был на вкус самый заурядный помидор! Мир одряхлел, с него слезла кожа... Кровь, живая и веселая, превратилась в закисшую брагу... Знаете, Сирень, последние предвоенные годы были ужасны, и многие это понимали. Все разваливалось. Деревья замедляли рост, земля не давала всходов. Люди теряли веру. В себя, в Бога, в смысл и предназначение. Я видел, как исчезали и осмеивались герои, как мир заполнялся трусами, ворьем и тараканами. Мир заплесневел, и ему требовалось очищение. Пройдет немного лет, и люди поставят золотой памятник Оппенгеймеру, давшему

человечеству меч!

Чек закрыл глаза, открыл.

– Нити Хогбена... это открытие... вы понимаете, оно было несовместимо с существовавшим миром, оно опережало его на столетия! Вторжение будущего, вы же футуролог, вы должны понимать. Схема проста и гениальна, ее удалось бы легко реализовать и на довоенном уровне техники... Собственно, мы смонтировали прототип, и если...

Чек потер виски, потом, морщась, собрал на висках кожу и немного постягивал ее по и против часовой стрелки. И вдруг рассмеялся:

– Вы понимаете, что случилось бы, если бы удалось построить действующий генератор Х-поля и зацепиться за Нить? Если бы эти скоты схлестнулись не жалкими баллистическими ракетами, а Нитями?! Нет! Атомная война стала величайшим благом человечества хотя бы в силу того, что благодаря ей это человечество смогло хоть как-то выжить. Да, мы погрузились во тьму, но это другая тьма! Живая тьма, тьма в ожидании света! Мы находимся в точке ноль, вот-вот вспыхнет сверхновая...

Чек щелкнул пальцами.

– А теперь... – Он поглядел на меня совершенно серьезно. – Теперь я расскажу вам о будущем.

Невельск

Я открыла глаза и увидела море.

Мы сидели на вершине сопки. Внизу, въедаясь в середину холма, лежала пыльная дорога, по которой брели китайцы, они спускались с Ловецкого перевала и шагали, шагали, не похожие на людей, словно разом пришла в движение доселе мертвая часть природы, бессловесная, неудержимая, она вдруг устремилась в своем направлении, и ничто не могло ее остановить. И теперь долина, ведущая к морю, была залита китайцами. Тысячами китайцев.

Дорога полого спускалась вниз, сопки расступались, открывая вдали воду и висящие над ней белые облака. Чудесный день. Теплый. Ясный. Море синело мирно и прозрачно, оно грелось на солнце и знать не хотело про все, что происходило на суше. Красиво. В очередной раз я увидела, насколько здесь красиво; пожалуй, выход с Ловецкого перевала был одним из самых красивых мест, что я видела. И цвет моря. Настоящая лазурь; мне показалось, что она выбирается на дорогу сияющим лоскутом.

Остальные тоже не спали. Артем развел огонь и варил кашу в жестяном котелке, Чек беззаботно лежал на спине и рассуждал о разном, о какой-то ерунде преимущественно, которая, как ему казалось, имела значение: о птицах и о том, что смерть птиц – это плохо, но не критично, если бы погибли насекомые, тогда мир уже не просто споткнулся, но покатился бы под гору, а без птиц жить странно, но можно.

– Почему пали птицы? – размышлял Чек, размахивая рукой. – Почему не летают самолеты? Почему электроника работает с перебоями? Вероятно, здесь целый комплекс естественных причин – пыль в воздухе, смещение магнитных полюсов, атмосферное электричество, маленькие зубастые бесенята пролезают в турбины, да, да, я верю! – выкрикнул Человек. Ерш вздрогнул, втянул голову в плечи, вывернул из карманов куртки несколько камней.

Чек продолжил:

– Но это в то же время и символический жест, лишь дурак не поймет этого! Это же знак! У нас обрезали крылья, вы понимаете, Сирень?!

– А как же ракеты? – спросила я.

– Ракеты не крылья, ракеты – меч! – тут же возразил Чек. – Крылья – это другое! Впрочем, неудивительно, таким, как мы, надо обрезать периодически крылья, поскольку крылья – это большая ответственность...

Вы любите собак?

– Что? – не поняла я.

Опять.

– Собак? Вот, допустим, я. Я всегда не любил собак, знаете, когда я сидел в лагере под Шахтерском, нас охраняли овчарками и меня пару раз сильно рвали... Такие здоровенные твари, разожратые, как танки, а у нас один мужик был, он в них знал толк. Вот однажды он связал петлю из медной проволоки и подманил одну горелой крысой, но она хитрая, в последний момент отпрыгнула. Жирная такая, как бочка. А я тоже, кстати, петлю придумал, но не из проволоки, а из шнура...

И так далее.

Я постаралась не посмотреть на Чека, когда он рассказывал про собаку, боялась то ли засмеяться, то ли сделать неподобающее лицо. Он мне нравился, я не хотела его обижать.

– В Японии много собак? – спросил Чек. – Там они еще сохранились?

– Есть, но немного.

– Да, это хорошо, это добрый знак. А птицы? В Японии они еще остались?

– Нет, насколько я знаю.

– Птицы пали, воздух не держит...

– Но вертолеты-то летают, – напомнила я.

– Вот именно!

Человек подпрыгнул, одновременно не переставая лежать.

– Вот именно, – повторил он. – Вертолеты летают. И мухи летают. И кое-где комары. Летают... Вы понимаете? И ракеты! Понимаю, вы считаете это кухонной философией, я с вами отчасти согласен... Но разницы между кухонной философией и обычной не так уж много, поверьте, я человек с историей, я знаю... Вы пробудили во мне странные чувства, Сирень, я уже стал забывать, а тут вы... Нет, я бы решительно подарил вам собачью шапку! А унты?! Вы знаете, как чудесно иметь зимой унты?

Артем закашлялся, но Чек не обратил внимания, ему хотелось рассказывать, лежа на спине и размахивая руками, преимущественно левой. Артем же проверял багор, точно в нем могло что-то сломаться.

– Эсхатология всегда стремилась рассматривать конец света как нечто завершенное, четко определенное в своих границах. Взойдет звезда Полярная, восстанут мертвые на живых, и воды станут горькими и все дальше по порядку...

Чек разговаривал не со мной, а с воздухом. С синевой.

– Но конец света – это не механизм, где движение одной шестеренки

порождает обязательное движение другой, конец света – это сложный, преимущественно нелинейный процесс. В нем гораздо больше диалектики, чем кажется на первый взгляд. Собственно, это лишь доведенный до своей крайности принцип качественного перехода, конец одного света означает лишь начало другого, за апокалипсисом следует постапокалипсис.

Чек вспомнил обо мне, посмотрел и сообщил:

– Знаете, к концу света всегда подходили с неправильных методологических позиций. Его пытались оценить извне, снаружи, так сказать, отстраненно, разумом. Поскольку никто, кто писал об апокалипсисе, никогда в нем не жил, разумеется, я не беру в расчет разновидности окаянных дней, которым несть числа в каждой эпохе. Я же проснулся в Армагеддоне, я видел все своими глазами. Господи, да я стоял практически у его истоков...

Чек улыбнулся. Вполне оптимистически.

– Апокалипсис мне друг, я его чувствую, мы с ним росли на соседних улицах... Конец света возможен для меня, возможен для вас, Сирень. Для них... – Человек указал на Артема и на Ерша, – для них никакого конца света нет. Для них это реальность, данная в ощущениях. Насколько безумен мир, в котором ударный миноносец сил самообороны носит имя «Энола Гэй»! В этом, именно в этом прекрасное безумие наших дней!

Ерш нас, разумеется, не слушал, строил пирамиду. Каменный столб. Каирн. Артем научил. Ерш брал камни обеими руками, сжимая их беспальными ладонями и аккуратно устанавливая друг на друга. Дальше третьего камня дело не продвигалось, пирамидка обваливалась, но Ерш с упорством брался за дело снова и снова.

– Будущее всегда реализуется посредством качественного скачка, – продолжал Чек. – Эволюция, как бы за нее ни цеплялись, – это тупик, ловушка. Человечество это знало. То есть ощущало. Разумеется, на уровне коллективного бессознательного. Мы рождены не к пользе, но к полету. Наш вид создан для экспансии, вне экспансии он не может существовать, это бессмысленно отрицать. Двадцать первый век положил предел экспансии в ближний космос, человечество ощутило тупик, мы оказались заперты внутри гелиосферы. И человек ответил войной. А что делать? Надо было расчистить плацдарм для броски, надо было оправдать свое предназначение...

– Это вы о чем? – первый раз поинтересовалась я.

– А вы не знаете?! – оживился Чек.

– Не знаю, – сказала я.

Совершенно искренне.

– Все дело в царствии, разумеется, небесном.

– Что?

– А как же? Царствие небесное.

И собаки. Как же. Стал тяжек мне мой макинтош. И жарко в нем. И тысяча лет минула, а все так же и все то же. Милая девочка. Единорог.

– Я сейчас объясню, – усмехнулся Чек. – Господь создал Вселенную с миллионами галактик, миллиардами звезд и несчетным количеством планет. Мироздание населяют сонмы существ, в глазах которых светится надежда и разум. Господь создал Вселенную и покинул ее, он где-то...

Чек показал в небо.

– Где-то там. Сидит на своем сияющем алмазном троне на планете Вечность и ждет, ему не занимать терпения.

– Чего же он ждет?

– Нас. Или их. Зеленых пауков с каких-нибудь там Центавров, рыжемордых псоглавцев. Или разумную плесень. Первых вернувшихся, – совершенно спокойно ответил Человек. – Кто первым доберется до Него, тот и наследует Царствие Небесное. Это великая гонка, и мы созданы для этой гонки, впрочем, как и все... Что-то я сбился... Артем, скоро ли каша?

Каша была готова. У Ерша снова упала пирамида. Мы стали есть. Ерш, как ни странно, едой не заинтересовался, продолжил строить. После каши мы спустились с горы. Дорога была уже заполнена китайцами, спешившими к югу, мы шагали, держась от них в стороне, китайцы на нас тоже не особо смотрели, брели, казалось, погруженные в одну на всех думу.

Возможно, из-за утра, возможно, из-за каши, из-за солнца, из-за воздуха, поднимающегося с моря, шагать получалось легко. Мы быстро спустились с горы, преодолели несколько невысоких сопок и вышли на дорогу, спускающуюся к морю. Чек тут же объявил, что мы добрались, осталось недолго.

– Если будет достаточно тихо, мы можем услышать сивучей, их много.

Мы стали шагать быстрее, и Чек, и Ерш старались, словно у них не имелось проблем с ногами и они всю жизнь мечтали услышать сивучей. Артем теперь не удалялся от нас, шагал чуть справа и впереди.

Сейчас бы весьма пригодился квадр или хотя бы телега, покатались бы.

Внезапно заговорил Артем, до этого молчавший. Он говорил, не оборачиваясь, но все равно я слышала. Рассказал, что эта небольшая долина, ведущая от перевала к морю, раньше была прекрасна. Артем не застал то время, но он видел альбом. Сопки зеленели, и с них текли ручьи, в раскинувшейся до моря растительности зрел виноград, в аккуратных

домиках жили люди, солнце с утра заглядывало в долину, как оно смотрело в нее и сейчас, хорошее, мягкое, еще не разозлившееся к полудню солнце. Здесь росли цветы, самые красивые на острове. Здесь собирался мед, черный, солоноватый и горький. Здесь, в узких и светлых распадках, цвели сон-трава и маньчжурские яблони, а в глубине между сопками искрились целебные родники.

Ничего не осталось. Сейчас здесь только ржавчина и уголь, и пыль, и прах с пустотой.

Через час дорога повернула влево, и мы увидели город, весьма заметно отличавшийся от всех городов, которые я видела на Сахалине до этого. Прежде всего красками. В остальных городах Карафутто главными цветами являлись серый и желтый, здесь же строители не поскупились: аккуратные двухэтажные дома, выглядевшие вполне себе новенькими, были выкрашены разноцветными красками: синими, белыми, оранжевыми, что напомнило мне архитектуру наших пригородных районов.

– Невельск, – объяснил Артем. – Закрытый город... Был, во всяком случае. Это единственное место на Сахалине, где живут исключительно японцы, ни ханов, ни корейцев сюда не пускают.

Невельск выглядел пустым и покинутым. Он мало пострадал от землетрясения, лишь некоторые дома дали трещины и покосились, но в целом все неплохо сохранилось. Но жителей не было. Китайцы, не задерживаясь, шагали на юг, обтекая вполне еще пригодные дома, в окнах которых оставались стекла. Невельск тянулся вдоль побережья узкой полосой. Дорога к центру, однако, оказалась плотно заполнена беженцами, так что они разлились по всему городу. Сивучей я не слышала.

– Опоздали, – сказал Чек. – Все сбежали.

Но без особого сожаления сказал.

Мы свернули с дороги и теперь стояли у ближнего дома, глядя на текущих китайцев. Их стало больше, они спускались с перевала селевым потоком, точно их выдавливало из-за гор.

Артем и Чек принялись обсуждать дальнейшие действия, мы с Ершом отдыхали. День начался вроде недавно, но я успела устать, остров обмял и меня. Да, я устала, так что и макинтош казался мне тяжел, давил на плечи, тянул к земле. Чек говорил, что надо идти к Крильону. Дорога хорошая, хотя и узкая, пройти можно, и лучше не терять времени. Артем предлагал поискать лодку. Невельск – портовый город, здесь должна найтись лодка. Чек возражал – лодки здесь вряд ли остались: если население покинуло город, то велик шанс, что уходили они морем. Чек и Артем спорили. Ерш держал меня за руку и, кажется, спал.

Китайцы шагали, сосредоточенно и...

Я поняла, что передвижение это изменилось. Теперь китайцы шагали быстро. Гораздо быстрее обычного. Я насторожилась и хотела сказать это Артему, но в этот момент закричал Ерш.

Толпа китайцев на секунду замерла и побежала. То есть вдруг, разом, они кинулись бежать, вокруг нас закипело движение, все пришло в движение. От обилия этого движения вокруг у меня закружилась голова, я прижалась к стене дома сильнее, чтобы не упасть. Китайцы спасались, как зебры от ворвавшегося в их стадо льва.

– Ну, вот и началось, – сказал Чек. – Началось, я же говорил... Я знал, что этим закончится...

Началось, подумала я.

– Опять трупоходы. – Чек плюнул. – Я ожидал этого, и вот оно – опять трупоходы!

На дороге, спускающейся с перевала, возникла паника. Китайцы подпрыгивали, бросались по сторонам, натыкались друг на друга, падали, катились по земле, вскакивали, снова падали, корчась в судорогах. Вцепляясь друг в друга, кричали. Вернее, рычали.

– Это МОБ, – прошептал Артем.

Мобильное бешенство. МОБ.

От инфицирования до необратимого поражения организма порядка трех минут. Вопреки всем законам биологии, физиологии, вирусологии, физики, химии, вопреки всем законам природы. МОБа не может быть, но он есть. Собственно, существует версия, что мобильное бешенство не болезнь, а некая разновидность кар египетских, саранча забытого завета.

Приблизительно через минуту после атаки вирус вызывает острый энцефалит, характеризующийся возникновением галлюцинаций, нарушением речи и резкими беспорядочными движениями. На этой стадии отмечается свето- и водобоязнь, проявления аэрофобии и первые признаки агрессии, направленной на всех, находящихся рядом. Организм отвечает на вторжение вируса мощным мышечным спазмом, что для обычного бешенства характерно лишь на поздних стадиях. Инфицированному неестественно выкручивает конечности, выворачивает шею, выгибает позвоночник, в результате чего примерно пятнадцать процентов зараженных получают повреждения костей и суставов, делающие невозможным их дальнейшее передвижение. Мышцы гортани сжимаются, человек рычит и нередко откусывает себе язык. Лицевые мышцы неконтролируемо сокращаются, что приводит к разрушению зубов, образуется характерная «улыбка дьявола», гримаса, которая не сходит с

лица инфицированного до гибели. Кратковременный паралич приводит к спазму сосудов, что практически сразу вызывает серию микроинсультов, усугубляющих поражение мозга. Резко ухудшается зрение, по сути, оно становится периферическим, и для того, чтобы держать окружающие объекты в поле восприятия, инфицированный вынужден часто вращать головой – опять же характерный для МОБа «эффект курицы».

На второй стадии спазмы прекращаются, к инфицированному возвращается двигательная способность. При этом происходит опорожнение кишечника, причем, как правило, полное, исторгаются не только каловые массы, но и бактериальная основа, что вызывает специфическое зловоние, сравнимое со зловонием недавно умершего человека – трупный запах, по которому можно определить приближение носителя с достаточного расстояния.

Инфицированный поднимается на ноги и начинает определять угрозу. Причины, по которым формируется устойчивый рефлекс нападения, по-видимому, сходны с причинами агрессивности животных, зараженных классическим бешенством. Это поражение головного мозга, приводящее к избыточной активации защитного механизма, когда любое движение и присутствие вызывает немедленное нападение.

Проведенные опыты показывают, что инфицированные каким-то способом научаются определять других инфицированных, если в первые минуты заражения ярость направлена на любого, кто движется в границах личного пространства, то впоследствии зараженные безошибочно выделяют исключительно здоровых. Предположение, что они ориентируются по запаху, оказалось неверным, выяснить точный механизм идентификации так и не удалось, наблюдения лишь подтвердили, что на поздних стадиях большие скопления инфицированных проявляют зачатки коллективного интеллекта и ведут себя примерно так, как ведет себя пчелиный рой, колония муравьев или колония простейших. Толпа инфицированных в третьей стадии, как правило, движется в одном направлении с небольшой скоростью, причем, несмотря на расстройство зрения, группа определяет присутствие здорового человека на большем расстоянии, нежели единичный инфицированный. При обнаружении здорового человека рой ускоряется.

Впрочем, третья стадия МОБа длится не дольше десяти дней, причем в последние дни из-за голода и обезвоживания зараженные практически не могут передвигаться и погибают от паралича сердечной мышцы.

Случаи каннибализма, о которых с ужасом рассказывают пережившие вспышки МОБа, нельзя отнести к каннибализму как таковому, зараженные

кусают жертву не с целью утолить голод, а, по-видимому, с целью передать вирус следующему носителю, максимально продлить цепочку.

МОБ.

В этом не было никакого сомнения, я видела, как это случается. В кино. А теперь и вживую.

– А я предупреждал, – ухмыльнулся Чек. – Труподоходы вернутся, скверна не до конца выжжена с лица земли, мало было огня! Мало!

Мы стояли у стены, перед нами кружилась человеческая карусель, вокруг мелькали китайцы, крики и рев приближались к нам.

Надо собраться. Не поддаваться панике, несколько секунд есть, за эти несколько секунд надо осмотреться и найти укрытие. Потому что не убежать.

Не убежать.

Хотя. Если я была бы одна, я, наверное, попробовала бы. С Артемом можно попробовать, хотя выносливость у него не очень. Но нам хватило бы.

Мы не одни.

Китайцы бежали. МОБ распространялся. Это было похоже на... Это как высыпать петарды на раскаленный противень – они начнут взрываться, сначала одна, потом другая, потом все чаще и чаще, одна за другой. То тут, то там в толпе возникали схватки, инфицированные набрасывались на новых жертв, валили их с ног, пытались загрызть. Дрыгали ногами. Китайцы бежали.

Молча. Все, что происходило, происходило молча. Топот ног, щелканье челюстей, звуки падающих тел.

Китайцы бежали в разные стороны. На сопки, вдоль берега, к морю. Кто-то потерялся и пытался бежать обратно, назад, навстречу носителям.

А они были все ближе и ближе. Метров сто уже.

Запах, подул ветерок со стороны сопки, и нас накрыло густым смрадом, сладковатой, отвратительной свежей трупной вонью, настолько мерзкой, что можно потерять сознание.

Ерш кричал, я повернулась к нему и зажала рот.

Артем схватил меня и Ерша и поволок прочь, Чек поспевал за нами. Мы обогнули угол и направились в сторону бухты. Дом небольшой, двухэтажный, слегка покосившийся, с бревнами, подпирающими стены. Есть дверь, и окна все целы, здесь много окон не разбито.

Началось.

Сбоку на нас кинулся китаец, Артем встретил его ударом багра в шею, китаец упал, но не остановился, продолжал скрести конечностями и

пытаться добраться до нас.

Носитель.

Артем шагнул к нему, чтобы добить.

– Нет! – рявкнула я. – Бежим!

Артем, кажется, меня не услышал, то ли остолбенел, то ли готовился дать бой, и то и другое плохо, надо привести его в чувство. Я остановилась, выхватила пистолет.

Выстрелила в воздух. Глупо.

Артем обернулся.

– Бежим!

Он очнулся, поймал растерявшегося Человека, которого тянуло в сторону китайцев. Двинулись наперерез несущейся толпы. Расталкивая и раскидывая, стараясь держаться вместе. Я тащила Ерша, Артем – Чека.

До следующего дома оставалось метров пятьдесят, когда на нас набросился второй. Я заметила его издали, и он нас издали выцепил и устремился именно к нам, хотя рядом с ним имелось и множество других китайцев, но он поспешил к нам.

Я выстрелила и попала ему в плечо. Носитель упал, раскинул руки. Поймал за ногу пробегающего китайца и впился ему в лодыжку.

Тридцать метров.

Двое. Бегут за нами.

Двадцать метров.

Успели. Чек и Ерш прижались к стене, Артем пинал дверь. Дверь не поддавалась.

Я развернулась. Четверо, с разных сторон. Быстро.

Шесть выстрелов, три попадания. Трое упали, четвертый смог подобраться почти на десять метров.

Нервы. Нервы. Хладнокровной оставаться не получалось, я заорала и перевела пистолет на автоматический огонь. Очередь. В стороны разлетелись красные ломти.

Артем толкнул дверь плечом, она устояла, раньше делали надежные двери. Я оттолкнула Артема и выпустила в замок очередь.

Развернулась.

Их было много. Наверное, десятки. Может, сотни. Разом. Вот один, и вот уже сотни. Движение вокруг, с разных сторон, движение, паника, лица, внезапно ставшие резиновыми, сломанные зубы...

Показалось, что он упал сверху. Возник передо мной, взмахнул рукой, зацепил сумку. Ремень натянулся на шее, я привалилась спиной к стене. Ремень лопнул. Носитель отшвырнул сумку в толпу. Я выстрелила ему в

лоб.

Артем рванул дверь на себя.

Вторая дверь была деревянная, он выбил ее ногой, не удержал равновесие и проскользнул внутрь дома.

К нам бежали. Я сбила троих. Чек затолкнул в дом Ерша, сам зацепился рукавом за дверную ручку и дергал теперь. Я втокнула Человека внутрь, рукав остался висеть.

Они были близко. Выстрелила еще раз, патроны кончились. Захлопнула дверь, привалилась. В нее тут же ударили, мощно, сильно, раз, два, три.

Артем поднялся на ноги.

Разорвать расстояние. Мы спрятались, исчезли, через секунду инфицированный забудет про нас...

Четвертый удар отбросил меня в сторону. Носители ворвались в гостиную. Я ударилась головой о стену, выронила пистолет.

Внутри их сразу стало много, очень много. Они вваливались и вваливались. А Артем их убивал. Раз. Раз. Раз.

Гостиная плыла передо мной в красноватой пелене. Инфицированные врывались в гостиную и падали, сбитые Артемом. Справа от него стоял комод, я видела, что этим комодом можно задвинуть дверь, но у Артема не было времени – он работал багром.

Ерш спрятался за диваном. Чек пытался его оттуда вытащить. Передо мной стоял инфицированный. Недобитый. Артем срубил его с ног, сбил ему половину лица, но он поднялся. Довольно молодой китаец. С желтыми глазами.

Я вытащила второй пистолет.

Носитель прыгнул.

Я выстрелила.

Носителя отбросило на Человека, оба упали.

Поднялась, заорала:

– На лестницу! На лестницу!

Лестница выходила на галерею, на галерею смотрели три двери.

Рывком выдернула Ерша из-за дивана, поволокла его на лестницу. Чек сбросил с себя мертвого носителя, заорал, брезгливо отряхиваясь от крови.

Артем отбивался. Успешно. Одно движение – один труп. Их много скопилось за порогом, но новые носители все прибывали и прибывали, запинаясь за других, постепенно оттесняя Артема в глубь гостиной.

Я затащила Ерша на второй этаж и заорала:

– Сюда!

Артем стал отступать.

Чек поволок Ерша в одну из комнат.

Я сдвинулась вдоль перил, выбрала место поудобнее, стала стрелять, прикрывая Артема. Артем, продолжая размахивать багром, добрался до лестницы и быстро взбежал по ней.

Носители, наткнувшись, на ступени, замерли. Они стояли, совершая нелепые и бестолковые движения руками, ногами и корпусом, не могли сделать и шага.

Артем ждал их наверху с окровавленным багром наперевес.

– Они не поднимутся, – сказала я. – Они не могут по лестнице.

Носитель, тот, что стоял ближе всего, сделал очередную попытку шагнуть. Он споткнулся на ступеньке и упал. И еще один упал рядом, возникла свалка, снаружи проникали все новые зараженные, уже вся гостиная была заполнена ими, они напирали, постепенно вдавливаясь на лестницу.

А потом они поползли. Перебирая конечностями, как креветки, да, как креветки, много-много креветок огромного размера.

– Держи лестницу! – крикнул Артем.

Сам отправился проверять двери.

Я стала держать лестницу. Я закричала и стала стрелять. В головы, в головы.

Это их немного задержало. Не сильно. Еще живые ползли по мертвым, по мертвым, МОБ – это МОБ, его не остановишь.

Патроны кончились, я выщелкнула магазин и попыталась вставить другой, руки у меня дрожали, и я никак не могла вогнать его на место, ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза, я училась этому специально: поменяй магазин, поменяй магазин, одной рукой поменяй, с закрытыми глазами, зубами, но поменяй. Я меняла. Легко, красиво, быстро, полторы секунды. Но на деле оказалось, что поменять магазин не так просто, особенно когда к тебе рвется перемазанный в крови бешеный живой механизм с взорвавшимися мозгами и с одним желанием – рвать, нет, не так просто.

Магазин не входил.

Носитель схватился за перила и, изгибаясь, выпрямился в полный рост.

Магазин не вошел.

Носитель прыгнул. Он дернулся, и я поняла, что вот сейчас, в эту секунду, я умру.

Но этого не случилось.

Он поскользнулся.

Поскользнулся на предпоследней ступеньке. Неловко взмахнул руками и с размаху впечатался лбом в лестницу. На секунду замер, потом поднялся. Поперек переносицы у него шла толстая борозда, пробившая лоб. Носитель выпрямился и скатился по лестнице.

Магазин встал на место. Артем. Он схватил меня за плечо и выдернул вверх. Мы отступили по галерее, в последнюю комнату, в спальню, куда забежали Чек и Ерш.

Ерша видно не было, Чек стоял у окна, пытался его открыть.

Артем захлопнул дверь. Поднатужившись, завалил ее шкафом. Все.

Чек пытался открыть окно. Дергал за раму.

– Не надо окно, – сказал Артем. – Сквозняк пойдет, лучше нас чуют будут.

Человек дергал и дергал. И вдруг он замер, а потом со всей силы ударил в окно лбом. По стеклу поползли трещинки.

– Хватит! – крикнул Артем.

Чек повернулся.

Артем прыгнул вперед, вогнал Человеку багор в грудь, навалился на древко, толкнул. Чек уперся спиной в стекло, Артем надавил сильнее. Человек схватил багор. Стекло раскололось, Человек вылетел в окно.

– Все, – сказал Артем.

Он быстро оглядел комнату, подошел к кровати, сдвинул ее к шкафу. Ерш лежал на полу. Я стояла у стены. Все.

Артем сел на кровать.

С другой стороны двери доносилась возня, носители ходили по галерее, цеплялись.

Я не знала, что делать дальше. Увидела у себя в руке пистолет. Поставила на предохранитель. Другой пистолет остался в гостиной. Мы остались на втором этаже. Артем убил Человека и потерял багор. Все произошло быстро. Очень быстро, на одном дыхании, вот только мы шли, и вот МОБ, и вот бежим, и стрельба, и носители, и Артем убил Человека.

Он убил Человека.

Он пробил его своим модифицированным багром и вытолкнул в окно.

Что теперь сказать? Что мне ему сказать??

Артем понял это не за секунды, за секунды это поняла я, Артем быстрее. Наверное, когда он вошел в комнату, он уже знал.

Человек заразился. Артем его убил. Такое случается.

Невельск – небольшой городок, вытянувшийся вдоль побережья. До войны тут базировался флот, рыболовные суда, промышленные в

Восточном море и дальше в океане; здесь очень красиво, это видно и сейчас – крутые зеленые сопки, уходящая к горизонту полоса берега, много простора с трех сторон, а с четвертой стена, отгораживающая от остальной земли.

Город на краю.

В хороший день в конце лета или еще лучше осенью, когда воздух прозрачен и синь, отсюда можно увидеть Монерон. Сегодня его было видно, маленькая точка недалеко от горизонта, камень, утонувший в море; мое знакомство с островом началось с Монерона, и вот теперь я, сделав круг, снова здесь. Почти здесь.

Ветер приносил, конечно же, соль, и влагу, и солнце, действительно – отсюда их было слышно – крики сивучей, которые летом собирались на отмели вокруг старинного брекватера. Думаю, поэтому Невельск и выбрали в качестве закрытого города – здесь чисто, зелено и жизнь, она чувствуется здесь, она рядом.

Я смотрела в окно и видела, как пространство между домами заполняется носителями.

Сотнями. Все китайцы, не успевшие вскарабкаться на сопки, не сумевшие оторваться, теперь носители. Вели себя они по-разному. Некоторые стояли, тяжело дыша, исподлобья глядя по сторонам, принюхиваясь, иногда поднимая руки, словно пытаюсь ощупать невидимые контуры, иногда делая несколько шагов в сторону. Другие непрерывно двигались, целеустремленно вышагивая навстречу непонятно чему, натываясь на других носителей и немедленно начиная двигаться в противоположную сторону, а потом опять натываясь на стены домов и снова разворачиваясь. Третьи сидели на земле, держась за голову и натирая виски, иногда эти сидящие поднимались на ноги и тоже шагали. Порой между носителями вспыхивали конфликты, они сталкивались и начинали рвать и кромсать друг друга зубами, впрочем, схватки между инфицированными затухали так же быстро, как и возникали, и зараженные расходились, истекая кровью.

Я вспомнила про предположение, что люди, заражаясь мобильным бешенством, сохраняют некоторые базовые качества своей личности, лежащие почти на уровне физиологии, именно поэтому носители проявляют определенную индивидуальность, некоторые гораздо агрессивнее других, гораздо быстрее или сильнее. Но это никак не мешает толпе проявлять стайные признаки.

Движение носителей не прекращалось, то затихая, то внезапно, точно руководствуясь некими импульсами, оживляясь, то вообще сходя на нет. Я

сидела на подоконнике, наблюдая и отмечая детали, которые в книгах и фильмах про МОБ не освещались. Порой инфицированные замирали разом и некоторое время стояли, глядя в одну сторону и наклонив голову набок; порой они внезапно объединялись, то есть сходились в одно место, как бы группируясь и опять замирая. Стая пульсировала, собираясь в кулак, рассыпаясь, снова собираясь, поворачивая головы в одну сторону, и от этого движения у меня кружилась голова, меня тошнило.

Я отошла от окна и села в кресло.

Артем убил Человека, затем проверил дверь – надежно ли задвинута, и, убедившись, что все в порядке, неожиданно лег в кровать, натянул на себя одеяло, завернулся в него и стал спать. Ерш забился в угол, уместился в незначительное пространство между стеной и комодом и тоже стал спать, во всяком случае, закрыл глаза и затих.

Артем спал уже два часа, а я сидела в кресле и смотрела на дверь, сжимая в руке пистолет, вздрагивая от каждого резкого звука. Носители еще некоторое время двигались и шумели, но постепенно замолкли, и стало тихо, казалось, что дом совершенно опустел, что тут только мы и сивучи где-то далеко. В какой-то момент мне захотелось попробовать чуть приоткрыть дверь, чтобы убедиться, но я взяла себя в руки. Потому что они были там, они умеют ждать.

Неприятное чувство – сидеть в комнатке и знать, что они рядом, буквально в трех метрах. Нет, это было безопасно, носители не сообразительны, пусть они нас хоть и слышат, но не видят, а пока не видят, все спокойно.

У меня осталось семнадцать патронов, что в целом неплохо. Неплохо для людей. Против такого количества носителей пистолет совершенно бесполезен, им не страшно, им, наверное, и не больно, безразлично. Тут бы огнемет пригодился, ну, или пулемет на крайний случай, хотя, наверное, тоже бесполезно, всех не выкосить. Тупик.

Артем проснулся.

Он выглядел не очень бодро. Устало. Он встал, подошел к окну и долго смотрел. Потом сказал:

– Это ловушка. Мы не сможем отсюда выбраться.
– Сможем, – возразила я. – Мы сможем отсюда выбраться.
– Это мобильное бешенство, – напомнил Артем. – Если мы высунемся...

– МОБ длится десять дней, – сказала я. – В худшем случае десять дней. Обычно же бешенство выжигает человека гораздо быстрее. Так или иначе, на седьмой день ресурсы организма окончательно истощаются и

зараженный умирает от обезвоживания. Семь дней мы продержимся. У нас остались вода и пшено, к тому же вода наверняка сохранилась в трубах. При желании можно продержаться и две недели...

Артем кивнул. А потом сказал:

– Две недели мы не проживем. И одну. Положение осложнилось, я не думал, что это...

Артем плюнул в окно. Ерш проснулся.

– Что это все случится так быстро. За несколько минут... Я не ожидал...

Артем потер лоб.

– Думаю, что значительная часть побережья заражена. Поэтому у нас есть...

Он на секунду задумался.

– Дня два, наверное. Потом...

Артем почесал шею.

– За два дня нам надо добраться до Крильона.

Он указал пальцем на юг. Я слушала. Ерш возил по полу добытую из шкафа машину без колес. Артем вел себя спокойно, точно ничего не произошло.

– Я когда-то был там, – сказал Артем. – Там база береговых сил, укрепрайон... До него отсюда километров восемьдесят. Или больше. Мы бы успели и пешком, наверное... Но через них не пробиться.

Я выглянула в окно.

Наш дом стоял недалеко от дороги, между ним и морем располагались еще две точно таких же двухэтажки.

– Море, – сказала я.

– Что – море?

– Надо добраться до воды. Тут недалеко, метров двести.

– Можно пробежать. – Артем смотрел. – Я могу привязать Ерша к спине. Но даже если мы доберемся... Что это поменяет? Нужна лодка.

– Идти вдоль берега, – предложила я. – Мобильное бешенство – оно ведь бешенство. Носители боятся воды.

– Что?

– Боятся воды, – повторила я. – Не могут пить, стараются держаться от нее подальше. Если бы сейчас начался дождь... Но погода, к сожалению, слишком хорошая. Если добраться до моря, то можно пройти вдоль берега.

Артем взглянул на меня с интересом.

– Это да, – сказал он. – Но я думаю, что...

Артем опять выглянул в окно, стал смотреть, кусая губу. Ерш подошел

к окну, тоже стал смотреть, внимательно, не моргая, хотя солнце было довольно ярким.

– Не знаю... – Артем сел на подоконник. – Не знаю. У тебя сколько патронов осталось?

– Семнадцать.

– Неплохо. Семнадцать. Сколько они, говоришь, могут продержаться?

– Дней пять. Семь максимум. Через пару дней начнут замедляться, так что...

Артем пнул стену.

– Огня они боятся? – спросил Артем. – Все боятся огня.

– Не очень, – покачала головой я. – Не сильно. Огонь не поможет, разве что огнемет...

Артем снова пнул стену и принялся, скрипя зубами, ходить по комнате. По всей видимости, это была спальня – никаких вещей, кроме мебели и светильников, несколько книг на японском, в основном кулинарные, небольшая чугунная печка. Артем схватил эту печку, напрягся, оторвал от пола и вышвырнул в окно.

Печка убила двоих, а я подумала, что печек нам не хватит.

– Ладно, – сказал Артем. – Ладно, все равно никак не получится... Так ведь, Ерш?

Ерш промолчал. Солнце стало припекать сильнее, и Ерш отодвинулся от окна.

– Ладно, – сказал Артем. – Надо поглядеть, что есть...

Артем запрыгнул на кровать, наступил на спинку, а с нее перебрался на шкаф, подпирающий дверь, сел, снял с пояса топор и врубил его в потолок.

К моему удивлению, потолок оказался не очень крепким, что-то вроде фанеры или толстого картона, лезвие топора вошло в материал целиком, а на Артема просыпалась толченая известка и пыль.

– Посмотрим...

Артем ударил в потолок еще раз, пробив дыру размером с голову.

– Поглядим...

Топорик был небольшой, однако действовал им Артем достаточно убедительно, в несколько следующих ударов он прорубил в потолке неровное овальное отверстие, после чего встал на шкаф и пролез на чердак.

Ерш поежился и снова убрался в щель между окном и комодом, а я решила посмотреть, что там есть наверху, и тоже вскарабкалась на шкаф, а потом и на чердак.

Артем сидел на балке в нескольких метрах от меня и опять рубил в

потолке дыру; я не стала спрашивать его, что он делает, пусть рубит, Артем человек опытный, придумает...

На чердаке было душно и пыльно, у меня немедленно засвербело в носу и зачесались глаза, и я направилась к люку, ведущему на крышу, он оказался открыт; я поднялась по лесенке и выбралась на воздух.

Обзор отсюда открывался гораздо лучший, чем из окна спальни, высота, на которой я находилась, позволяла не видеть носителей, только пейзажи, которые действительно были хороши. Я поймала себя на мысли, что жизнь – поразительно странная штука. То есть не просто поразительная, а поразительная категорически; еще некоторое время назад, буквально пару часов назад, нас пытались разорвать зараженные МОБом, а сейчас я сижу на крыше и люблюсь видом, при этом зная, что долго здесь просидеть не удастся. И странно. И прямо напротив сидит на отмели черная субмарина.

Отсюда, с крыши, видно много брошенных кораблей, некоторые лежат у берега – на боку или килем вверх, некоторые напротив, далеко в море, в полузатонувшем состоянии, так что на поверхности торчит лишь корма или мостик, а поблизости от брекватера завяз контейнеровоз, огромный, как самостоятельный остров. Да он уже на остров и походил – море намыло вокруг песка, на котором успели прозябнуть убогие кустарники и небогатая трава, и кое-где лежали сивучи, жирные, похожие на куски густого графитового масла. Когда-то они были ценным ресурсом, местное население с удовольствием охотилось на них, используя шкуры для одежды и технических нужд, а из жира вытапливая масло, которым освещались жилища. Сейчас численность сивучей, нерп, равно как и китообразных и других млекопитающих моря, далеко превысила их прежнюю численность. В отсутствие промысла море наполнилось рыбой, и животные, чей рацион эта рыба составляет, размножились; их не смущает то, что планктон, рыба и морские гады, являющиеся основой их питания, радиоактивны, как радиоактивна и сама акватория океана, как радиоактивны течения, радиоактивны айсберги, вулканы, дожди и ветер, это не смущает животных, они не ведают страха и не знают о смерти.

Сам корабль разграблен и разобран, все контейнеры вскрыты, кроме того, в бортах вырезаны значительные прорехи, видимо, снимали оборудование, а выглядит так, словно пытались содрать шкуру. А еще ржавчины много, но все равно красиво, и смотришь, смотришь, и хочется смотреть. Потому что море. Море все меняет, особенно в солнечный день, когда и смерть вдруг начинает выглядеть по-другому.

Море.

До моря было действительно недалеко – между нашим домом и берегом располагались еще два здания, одно – такая же двухэтажка, как у нас, другое невысокое, то ли трансформаторная будка, то ли насосная станция. Двести метров, не больше, если бегом, то меньше минуты. Если бы не носители. Их слишком много, не прорваться.

Можно попробовать их отвлечь, вытянуть на себя. Спрыгнуть на землю и побежать, инфицированные станут преследовать, Артем и Ерш смогут добраться до моря. Я быстро бегаю, Артем хуже, к тому же он не столь вынослив, не то что я. А я могу попробовать, главное, выработать тактику. Допустим, так – сначала к сопкам, потом обратно, к дороге, и потом прорываться к морю. Шанс остаться в живых есть, к тому же у меня еще семнадцать зарядов.

Или попробовать по электрокабелю. Между домами натянут довольно толстый кабель, по нему можно перелезть. Теоретически. То есть я точно перелезу, если закинуть ноги и не спеша ползти головой вперед, до другого дома метров семьдесят...

Кстати, неплохой шанс. Если привязаться к кабелю веревкой или ремнем, то долезть вполне реально!

Я заглянула в люк и позвала Артема. Он показался через несколько минут; с кухонным топором для разделки мяса, с несколькими шнурами от электроприборов, со старой занавеской.

– В кухне ничего полезного нет, – сказал Артем. – Даже пластиковых бутылок.

– Зачем тебе пластиковые бутылки? – не поняла я.

– Ни за чем. Но обычно они всегда есть. А здесь и бутылок не оставили. Отсюда уехали не спеша, собрав все вещи...

Артем плюнул вниз.

– И что?

– Не знаю. Может, их предупредили? Наверняка у них был план на случай чрезвычайной ситуации. Массовая эвакуация, зачистка...

Артем поморщился.

– Я вот что подумала, – сказала я. – Можно попробовать. Я неплохо бегаю...

Артем приложил к губам палец и указал на кабель между домами. Сощурился и стал натягивать перчатки.

– Погоди, вдруг он...

Артем подошел к кабелю, подпрыгнул, зацепился и, быстро перебирая руками, пополз.

– Осторожно...

Повис на кабеле над пустотой, до земли метра четыре. Принялся дрыгать ногами и раскачиваться над головами инфицированных.

– Хорошая мысль. – Артем повис уже на одной руке. – А я не додумался. Отличная идея. Кабель крепкий, должен выдерживать намерзающий лед. Ты справишься?

– Да.

Артем перестал безобразничать и вернулся обратно на крышу.

– Сейчас я спущусь за Ершом, а ты пока сделай страховку, – он вручил мне электрические шнуры. – Сплети две петли, диаметром в метр примерно, ну, на случай, если оборвемся. Ясно?

Я кивнула.

Артем спрыгнул в люк, а я стала плести страховочные петли; провода оказались мягкие, но прочные, я довольно быстро справилась, связав вокруг кабеля две петли, одну чуть побольше. Попробовала, держит.

Появились Артем и Ерш.

– А рюкзак? – спросила я. – Там вода и пшенка...

Артем помотал головой:

– Уходим налегке. Если не успеем, то вода и пшенка нам не понадобятся. Помоги привязать...

Мы стали привязывать Ерша к спине Артема занавеской, она была длинной и крепкой, я посадила Ерша на закорки к Артему и примотала на два узла. Должна сказать, что получилось смешно: Артем стал похож на старушку, нелепая фигура в нелепом мире. Хорошо хоть Ерш не тяжелый, килограммов пятнадцать от силы, Артем справится. Артем...

– Ты первая, – сказал он. – Ты идешь первой.

Он дернул петлю.

– Нет, я прикрою, – попыталась возразить я. – Я здесь...

Но Артем помотал головой, и я поняла, что спорить с ним бесполезно. Поэтому я проверила кобуру с пистолетом, пристегнула себя к петле ремнем и...

Вдруг мне улыбнулся Ерш. Я раньше никогда не видела никаких эмоций у него на лице, ни грусти, ни улыбки, ни печали, боли и той нет; и вдруг он улыбнулся. Его уродливое лицо, покрытое шрамами, неожиданно задвигалось, словно подыскивая неизвестное ему выражение, по щекам его пробежала судорога, и Ерш улыбнулся.

– Нам лучше поспешить, – напомнил Артем. – Время... Его мало.

– Да, мало.

Я повисла на кабеле, закинула на него ноги и медленно поползла.

Это не очень сложно, но есть некоторые правила. Во-первых, ни в

кчем случает нельзя спешить, начнешь спешить – сорвешься. Во-вторых, полная концентрация, не отпуская кабель ни на секунду. В-третьих, смотреть вверх. Вниз ни в каком случае, да, высота тут не очень, но голова может закружиться, конечно, если сорвешься, страховочная петля выдержит, но...

Не хочется болтаться над этими.

Я ползла по кабелю и смотрела в небо и видела бледную луну. Мне нравится, когда днем луну видно, не днем – утром, сейчас еще утро, наверное, часов одиннадцать, и луна висит, и вроде бы люди на ней, если еще живы. Я ползла по кабелю и думала про нее; она казалась близкой и совсем не чужой, и как у всех, кто серьезно смотрит на луну, у меня случилось лунное раздвоение, я как бы немедленно посмотрела на себя с лунных высот, и мне, как всегда, стало себя жаль.

А потом я не удержалась и посмотрела вниз.

Они все собрались подо мной. Стояли и смотрели вверх жадными голодными глазами, терпеливыми глазами, закричал Артем, я не услышала, что-то громкое, наверное, «держишься», я закрыла глаза и почувствовала, как раскачивается кабель. Я вцепилась в него и руками, и ногами, и чуть ли не зубами, но от этого все кружилось еще сильнее, и меня тошнило, потому что я чувствовала, что они ждут.

– Открой глаза! – орал Артем. – Открой глаза!

Я открыла глаза и стала снова смотреть на луну. Луна была неподвижна, холодна, я зацепилась за эту неподвижность и смотрела до тех пор, пока верчение мира вокруг не прекратилось, тогда я поползла дальше.

Через несколько минут я добралась до соседнего дома, расстегнула ремень, упала на железо, и меня немедленно вырвало утренней пшеницей.

Артем закрепился в петле и пополз с Ершом по кабелю, добрался без всяких происшествий, уверенно и равномерно, раз-два. Отвязал от спины Ерша, посадил рядом с трубой и велел не двигаться; мы отправились на другую сторону крыши, на западную часть.

До моря недалеко, между домом и водой, наверное, не больше ста метров и невысокая трансформаторная будка; кабель, ведущий к ней, болтался, оборванный. Артем поморщился.

– Жаль, – сказал он. – Если бы добрались до будки, попробовали бы пробежать. Ну да ладно, что-нибудь придумаем...

Дальше.

Артем выбил люк, ведущий на чердак, и мы спустились в дом. Потолок в этот раз прорубать необходимости не возникло, воспользовались чердачной лестницей, по которой спустились в кладовку, а затем и на

первый этаж. Двери в доме оказались закрыты, а окна до половины забраны скользящими ставнями, видно, что здесь безопасно и носителям сюда не пробраться. Вообще здесь неплохо было бы пересидеть вспышку МОБа, если бы не предположения Артема о предстоящей операции.

На всякий случай я спросила:

– Ты уверен? Ну, что состоится... большая зачистка?

– Когда последнее судно уйдет из гавани, они начнут, – сказал Артем. – Вне всякого сомнения. Бешенство не должно проникнуть в Японию, это же понятно. Зараженные сосредоточены в городах, на дорогах и населенных пунктах.

– Но зачем бомбить? – спросила я. – Достаточно усилить режим изоляции...

– Не, – помотал головой Артем. – МОБ умеет ждать. Так что они будут бомбить. А потом еще «агент V». На всякий случай.

– Ерунда, – отмахнулась я. – «Агент V» не использовался в военных действиях, это сказки...

Артем улыбнулся:

– Думаю, Человек рассказал бы нечто другое. Ты думаешь, почему север острова до сих пор закрыт?

– Во время Войны там высадилась северокорейская дивизия особого назначения, ее выкуривали, кажется, химией.

– Точно, химией, – кивнул Артем. – Два месяца выкуривали, никто и подумать не мог, что северокорейский солдат может прожить в костюме химической защиты так долго. А потом японцы подогнали в пролив крейсер и распылили над корейским укрепрайоном «агент V».

«Агент V» не вызывал у меня никакого энтузиазма, хотя его применение в сложившейся ситуации было бы, пожалуй, вполне оправданным. Насколько я помнила, использование «агента V» было запрещено всеми международными конвенциями еще задолго до начала Войны, причем не только из-за своей сокрушительности, но и в силу того, что использование данного боеприпаса приводило в абсолютную негодность территории, где он применялся. Достаточно сказать, что для деактивации «агента V» использовалось термическое оружие, спекавшее поверхность почвы на тридцать сантиметров вглубь и выжигавшее все, вплоть до бактерий.

Я не очень хорошо разбиралась в химии, но на кафедре гражданской обороны показывали фильм, найденный на захваченной корейской плавучей базе; там были эпизоды, посвященные испытаниям «агента V» на живых объектах, в частности на коровах. Над стадом в тридцать голов

распылялось меньше капли вещества, и этого оказалось достаточно, чтобы в течение следующего часа животные превращались в густой кисель.

– Там, на севере, есть места, где в почве не осталось червей, – сказал Артем. – Все распалось в слизь. И слизь эта до сих пор активна. Стоит попасть на кожу хоть капле... Вот так-то. Зато надежно. Земля тотально непригодна для жизни, но и никакого мобильного бешенства, МОБ ведь тоже организм... Ладно, давай тут посмотрим, что к чему.

Артем усадил Ерша в кресло, чтобы тот чувствовал себя поспокойнее, втиснул к нему еще пару подушек, и мы отправились осматривать новый дом.

Отсюда уходили в спешке и, похоже, не рассчитывая вернуться; дом оказался заполнен разными вещами – одежда, обувь, книги. Книг, кстати, оказалось неожиданно много, кроме того, на стенах висели карты, как новые, военные, так и старинные. Я заглянула в платяной шкаф и убедилась, что тут жил офицер сил береговой охраны – на плечиках красовался мундир.

Артем направился в гостиную, а я не удержалась и стала пролистывать книги, впервые на острове я встретила столько книг, причем не бестолковых романов, оставшихся с довоенных времен, отпечатанных на пластиковой бумаге и отвратительно вечных, а вполне себе человеческих бумажных книг. История, философия, технические дисциплины, книги, посвященные модной до Войны паназиатской парадигме, кулинария – как без нее? Нашлось и кое-что художественное, в основном поэзия, старые мастера с современными комментариями, а также мистический роман про гибель Японии от гигантского цунами, вызванного пробуждением подводного дракона, которого, в свою очередь, разбудили испытания сейсмического оружия.

Книжка Сиро Синкая здесь тоже нашлась, та, где единорог и неприступные стены райского сада.

Показался Артем, в руке пакет, на плече сабля в ножнах.

– И все-таки ты больше японка, – улыбнулся Артем. – Тебе говорят, что скоро над нами взорвется бомба, а ты сидишь и читаешь какую-то фантастическую чушь. Футурологи все такие?

– Футурологи – фаталисты, – ответила я. – Как и все японцы, впрочем. А потом у меня до сих пор от этого каната ноги трясутся, надо посидеть, в себя прийти. К тому же, если над нами подорвут ядерный заряд, убежать мы все равно не успеем. Правильно?

– Правильно, – согласился Артем. – Но и расслаживаться особо нечего. Как книжка?

– Годзилла всех убила, – ответила я.

– Я так и знал. – Артем протянул оружие: – Пользоваться умеешь?

– Не очень...

Я взяла саблю, проверила. Обычный казенный клинок морского офицера, не первого сорта, но и не паршивый; судя по состоянию лезвия, хозяин им не шибко восхищался. Но торшер срубить получилось.

– Пойдет, – оценил Артем и забрал клинок. – Багра тут не найти, попробую из него что-нибудь сделать. А вы с Ершом на кухню сходите, поешьте. Там много всего...

Артем разорвал пакет и высыпал из него на стол галеты, а я отправилась за Ершом, который, само собой, успел спрятаться в шкаф, причем на верхнюю полку, так что пришлось его доставать оттуда в сложенном виде. Я в очередной раз подивилась этому странному умению залезать в труднодоступные места без помощи пальцев, ухватила Ерша за колено и вытащила на свет в сложенном состоянии, кое-как распрямила и отвела на кухню.

Здесь нам повезло. Судя по всему, офицер жил в этом доме с семьей – в столовой держался порядок, посуда и принадлежности на своих местах, пластиковые цветы в вазах, а на столе декоративная горка из овощных консервов, и корзинка с печеньем, я сунула печенье Ершу, а он не знал, что с ним делать, пришлось показать, как надо есть.

В углу столовой поблескивал никелем холодильник.

Все, что хранилось в холодильнике из свежего, разумеется, испортилось, зато сохранились банки с консервированным шоколадным молоком; я открыла сразу две, одну себе, другую Ершу, научила, как надо пить; уселась на стул и стала обедать.

Без аппетита. У меня и не могло быть никакого аппетита, да и подташнивало заметно, но пообедать стоило, хотя бы для того, чтобы иметь силы, – они понадобятся для броска к морю, может, и ноги перестанут так трястись. Непонятно, правда, отчего они трясутся – от усталости или от страха.

Я ела не спеша, пережевывая печенье и запивая его шоколадным молоком, которое почему-то отдавало аспирином. Ерш, кажется, тоже распробовал шоколад, его ничего не смущало, он набирал в рот печенья, запивал молоком, ждал, пока оно размягчит сухие галеты, после чего начинал пережевывать, надув щеки.

Явился Артем. За то время, что мы жевали, он изготовил себе оружие, использовав для этого офицерскую саблю и кусок пластиковой трубы, вырванной из отопительной системы; конструкция получилась

оригинальная и с виду вполне убойная – Артем каким-то образом вставил рукоять сабли в отрезок трубы и обмотал его черным шнуром, что-то среднее между копьем и секирой. У него талант к созданию и владению оружием; в некоторых дремлют необычные способности, вот живет человек, живет, разводит морковь, а потом раз – и мотыгой убивает восемь разбойников, и делает это так легко, словно всю жизнь этим занимался. Артем, конечно, убийца, я это поняла... Наверное, как только увидела его тогда, в холле гостиницы в Холмске. Его поэтому ко мне и приставили, и правильно сделали. Убийца, и, как любой убийца, умеет создавать для этого правильные инструменты.

Интересно, какие способности дремлют в Ерше? Он альбинос, умеют ли альбиносы что-то, чего не умеем мы?

Артем прислонил свое копье, посмотрел на жующего Ерша, усмехнулся и ушел снова. Я поглядела в окно. Оно выходило на море, и носителей с этой стороны было гораздо меньше, я не поленилась и посчитала – шестьдесят с небольшим. Если бы не остальные, можно попробовать их забегать – вытягивая по носителю и расправляясь с ним поодиночке, но из-за дома подтянутся другие носители. Бесполезно. Надо придумывать что-то другое.

Артем придумал. Он появился на кухне с газовым баллоном, улыбнулся и сказал:

– Здесь почти полный. А в том доме на доньшке болталось.

– Огнемёт думаешь сделать?

– Не, – помотал головой Артем, поставив баллон под окно. – С огнеметом возни... По-другому. В холодильнике вода есть?

– Молоко. Три банки.

– Сойдет.

Артем достал из холодильника молоко, закинул в рюкзак. Поглядел на пирамиду из консервов, стоящую на столе, она ему не понравилась, и он расставил ее по-своему. Получилось лучше. Выше.

– Вы готовы? – спросил он.

– К чему? – не поняла я.

– Бежать.

Артем подтянул пластинчатые жалюзи, открыл окно.

– Сейчас?!

– Ага, – кивнул Артем. – Сейчас. Не стоит затягивать.

Он намотал на горловину баллона тряпку, пропитанную мутной спиртовой дрянью, поджег. Тряпка загорелась, Артем подождал, поднял баллон, размахнулся и швырнул его в окно.

Баллон покотился по асфальту с железным лязгом, наткнулся на ногу китайца, остановился.

– И что теперь? – поинтересовалась я.

– Теперь стреляй.

– Куда?

– В баллон. Попадешь?

– Попаду.

Это было правильно. Толковая идея. Верная. Артем хорош. Артем знает. Прикованный к багру.

Я достала пистолет. Семнадцать зарядов, двадцать метров, отчего ж не попасть.

Артем взял от стены багор-копье, поставил его рядом со мной.

– Прихватишь?

– Прихвачу, – пообещала я.

Артем вытащил Ерша из-за стола, уронил его на пол, сам залег ближе к стене. Я стала целиться: двадцать метров, детское расстояние.

Отец, узнав, что я поступила на философский факультет Токийского университета и намереваюсь специализироваться на кафедре футурологии, пришел в состояние некоторого раздражения; он посвятил моему переубеждению целых три дня, приводя всевозможные доводы против футурологии, с одной стороны, и в пользу вменяемых гуманитарных – с другой. Взывая не к разуму, но к сердцу, напоминая, что девушке из приличной семьи невозможно становиться каким-то там футурологом, в нашей фамилии, корни которой уходят еще в период Сэнгоку, никогда не было никаких футурологов, психологов или, не приведи господь, биологов. Наш род, стоявший на одной ступени с благороднейшими родами Империи, дарил своему народу поэтов, политиков, военачальников и... Тут отец немного замешкался, поскольку, кроме поэтов, политиков и военачальников наш род Империи так никого и не подарил; правда, был еще один кинематографист, но его вклад в культуру Японии был сомнителен, поскольку прославился он в основном производством фривольной мультипликации, которую во время Реставрации запретили и, по большей части, уничтожили.

Одним словом, против столь странной специальности отец выступал категорически, да и матушка, некогда окончившая филологический по отделению средневековой литературы, особо моим выбором счастлива не была. Но я упрямая.

Баллон краснел и прекрасно различался на фоне асфальта, вот только по-хорошему, верно, прицелиться мешал носитель, маячивший перед баллоном; стоял, сутуло двигая лопатками и шеей, точно совершая разминку, или беспокоило его что-то в районе шеи, фурункул вызрел, ведь при инфицировании болезни не исчезают, наоборот, обостряются, причем резко, а у этого точно фурункул – он то и дело трогал шею с настойчивостью промышленного робота, а после смотрел на пальцы. Я выстрелила и попала ему в лопатку, в сердце, носитель упал, и теперь мне стал виден баллон гораздо лучше; теперь я прицелилась вернее.

Кафедру футурологии философского факультета Токийского университета возглавлял Ода, бывший тогда уже профессором и снискавший многие славы как в самом университете, так и за его пределами. Демобилизовавшийся из сил самообороны, Ода выглядел оригинально, ему пришлось поучаствовать в освобождении нескольких островов в бассейне Тихого океана, он брал Иото и отличился в этом сражении боевой яростью, лично прикончив пулеметный расчет, прикрывавший вертолетную площадку. В ходе штурма высоты № 1 получил ранение, но это не помешало ему принять участие в воздвижении флага над островом; фотография с этим событием, кстати, украшает все военные комендатуры, поскольку воздвижение флага стало официальным окончанием Войны, майор Ода на снимке крайний слева. Находясь в госпитале, Ода в знак памяти об этом событии побрил себе голову, а на лысине сделал пороховую татуировку в виде зеркального американского флага.

Вернувшись в мирную жизнь и возобновив карьеру на философском факультете, Ода, однако, не оставил казарменных привычек, более того, эти привычки в нем усугубились, а в сочетании с практически энциклопедическими знаниями образовали причудливую смесь. В первый год службы в университете Ода прославился статьей «Поражение», в которой подвергал метафизическому сомнению утверждение о вступлении Японии в полосу перманентного «лучезарного расцвета» и чрезвычайно язвительно и саркастически отзывался о записных патриотах, просидевших всю Войну в газетных редакциях. Урезонить футуролога явилась делегация из ветеранского общества «Пепел и Расцвет» в количестве четырех человек, двух из них Ода выкинул в окно, остальные разбежались в панике.

В случившийся вскоре праздник Реставрации Ода выехал в город на пегой лошади и зачитывал с нее статью «Стезя негодяев», за что был доставлен в участок и приговорен к исправительным работам.

Через неделю после отбытия наказания он провел акцию «Invasion USA» – пробравшись ночью к строящемуся зданию медицинского факультета, Ода покрасил лысину индиговой краской и, используя ее как штамп, нанес головой оттиски по всей стене. Администрацию университета, пытавшуюся вернуть его в русло академических приличий, Ода встретил черной армейской бранью.

Впрочем, к подобным выходкам руководство университета относилось достаточно терпимо, помня о героическом прошлом майора и высоко ценя его профессиональные компетенции. Кроме того, по слухам, Ода нравился самому Императору, вроде как тот считал неуживчивого профессора воплощением самурайского духа – с одной стороны, воинственного и шовинистического, с другой – вычурно ироничного. Довольно быстро Ода сделался любимцем и студентов, поскольку, несмотря на взбалмошность, грубость и привычку распускать кулаки, студентов он любил, а многим и помогал.

Я выстрелила.

Так я и стала футурологом.

Конечно же, я попала.

Пуля пробила в баллоне дыру, в сторону ударил оранжевый фонтан, а потом последовал и взрыв.

Думала, будет мощнее.

Артем тут же вскочил, выкинул Ерша на улицу и выпрыгнул следом сам.

– Бежим! – заорал Артем.

Я подхватила его самодельный багор и выпрыгнула вслед за ним.

На земле лежали носители. Взрыв сбил их с ног, и теперь они были разбросаны несколько вокруг, некоторые из них пошевеливались, но большинство лежало неподвижно. Некоторые горели.

Артем закинул Ерша на плечо, выхватил у меня новый багор и побежал к морю. Я за ним.

Когда мы преодолели метров пятьдесят, носители начали подниматься. Море было близко, сотня метров, не больше; из-за трансформаторной будки выступил инфицированный, я выстрелила в него, не останавливаясь.

Инфицированного швырнуло на землю, Артем переступил через него.

Носители поднялись. Они выглядели одурело. Трясли головами, точно пытаюсь выбить воду из ушей, разве что на ноге одной не поскакивали.

Обычно слух у них обостренный, что-то с внутренним ухом или с внешним, в ушах я плохо разбиралась, но сейчас все, кто находился вокруг, оглохли, я имею в виду носителей. Они озирались и не могли понять, не могли никак свести звук и изображение, и это давало нам шанс. Когда их мозг среагировал на движение, до моря оставалось совсем ничего. Тридцать метров.

Тридцать метров. Артем остановился.

Профессор Ода впоследствии оброс, и американский флаг, выжженный на его голове, весьма причудливо отразился на волосах – выросли звездно-полосато, так что профессор только укрепил свой неординарный облик. Однажды, когда я, профессор и два аспиранта засиделись за сборником тезисов к конференции, за мной заехал отец; они о чем-то поспорили, отец, кажется, назвал профессора «кривоногой обезьяной», впрочем, Ода не остался в долгу и сломал отцу нос. С этого случая отец проникся к футурологии некоторым уважением и отзывался о ней и о профессоре с почтением.

Артем опустил Ерша на землю и подтолкнул его к морю.

– Бегите, – сказал он.

Я взяла Ерша за запястье и повела к воде. Быстро, оглядываясь, стараясь держать ситуацию, хотя Артем ее и так держал; он потихоньку пятился за нами, держа багор перед собой.

Носители вернулись в реальность, поспешили к Артему, и один успел-таки кинуться. Оружие, которое изготовил Артем, оказалось эффективным: он взмахнул им как косой и подсек носителю колено, остальные устремились к нам.

Артем уже мог бежать, мы почти добрались до воды, и вряд ли что нам бы помешало. Артем зарубил еще троих.

А мы с Ершом вошли в море.

Лето в этом году выдалось жаркое, Восточное море прогрелось, ветер нагнал из пролива теплой воды, приятной и мягкой. Правда, выяснилось неподходящее обстоятельство – Ерш плохо держался в воде. Из-за отсутствия пальцев на ногах он не мог поймать равновесие в мелком песке, а ботинки не помогали, так что Ерш схватился за мой макинтош.

Через минуту к нам присоединился Артем; он сполоснул лезвие меча в воде и сказал:

– До Крильона – восемьдесят километров. Думаю, за неделю справимся.

Мы рассмеялись. И Ерш. Он засмеялся таким заливистым детским смехом, мы стояли в трех метрах от берега и хохотали, а с другой стороны

берега, в метре от воды, собирались инфицированные, все-все. Они, разумеется, стремились к нам, хотя и оглохшие, но нюх у них сильный, зрение не улучшается, а вот слух и нюх напротив, на запах они и торопились, но, не дойдя до прибоя несколько шагов, остановились, точно увязнув в сети.

Водобоязнь. Они не могли приблизиться к воде.

А я вдруг почувствовала себя счастливой, не абсолютно, конечно, но в значительной мере; потому что вот это случилось определенно на дурацкий манер – все как взрывом, а потом и настоящий взрыв, я начала смотреть книгу про чудовищ, и вот мы в море, и стоим, а до Крильона действительно восемьдесят километров, и надо как-то жить.

– Пойдемте, что ли, – сказал Артем.

И мы пошли.

Невельск оказался действительно небольшим городом, приютившимся на неширокой полосе между сопками и морем; его неоднократно сносило землетрясениями, следы этих стихий во многом сохранились в его облике – разрушенные и полуразрушенные дома встречались то тут, то там, темнели печальными призраками между разноцветной новой постройкой; на сопках кое-где присутствовали еще следы довоенной индустрии – ржавые фермы, бетонные стены, черные трубы, все это заросло кустарником и теперь походило на древние руины рыцарских замков.

Некогда здесь располагался судоремонтный завод, на берегу остались его давно не нужные сооружения, а море напротив завода имело значительную глубину, и здесь нам пришлось плыть; Ерш сидел верхом на Артеме, я плыла первой. Вода была легкой, и плыли мы недолго, к тому же акватория напротив города оказалась заполнена мусором: плавником, подводной падалью, морской капустой и пластиковыми бутылками, так много, что я подумала, что их принесло с Монерона.

Мы наловили бутылок и засунули их под одежду, это позволяло держаться на поверхности с минимальными затратами, так что глубокий участок мы преодолели благополучно. Продвижение сопровождалось криками сивучей, наблюдавших за нами с брекватера и вызывавших необыкновенный восторг у Ерша.

Здесь не было китайских лачуг, отчего Невельск выглядел как город, самый настоящий, сходство подчеркивали и новенькие особняки, вроде тех, в которых укрывались мы, и здание официальной архитектуры, в котором скорее всего размещалась комендатура или, возможно, клуб, – перед входом красовалась большая клумба, своим буйным цветом видимая издали.

Я пожалела о том, что начала знакомство с Сахалином с Холмска, а не

с Невельска; Холмск настроил меня на определенные впечатления, может, если бы я начала свой путь по острову здесь, я бы понимала его иначе, впрочем, это были совершенно пустые мысли. Сейчас Невельск утратил свое очарование, улицы его заполнились инфицированными, которые шагали вдоль берега, не выпуская нас из виду.

Через три часа Невельск остался позади; мы проследовали мимо всего брекватера, мимо белоснежной стелы, напоминавшей о давно погибших моряках, чьи кости сгнули, но чьи имена зачем-то останутся навсегда, отлитые в бронзе, мимо подводной лодки, издали похожей на мертвого кита, а вблизи разочаровавшей ржавчиной и гнилью, проплыли и прошли. Шагать было нелегко, и не столько из-за воды, сколько из-за песка, в который проваливались ботинки; мы месили песок, прилагая к каждому шагу значительные усилия, в результате чего через каждые сто метров приходилось делать остановки и набираться сил, сидя на выступающих из воды камнях. Постепенно мы привыкли и шли не в воде, а по самой линии прибоя, так легче, но несколько опаснее – расстояние от инфицированных сократилось до двух-трех метров, так что приходилось следить за тем, чтобы зараженные не подходили слишком близко. Если же это происходило, Артем тыкал секирой или подсекал ему подколенные связки.

Через четыре часа водного похода у меня заболели колени и спина, Артем тоже начал выдыхаться, а Ерш периодически смеялся, показывая рукой на сивучей, оставшихся позади.

Носители брели за нами по берегу. Их стало гораздо больше, казалось, что они собрались со всей округи, вся дорога, уходящая вдоль берега на юг, была ими заполнена, они смещались за нами плотной стеной, не сводя глаз, нюхая воздух. Они двигались вместе с нами и колыхались в ритме прибоя; когда на берег накатывалась особенно большая волна, инфицированные отодвигались, а когда волна отступала, возвращались к нам. Странное зрелище.

Странное зрелище.

Горнозаводск

К вечеру, по подсчетам Артема, мы преодолели около двенадцати километров и добрались до Горнозаводска. То есть до места, где раньше стоял Горнозаводск; о том, что здесь находился поселок, сейчас напоминала лишь труба котельной, сохранившаяся на одной из сопок, да свалка ржавого металла, догнивающего в воде. Свалка состояла преимущественно из нефтяных бочек и рельсов от разобранной железной дороги. Солнце садилось, ноги отваливались, день выдался страшный и длинный, и двенадцать километров, пройденные в полосе прибоя, стали испытанием. Почти подвигом. Некоторое время я еще соображала, я отмечала цвет моря, красоту неба, зелень, песок, морских ежей, выбрасываемых волнами, вспоминала профессора Ода, отца и мать, и бабушку, и наш дом с прекрасным садом; однако поход высасывал из меня силы и волю.

Носители, сопровождавшие нас по берегу, угнетали одним своим видом, и хотя все они были свежезараженные, выглядели они уже не очень прилично. Внешне МОБ весьма схож с быстротекущей проказой – через несколько часов после инфицирования кожа покрывается нарывами и язвочками, а если человек предрасположен к кожным болезням, то он неминуемо быстро опускается чуть ли не до состояния руин. И воняет, воняет.

Чудилось, что до меня доносилась их вонь, смрад гнойных отделений токийского госпиталя; мне чудилось, что я чувствую их дыхание, холод сквозняков мертвецких подвалов; болели глаза от одного их безобразного вида, в каждом из этих лиц я видела лица тупиков и богаделен, где доживали все, кто не мог больше работать. Профессор Ода любил водить своих студентов по таким местам, чтобы лучше чувствовали будущее. В таких местах особенно остро звенит будущее, практическая футурология, однако. Серьезная дисциплина.

А еще они облизывались. У них трескались губы, и они постоянно их облизывали, при этом с нас глаз не сводили, что лично меня несколько раздражало, представлялось, что они оближивают нас. В сущности, это так и было: они облизывались по нам, страшно, не смотреть бы.

Несколько раз в местах особо узких толпа сбивалась настолько плотно, что выдавливала из себя зараженных, они теряли равновесие и падали в воду, эффект от этого получался весьма интересный – создавалось впечатление, что носители обрушивались не в воду, а в кипяток. Они молча

бились в конвульсиях, пытаюсь выбраться на берег, на сушу, но вода их не отпускала, удерживая до смерти. Их хватало на минуту, не дольше.

Шагать становилось все труднее. Макинтош сделался тяжел и неподвижен, он давил на плечи и на шею и немного поддушивал. Первое время я еще пыталась помочь Артему и забирала у него Ерша, однако и небольшой по весу Ерш давался к переносу с трудом. Но я старалась, хотела, чтобы Артем хоть немного передохнул; ему это, конечно, не нравилось, но он не спорил. Однако чем дальше мы продвигались к югу, тем меньше оставалось сил. В ботинки набралась вода и песок, и эта смесь, несмотря на мои особые носки, стерла ноги; сначала я чувствовала боль от соленой воды, потом и эту боль не чувствовала.

Скоро у меня закрипели и захрустели колени. Хотелось пить. У нас оставалось еще молоко, но Артем сказал, что его следует побереечь до вечера.

Последний час я хотела умереть и шагала только потому... Не знаю толком, почему я шагала. Наверное, потому что не хотела, чтобы Артем видел меня мертвой – мертвый человек выглядит уродливо и жалко, я это знала. Если бы Артем погиб, я не стала бы мучиться. Но он не умирал.

Хотя нет, нет. Ведь есть еще Ерш. Что бы он делал, если бы все вокруг умерли? К тому же помучиться всегда лучше, мучения, кажется, полезны.

Потом мы увидели трубу над берегом, и Артем сказал, что это, наверное, Горнозаводск. Он был тут однажды, года четыре назад. Тогда сухогруз, перевозивший партию каторжных, наткнулся в темноте на патрульный катер и затонул, каторжные сумели вырваться на свободу и доплыть до берега. Артема и других Прикованных к багру вызывали сюда собирать их по сопкам.

– Неплохо здесь, – сказал Артем. – Неплохо...

По толпе носителей прокатилась судорога, их качнуло сначала к сопкам, а потом обратной волной, к воде. Пришлось зайти по пояс. На такой глубине волны уже покачивали.

– Забавно, – усмехнулся Артем. – Как ты думаешь, а если бы дождь? Вот если бы сейчас начался дождь, что бы они стали делать?

Действительно. Это ведь так просто. Дождь.

– Они бы прятались, – ответила я. – МОБ – это вирус цивилизации, носители бы отыскивали себе крышу.

– Но здесь крыши нет, – сказал Артем. – Здесь только простор, деревьев и то нет, куда спрячешься?

– Нам не повезло, – усмехнулась я. – Дождя нет.

В то лето не шли дожди. Отец всегда говорил, что после жаркого лета

приходит особенно злая зима.

К вечеру наше продвижение вдоль берега прекратилось, в большей степени из-за усталости, а еще из-за того, что ноги мои как бы одеревенели, утратив подвижность в голеностопе; ниже колен у меня образовались словно две деревянные ходули, которые с каждым шагом втыкались в песок. Ерш тоже едва шагал. Артем старался.

К вечеру мы выбрали к отмели, составившейся из невероятного количества ржавых железных бочек; отмель эта уходила далеко в море и перегораживала нам путь, попытка же пробраться через бочки не увенчалась успехом – мы то и дело проваливались сквозь их рыжие бока и царапались об острые края, что само по себе было опасно. На сушу выйти мы также не могли, поскольку бочки создали на берегу затор, возле которого скопилось значительное количество носителей.

Примерно в полукилометре от берега виднелся буксир, севший на мель, ночевать на бочках не хотелось, и мы поплыли к буксиру, рассчитывая найти убежище там.

Буксир сидел на камнях, и эти пятьсот метров, несмотря на бутылки, дались нелегко. Я нахлебалась воды, утопила пистолет и едва не поймала судорогу на ногу и последние десятки метров почти не могла двигаться. Артем дотянул до буксира Ерша, потом вернулся, и мы вместе достигли корабля. Артем втащил меня на палубу, я попробовала встать и не смогла. Ноги испортились. Они распухли в ботинках, сами ботинки не снимались, да и опасалась я их снимать, мне не хотелось увидеть ступни, стертые до костей, слезшую лоскутами кожу, распухшие суставы. Я знала, что в такой ситуации снимать обувь опасно: снимешь – обратно надеть не получится.

Но Артем велел снимать. То есть срезать. Он распустил шнурки и разрезал ботинки спереди, так что я смогла их стряхнуть. Ноги мои действительно пришли в то состояние, которого я и опасалась: съехавшая кожа, кровоточащее мясо. В раны во множестве забился песок и шерсть от развалившихся носков, Артем набрал в бутылку воды и принялся промывать.

Было больно.

И ноги действительно распухли настолько, что я, как и предполагала, не могла на них наступить, так что передвигаться по палубе буксира приходилось на коленях.

Артем объявил, что нужно отдохнуть и набраться сил, он достал из рюкзака по банке шоколадного молока. В этот раз я не обращала внимания на аспириновый привкус, а чувствовала лишь шоколад и концентрированное молоко, от него кружилась голова.

Макинтош намок и стал совершенно неподъемен, я удивилась, как смогла добраться в нем до корабля, развесила его на борту и решила произвести инспекцию карманов, избавиться от ненужного и тяжелого. Ненужного, впрочем, оказалось не так много. Выкинула фонарик – куда светить? Нашла пустой пузырек, в который я еще дома хотела набрать сахалинской земли, забыла; его я выкидывать не стала, оставила, землю набрать еще успею. Нашла универсальный ножичек, незаменимый инструмент, с помощью которого можно разводить огонь и резать колючую проволоку и который мне ни разу не пригодился. Нож не весил много, но я подумала, что у Артема нож есть. Непромокаемая плоская банка с письмами, она нашлась не в сумке, а здесь, в макинтоше, во внутреннем кармане. Банка легкая и не очень большая, ее я оставила. Продолговатый кусок полированного олова, чуть длиннее ладони, если взять в руку кусок воска и несильно его сжать. Я смотрела на него и никак не могла понять, что это и откуда.

– Забавно, – сказал Артем. – Можно?

Я кинула кусок металла ему.

Артем разглядывал его долго и с каким-то печальным интересом.

– Я видел его. – Артем потер металл ладонями, понюхал. – Пару раз. Недалеко от нас жил старый каторжник, у него была дробина, он говорил, что настоящая, чистая, из топливного катализатора. Второй был размером с горошину, Чек выиграл его в карты у матроса с заправлявшегося миноносца. Потом мы обменяли эту горошину на пять мешков риса. Продешевили. А тут... Откуда он у тебя?

– Олово-то? Не знаю. Завалилось где-то, а где... Да мало ли...

– Это не олово, это рений, – сказал Артем. – Кусок рения, на который можно купить...

Артем подбросил кусок, поймал его.

– Не знаю, что можно купить. Много что.

Артем вернул мне металл. Рений. Как он очутился у меня в кармане...

Итуруп. Экклесия. Патэрен Павел, я вспомнила. Миллиард лет назад. Он обнял меня перед расставанием и, видимо, в это время сунул мне в карман этот кусок. Я пыталась понять, зачем он это сделал, но к этому моменту я уже ничего не соображала. Рений. На этот кусок можно купить... Дом, и землю, и воздух, я думаю, за рений можно купить и воздух, и чтобы на участке росли четыре сосны, и ими пахло всегда, там; а здесь он совершенно не нужен. Здесь не нужна звездная медь.

Я шагнула к борту, вытянула руку, разжала пальцы. Он ушел в воду совершенно бесшумно, без всплеска, втянулся в поверхность, словно сам

состоял из воды, тяжелая-тяжелая капля. Артем спросил:

– Зачем?

– Глупо? – спросила в ответ я.

Артем не ответил. Мы стали укладываться спать, хотя укладываться особо было нечего, поскольку на буксире не сохранилось ничего, чтобы разместиться по-человечески; мы устроились на палубе, каждый завернувшись в свое – я в макинтош, а Артем и Ерш в куртки.

Ветер ночью дул теплый, не сильно гнал воду, в море что-то шевелилось и фыркало, как вблизи от нас, так и вдали, в глубине пролива, я думала на сивучей, выходявших на ночную охоту, а может, киты, а может, левиафаны уходили дальше к северу, под их тоскливые песни я и уснула.

Мне снились сахалинские сны, удивительно прозрачные и солнечные, много травы, а за ней тропинка к реке, сверкает на солнце вода, и я ступила на эту тропинку...

Но идти не смогла. Потому что ноги взорвались.

Я вздрогнула и проснулась.

Ноги. Я спала босиком, чтобы поверх ран заветрилась хоть какая-то кожа, и она на самом деле выросла, только вот боль с поверхности пробралась вглубь, к хрящам. Воспаление. Ноги дергало. С каждым сокращением сердца в ступнях вспыхивала боль. С каждой вспышкой в голове лопались искры. Их становилось все больше, и скоро я не различала, где искры, а где звезды на небе.

Рядом возник Ерш, загородил все звезды. Он был без шапки, и его волосы блестели в лунном свете, словно на самом деле их отлили из серебра. И глаза светились, переливались разными цветами – то полыхая неприятно красным, то успокаиваясь голубым, а иногда отдавая таким же, как волосы, серебром.

Ерш смотрел на мои ноги. А потом вдруг сунул руки в карман куртки и достал пригоршню чего-то темного и вязкого, приложил к моей ступне и стал мазать.

Вазелин. Тот самый, технический, с перевернутой машины, он в нем еще руки держал, ему нравилось... Ага, ему нравилось держать руки в вазелине, и он забил им карманы куртки, а карманы в ней наверняка влагонепроницаемые, вот весь вазелин и сохранился. Не знаю отчего, но вдруг стало легче. Вазелин помогал. Он обволок мои ноги, и постепенно я стала ощущать, как боль ослабевает.

Ерш лег обратно на палубу, закутался в куртку, сунул руки в карманы и стал спать. Я лежала, стараясь не шевелиться, чтобы не стереть вазелин. Искры, вертящиеся перед глазами, постепенно исчезали, и я смотрела на

созвездия, а звездные звери глядели на меня.

Скоро прошло и дерганье, капкан, сдавливавший ступни, отпустил, и я попробовала встать, но, конечно, не получилось – от пяток до пальцев в мясо тут же вонзились иглы, так что я завалилась на бок и решила до утра не подниматься.

Некоторое время я еще прислушивалась к морю и к берегу, но потом усталость опять взяла свое.

Но в этот раз хорошие сны ко мне не заглядывали.

Проснулась от солнца. Оно поднялось над островом и заливало окрестности оранжевым светом. Некоторое время я не открывала глаза, глядя на него через веки, наблюдая за плывущими огненными шарами.

Не хотелось открывать глаза.

Артем смотрел из-под сковородки на запад, на берег.

– Что там? – спросила я.

– Не знаю. У меня не очень зрение... Посмотришь?

Я попыталась подняться на ноги, и теперь это удалось, можно стоять, особенно если держаться за борт.

– В той стороне, погляди, – Артем указал пальцем.

– Там лодка, – сказала я. – Лодка, кажется.

На самом деле лодка. Самодельная, небольшая, возможно, парусная – я разглядела обломок мачты.

– Пустая. – Я сощурилась. – Людей не видно. Скорее всего, бродяга. Или кто-то пытался оторваться...

Артем швырнул сковородку в море, откуда тут вообще сковородка...

– Зачем? – спросила я. – Ты что, тут же миля, наверное...

– Меньше, – сказал Артем. – Недалеко. Но уносит...

Артем взял пустую пластиковую бутылку, выкинул ее в море подальше. Прыгнул следом, ухнул с головой, вынырнул и поплыл к бутылке. Догонял бутылку, швырял ее от себя, догонял. Швырял, догонял. Очень скоро он уменьшился в размерах и перевернулся на спину, устал и плыл на спине, высоко взмахивая руками.

Ерш смотрел.

Артем добрался до лодки, перевалился за борт, и на некоторое время его не было видно, наверное, он лежал на дне, приходя в себя. Через несколько минут он поднялся и помахал нам рукой. Ерш засмеялся и подпрыгнул.

Показания Артема

Ночью пришел мертвый Человек. Сначала он долго скрипел вокруг, баламутил воду и пытался влезть на баркас, но то и дело оскальзывался на поросших водорослями бортах. Но потом у него все-таки получилось, и он вполз и сел на леер.

Он плохо выглядел. А может, и нет, может, так и должны выглядеть все мертвые. Мертвые мертвы, в этом их правда и преимущество. У него не было правого глаза, а в груди, в том месте, куда я вогнал багор, чернела рана, в которой шевелилось что-то морское и длинное.

Я думал, он будет нудеть, поучать и вести себя как обычно. Но Чек молчал. Сидел и смотрел, с него капала вода, и он блестел в лунном свете.

– Уходи, – сказал я шепотом. – Уходи, теперь каждый сам по себе.

Но он не уходил, еще долго пялился, бродил по палубе, кряхтел и вздыхал и на меня все поглядывал и поглядывал, замирал, пялился, грозил кулаком.

Хотел я на него рявкнуть или железкой кинуть, но боялся разбудить Сирень. Я знал, зачем он явился: он на меня в обиде оставался. За багор. Наверное, слишком быстро. Но, если бы я промедлил, могло быть и поздно. Точно.

Потом Человек ушел, перед рассветом, в час тихой воды. Я уснул, а когда открыл глаза, увидел, что Чека и нет, так что я стал думать, что это все привиделось. Могло привидеться.

А она стала еще лучше. Щеки втянулись, и глаза от этого сделались гораздо больше. И отчего-то синее. То есть теперь они были синее моря. Наверное, я смог бы смотреть в ее глаза целый час. Потому что я никогда и ни у кого не видел таких глаз. Здесь у всех черные. Иногда, очень редко, карие. Однажды я видел серые, у девушки, которая торговала на площади жареными мучными червями. Многие ходили покупать червей для того, чтобы посмотреть в ее глаза.

Вот у Ерша еще синие. Вернее, не синие, а серебристые. В них как будто серебряная пыль, которая собирается в облака, в них отражается небо, поэтому и цвет. А иногда еще красные.

У нее совсем другие. Я даже хотел попросить ее сесть и посидеть не шевелясь. Можно не на меня смотреть, а хоть в сторону, но постеснялся. Я стеснялся. Я смотрел на нее и понимал, что знаю ее всю жизнь. С самого детства знаю, с самых первых шагов мы были вместе, только я тут, на

Сахалине, а она у себя там, в Японии. Но все равно вместе, это точно. Я помню ее. Там. На нашей горе, у ручья. Я ждал ее, знал, что обязательно встретимся. Мы были вместе, и мы будем вместе, теперь уже навсегда.

Ноги у нее так и не зажили, это было неудивительно, я не рассчитывал, что они заживут, неделя нужна, а то и больше. Ходить она не сможет, это ясно. Но это ничего, все образуется. Я это откуда-то знал. Поэтому, когда увидел лодку, не очень удивился.

Принято считать, что бегут на Сахалин. Хань, которых много еще осталось на материке, спасаются от тамошних ужасов. От голода, от МОБа, от радиации, они бегут, а береговая охрана их собирает на Монероне. Но с Сахалина тоже бегут, само собой, гораздо меньше, чем с материка, но бегут. В основном японцы. Каторга – штука срочная, ссылка бессрочная, многие, отсидев лет восемь-десять, выходят на поселение, но жить на Сахалине им невыносимо и невозможно. Поэтому они бегут. А береговая оборона их ловит и обратно отправляет, а они снова бегут. На третий раз выписывают сотню плетей, это мало кто переживает. Про удачные побеги неизвестно ничего, думаю, их все-таки нет. С острова не прорваться, особенно сейчас. А лодка нам пригодится. Попробуем пройти к югу вдоль берега.

На полпути к лодке я перевернулся на спину. Я стал быстро уставать, гораздо быстрее, чем раньше, этот год меня добил. Я не такой, как Чек, я столько не проживу. А я этому не расстраиваюсь, мне и так повезло, я-то знаю.

На спине плыть оказалось легче, но все равно без пластиковой бутылки я бы не справился. Из-за течения. Чем больше я удалялся от берега, тем сильнее чувствовался ветер, он отгонял лодку, и я никак не мог ее достать. Расстояние сокращалось, но слишком медленно, так что я стал опасаться, что не дотяну, не хватит дыхания.

Плыл, плыл, потом оглянулся и немного испугался, потому что обнаружил, что берег далеко. И буксир, на котором остались Ерш и Сирень, он тоже далеко. Я увидел, как Сирень машет руками. По уму, надо было возвращаться, но без лодки нам дальше никак.

Бутылка меня и поддерживала, и тормозила. Я проплыл на спине еще немного и отбросил ее в сторону. Дальше вразмашку. Требовалось сократить расстояние до лодки, сил я больше не берег, выкладывался так, что позвоночник выкручивало и ребра хрустели.

Надолго меня не хватило. Лодка уходила, покачиваясь на волнах, а я почти сдох. Еще метров двести, а ноги никакие, бесчувственные, и легкие раздулись до горла. Скоро и руки закиснут. Оборачиваться не стал, чтобы не думать, не забивать голову лишним, потому что знал, что обратно

вернуться никак, а если оглянусь, то просто так здесь и захлебнусь.

Двести метров. Вразмашку не потяну, вот и теперь... Двести метров.

Выдержал. Не знаю как, заорал и выдержал, зубы выплевывал по пути, три штуки, да кровью плевался. И все только думал, чтобы сердце не лопнуло или не оторвалось там что внутри. Хотя, оно, может, и оторвалось – кровь-то, кажется, не от зубов, много слишком крови.

Метров за десять увидел, что с кормы лодки свисает веревка, зацепился за нее и некоторое время тащился, пытаюсь хоть немного очухаться и продышаться. Веревку на руку намотал и волокся, стараясь успокоиться. Когда пульс слегка прибрался, я подтянулся по канату, повис, попробовал влезть, но не получилось, руки ослабли вкрай.

Пришлось вернуться в воду. Отдохнуть. Я снова намотал на запястье веревку и снова болтался, пробуя хоть немного прийти в себя, опасался, что снизу поднимутся киты-убийцы, отъедят от меня половину.

Лодка довольно большая, сделана грубо и неумело, из самопильных досок и коры, просмолена черной дрянью. Кто-то тайно сделал эту лодку, стащил ее к морю и поплыл.

Минут через десять я все-таки подтянулся и перевалился в лодку, там было четверо: мертвец и живые. Я рассмеялся. Калеки. Живые которые. Слепые. Два пацана и девчонка мелкая. Корейцы, само собой, кому нужны корейцы? Тем более слепые.

С ними сидела мертвая тетка. Сначала я подумал, что это их мать, но потом увидел, что нет, конечно, дети явные корейцы, а это японка, их легко можно узнать, они красивые. Эта тоже, до Сирени ей далеко, но красивая, в красной непромокаемой куртке, кожа белая, у всех японок кожа белая и у этой мертвой. Японка улыбалась, а из бока у нее торчала длинная ржавая арматурина, а крови нет. Хотя, может, в куртку стекла, по-разному люди умирают.

Дети были одеты хорошо, опрятно, но все равно видно, что не японцы. Спали, когда я влез в лодку, не почувствовали, но живые, я живых от мертвых отличать умею. Интересно, куда они плыли? И почему японка? И почему слепые? Нет, я слышал, что бездетные японцы потихоньку усыновляют и ханских детей, но здоровых, а тут...

И где-то ведь она их собрала. Не тощие, чистенькие. Наверное, из Холмска, так я думаю. Пыталась спасти, выгребала от берега – я заметил, что левое весло перепачкано кровью с сорванных рук. Наверное, она умерла, когда выгребла от берега. Я хотел снять с нее куртку и обыскать, однако почему-то не смог этого сделать, наверное, из-за штыря. Я осторожно взял японку за руку и перевалил в воду. Японка некоторое время

держалась на поверхности, потом утонула, а я стал осматриваться. В лодке нашлась вода в красных канистрах и пакеты с универсальным сухим пайком. Еда. Вода. Открыл канистру, попил. Настроение улучшилось, я почувствовал, как вода побежала по организму, точно я выпил кружку спирта. На всякий случай я попробовал еще, нет, не спирт, вода. Прохладная, две канистры по двадцать литров. Хватит, чтобы уплыть на край света.

Есть я не стал, боясь уснуть, нечего спать, уселся за весла, развернулся к берегу. К этому моменту лодку отнесло, наверное, мили на полторы.

Навалился на весла и направился к буксиру. Весла тяжеловаты, казалось, что они выстроганы из небольших бревен. Но кое-как я продвигался, хотя мне казалось, что я больше булькаю, чем гребу. Я в жизни ни разу не ходил на веслах. Я понял, что для гребли нужна своя сноровка, на первый взгляд ерунда, на самом деле хитро.

Но постепенно я разогрелся и стал грести лучше и уже справлялся с встречными волнами. Лодку стало раскачивать, меня замутило, к болтанке я оказался непривычен. Наверное, от этой болтанки проснулись пассажиры. Сначала девочка, она открыла глаза и стала глядеть на меня белой пустотой. Видимо, болезнь, здесь полно дряни, от которой можно ослепнуть.

Интересно, это почему? Почему мне так везет? Зачем? Ерш, потом эти... Что ж мне их так подкидывают-то, куда их девать...

Я греб.

– А где мама? – спросила девочка.

Она не видела меня, но поняла, что я не мама.

– Мама, ты где? – повторила девочка.

Я стал налегать на весла, они заскрипели, а я не знал, что сказать.

– Мама! – нервно позвала девочка.

Лет пять, наверное. Хотя по корейцам понять трудно. Может, и старше. Повезло, что до такого возраста дожила, корейцы особенно не заживаются. Особенно слепые.

– Мама! – крикнула девчонка.

– Она пока ушла, – ответил я.

Остальные тоже проснулись и уставились такими же белыми глазами. Я работал веслами, а они глядели.

– Я друг, – сказал я. – Вашей мамы.

– Это хорошо, – сказал мальчик в желтой куртке. Желтый.

Мальчик в синей куртке промолчал. Синий.

– Мамы нет, – сказала девочка.

– Она скоро вернется, – сказал я. – Она...

– Мамы нет, – повторила девочка.

Нет, оно все-таки мне зачем? Все точно в кучу, словно жизнь скомкалась, и то, что было равномерно размазано по годам, сплющилось в дни и часы, собралось в кулак.

Глупо. Смешно. Ерш без языка, эти без глаз, слепые и немые, еле живые, полумертвые. Бред. Хотя ничего необычного, удивительней было бы встретить на острове здорового, я за всю свою жизнь встречал таких два раза. И никогда не встречал двух нормальных детей разом. Не смешно. Страшно.

– Мама ушла. – Девочка хлюпнула носом. – Мама ушла.

– А ты кто? – спросил Желтый.

– Я? – Я греб. – Я знал вашу маму...

– Ты странно говоришь, – перебил Синий. – Ты рыбак?

– Почему рыбак? – не понял я.

– Так говорят те, кто приносит нам мидий, – ответил Синий. – Рыбаки.

Ты рыбак?

– Нет, я не рыбак.

– Папа не любит рыбаков, – напомнила девочка. – Он говорил, что надо держаться от рыбаков подальше.

– Правильно, – сказал я. – От них надо подальше. Но я не рыбак. Я поскользнулся и выбил себе пару зубов.

– Понятно, – кивнул Синий. – Я так и думал. Это все из-за землетрясения. Вы во время землетрясения их выбили?

– Да, – кивнул я. – Упал зубами.

– Я могу подтянуться шесть раз, – сказал Желтый.

– Молодец, – похвалил я.

– Он с дерганьем подтягивается, – сказал Синий. – Он врун.

– Сам ты врун!

Они принялись спорить. Это было забавно, никогда не видел, как спорят слепые. Не шевелясь. Не совершая никаких движений, сидят, как деревяшки, и спорят. Я в их спор не влезал, просто слушал, выгоняя лодку на мелководье.

Скоро им спорить надоело, они замолчали, а девочка вдруг заплакала. Желтый стал ее утешать, гладить по руке, а мальчик в синей куртке неожиданно начал рассказывать, как они жили раньше. Не мне и не кому-то, а так. Он вспоминал, загибая пальцы, а когда они у него заканчивались, начинал снова.

Я ворушал веслами, а мальчик в синей куртке говорил. Как они жили

возле озера, какой у них был большой дом, два этажа, а вокруг пихты и сосны. Эти пихты очень хорошо пахли, кроме того, папа умел делать пихтовое масло. Рядом с домом у них был луг, и они все там гуляли, рвали цветы, слушали птиц и спали в гамаках, привязанных к деревьям. Олень кормили – у них там олень водился, он приходил каждое утро и кушал хлеб. После обеда они занимались уроками, слушая обучающие записи и музыку, и сами играли на флейтах. А мама по вечерам включала пластинки и читала книжки. А еще мама варила настоящий шоколад, и они пили его с хлебом. Кошка у них еще жила, настоящая кошка, очень мягкая.

Потом земля задрожала. Но еще за день до этого они все слышали и говорили маме о том, что земля стала пахнуть иначе, а в воздухе слышался странный писк, как будто загудели тысячи комаров.

Земля задрожала, их дом обвалился, но им повезло, крыша упала не на них, а мама вывела их, но кошка не смогла выбраться, так и осталась в сломанном доме. Вокруг грохотало, земля подпрыгивала, и стоять на ней не получалось, поэтому они легли и ждали, когда все закончится. А потом мама велела им сидеть на поляне и никуда с нее не уходить, никуда, пока она не вернется. Они стали ждать, но мама не приходила долго, наверное, до вечера, они все сидели и сидели, и олень в тот день так и не появился.

И только когда стало холодать, они издали услышали машину.

Мама приехала с отцом, он сильно боялся, а дальше началось непонятное, отец закричал, чтобы они бежали, и стал стрелять. И мама кричала. Они, конечно, бежать не могли, но шагать получалось, и шли всю ночь до ручья, держась друг за друга. А мама плакала и почему-то шагала все медленнее и медленнее, она, кажется, стала уставать.

Утром они нашли лодку, спрятанную в кустах возле ручья. Лодка крепилась цепью к большому валуну, и мама долго била по цепи камнем, а они опять ждали. Когда цепь сломалась, мама посадила их в лодку, и они поплыли. Сначала быстро, а затем медленно. Они очень сильно устали и уснули.

Я слушал рассказ слепыша и понять никак не мог – где они жили? Цветы, птицы, чистая вода... Хотя они слепые, а слепые наверняка весь мир воспринимают по-другому. А может, у них другой мир? Может, слепые живут рядом, там, где как раз все оно и есть – и птицы, и вода чистая, и кошка дома ходит, и олень, и тепло, и не видно всего этого. Откуда у них птицы? Птиц больше нет.

Они уснули и проснулись: а где мама?

– Она ушла поглядеть, как папа, – сказал я. – Она вернется.

– Когда? – спросил Синий.

– Скоро. Думаю, что скоро. Она найдет дорогу.

Мне казалось, что он понял. Он был постарше и догадался, что случилось с мамой. А девочка спросила, что же будет с их кошкой. Как найдет дорогу кошка? Она выкопалась из-под обломков дома и теперь ищет их и никак не может найти.

Синий сказал, что кошки очень хорошо умеют искать дороги, они ведь не слепые. И что кошка скоро их догонит, на что Желтый заметил, что кошка догонит их, если они на земле, а они сейчас не на земле, а на воде, причем, кажется, на очень большой воде, он совсем не чувствует ее края, кошки же плавать не умеют.

Они стали спорить о кошках. Про разные кошачьи способности, причем Синий и девочка стояли на том, что кошки как раз умеют: и плавать, и прыгать, и копать под землей норы, а девочка уверяла, что кошки способны летать. Желтый смеялся над ней, говорил, что летать кошки не могут, потому что у них нет крыльев.

Говорили они все по-японски. Без акцента, правильный японский язык, на каком общались лишь пожилые чиновники из префектуры, Сирень и та говорила чуть по-другому. А эти чисто и как-то... Ну вот, когда Чек бывал в хорошем настроении, когда его не мучил голод, блохи, колени и ненависть ко всему, он тоже начинал говорить на правильном русском. Красиво так, с загогулинами, длинными предложениями. А в остальное время так выражался, что хоть уши на полку складывай. А как они с Сиренью беседовали? Заслушаешься. Прямо как в старые времена. Вот и эти ребятишки так выражались, только по-японски.

Они говорили, а я греб и думал. О том, что есть, оказывается, люди, которые совсем ничего не знают. Живут там, где есть цветы и летающие кошки.

Жили – не живут.

Мне вдруг их стало очень жаль. На самом деле очень. Это все равно если бы как взять и детей из довоенного времени, выросших в тепле и достатке, выбросить куда-нибудь в окрестности Углегорска и посмотреть на их ужас. На их отчаянье. А эти еще слепые. Пришельцы, стена между мирами построена из сияющего света, такого белого, что выжигает глаза.

Им повезло: их подобрали эти странные японцы, растили, выхаживали, защищали. А теперь всё. Всё! Везенье вдруг закончилось. Кому нужны малолетние и неполноценные? Куда их девать?

А некуда мне их девать. Ерша девать некуда, а тут еще трое. Вот дурацкая штука, Чек бы узнал, хохотал бы три часа. Судьба подкинула...

Захотелось заорать от бессилия и от глупости происходящего. Глупо,

страшно глупо.

Кажется, я сказал что-то вслух. По-русски. И они уставились все на меня глазами вареной рыбы.

– Палец занозил, – пояснил я. – А кошек летучих нет, есть мыши летучие, летают туда-сюда.

– Куда мы плывем? – грустно спросил Синий. – К берегу?

– К берегу, – сказал я. – Тут пристать нельзя, тут камни, лодку опрокинет. Надо чуть-чуть...

– Если есть летучие мыши, то должны быть и летучие кошки, – сказала девочка.

– Тогда и собаки летучие должны существовать, – заметил Желтый.

И снова они начали спорить. Было видно, что они это любят, что они и раньше любили поспорить и поболтать, наверное, это от слепоты. Слова и звуки заменяют глаза, то, что я и так вижу, им нужно услышать.

Берег постепенно приближался. Носители, караулившие у воды, забыли про нас, и теперь всей толпой медленно двигалась к югу. Издали казалось, что у подножия сопки ползет неторопливая бесконечная змея, но не живая, а какая-то механическая, заводная. Многоножка, скорее. Башку ей отрубили лопатой, а туловищу до этого дела нет, оно само по себе, перебирает лапками и стремится.

Расстояние до буксира сокращалось. Я уже видел Сирень, которая махала мне красным шарфом. Ерша, укутавшегося в куртку и улыбавшегося, видел, наверное, от этого мне постепенно становилось легче и легче. К тому же я начал понимать механику весельной работы, старался включать в движение спину, корпус и ноги, чувствовал, когда мышцы можно расслабить, а когда, наоборот, напрячь. Дыхание постепенно восстанавливалось.

Дети тем временем перестали спорить и начали петь. Они знали много разных песен. Некоторые были грустными, но большинство веселыми, про озорных барашков и прыгучих кузнечиков, про радугу, про маленьких человечков, обитавших в прошлогодней листве и приносящих удачу. Я таких никогда не слышал. Я же японских песен не знал, особенно детских.

Потом причалили.

Сирень не удивилась. Ерш тоже. Он сразу запрыгнул в лодку и устроился в канистрах. Сирень поглядела на слепых, покачала головой и сказала:

– Три слепые мышки... Футурологический конгресс ликует...

– Лучше нам плыть, – напомнил я.

– Лучше плыть, – согласилась она.

Я стал одеваться, но это у меня получалось не очень ловко – ноги стали как ватные, руки как лапша, голова и та еле на шее держалась. Устал. С трудом в рукава куртки попал.

Сирень села на весла. Я унял дрожь и слабость и бухнулся на дно. Ерш улыбнулся, он устроился на корме, среди канистр с водой, и смотрел на других детей, а они смотрели на него. И я смотрел на них всех, мне было очень тошно, ситуация противная, просто... Остров Сахалин.

Без языка.

Господи, посмотри на нас!

Сирень села на весла.

– Тебя как зовут, мальчик? – спросил Синий.

– Его зовут Колючка, – сказала девочка. – Он бывал на Луне.

Сирень вздрогнула.

– На Луне могут быть только космонавты, – ответил Желтый. – Они там добывают атомное топливо.

– Он точно лунатик, – сказала девочка. – Лунатик и... странный. Лунная Колючка. Молчаливая Колючка.

– Он что, никогда не говорит? – спросил Желтый.

– Говорит, – ответил я. – Когда хочет. Редко, по настроению.

– На Луне только космонавты, – повторил Желтый. – Они живут в пещерах.

– Кошки могут летать на Луну, – сказала девочка. – Наша кошка улетела на Луну.

Я уснул.

– Кораблик, – сказала девочка. – Слышите?

Проснулся от дрожи, она прошла от корпуса лодки и ударила в зубы.

Она чуть привстала на скамье, указала пальцем.

Это был миноносец. Быстро нас нашли.

Сирень вскочила и стала махать шарфом.

Они нас, конечно, заметили, но обращать внимания, кажется, не собирались, может, оно и к лучшему. Потому что я, если честно, очень опасался того, что нас расстреляют. Две секунды, залп из шестиствольной зенитной установки, и лишь красная пыль в разные стороны, костей и тех не останется, они ведь так всегда поступают с беглецами.

Сирень снова стала махать руками, подпрыгивать и кричать. А я ее почему-то не останавливал.

Нет, они нас заметили. Миноносец сбавил ход, осел носом на реверсе, стремительно переложился в нашу сторону, ускорился.

– Они нас заметили, – улыбалась Сирень. – Заметили! Все...

Да, быстро.

Миноносец стремительно приблизился и начал разворачиваться бортом к нам, надвигаясь, как темная стена. «Мак Артур» – прочитал я на борту, силы береговой охраны. Помню, видел его в Холмске. Недавней постройки, с изменяемым вектором, быстроходный, сверхманевренный, морская собака, с возможностью погружения. Только там я видел его издали, потому что близко к нему никого не подпускали, а здесь он был рядом, его можно было потрогать.

«Мак Артур» был прекрасен. Я всегда спокойно относился к технике, но здесь... Он походил на сказку. Наверное, так выглядели клиперы старых лет. Я не видел на нем людей, миноносец действовал как будто сам по себе, своим разумом. Наша лодка коснулась его носом и тут же оттолкнулась от гладкой пружинящей поверхности, оставив после себя в борту вмятину, которая, впрочем, немедленно затянулась.

– Я поднимусь и поговорю, – сказала Сирень. – Они нас возьмут.

– Да, конечно, – кивнул я.

– Они нас возьмут, – повторила Сирень. – Возьмут.

Не стал с ней спорить.

Мне захотелось ее... обнять... Но я не обнял, просто сказал:

– Осторожнее там.

Сверху бросили сетку, Сирень вскарабкалась по ней и исчезла, а мы остались в лодке.

Перед нами возвышался борт «Мак Артура», гладкий, как дельфинья шкура, темно-темно-синего цвета, немного волнистый, точно живой. На самом деле немного живой. Чек, кажется, говорил, что новые корабли изготавливаются с применением биотехнологий, так что они снаружи как живые, а внутри машины.

Девочка неожиданно протянула руку и потрогала «Мак Артур».

– Он теплый! – воскликнула девочка. – Он настоящий! Слышите?! Он настоящий!

Синий и Желтый тоже захотели потрогать миноносец, они сместились к борту и приложили ладони к коже корабля.

– Он щекочется! – захихикал Желтый. – Он щекочется, вы чувствуете?

– Он колется! – возразил Синий.

Ерш поглядел на них и приложился к «Мак Артуру» лбом. Он засмеялся, но руки из карманов не достал.

Я не вытерпел и потрогал.

Он выглядел гладким и скользким, как торпеда, но на ощупь оказался

совершенно другим, теплым и чуть шершавым, совершенно сухим, если бы я не видел его глазами, я никогда не поверил бы, что это боевая машина. Машина не могла быть такой, машины холодные и ржавые, я не люблю машины...

Или я слишком устал, чтобы бояться? Когда ты не боишься, это значит все. Но я устал бояться. Я не знал, что делать. Я хотел лечь на дно лодки и лежать. Хотел спать. Жить хотел. И они, они тоже хотели жить. Мы все хотели жить. Господи, посмотри же на нас!

Крильон

– Был с детства склонен к путешествиям и авантюрам, – сказал капитан.

– Хотели увидеть мир, – добавила я.

– Да, хотел. – Капитан улыбнулся. – Поэтому, наверное, я и стал моряком. Я слишком любил горизонт. А вы?

– Я любила горизонт еще больше, – ответила я. – И стала футурологом. Хотя и стихийно.

– Футурологом? Разве сейчас существует футурология? Вы это серьезно?

– Прикладная футурология, если точнее. Кафедра прикладной футурологии Токийского университета, – уточнила я. – Направлена на остров Департаментом Этнографии под эгидой Академии Наук.

– Департамент Этнографии... С ним я, кажется, пересекался. Но прикладная футурология... На это в наши дни дают деньги?

Да.

– Не то чтобы очень большие, но да, определенные средства выделяются, – ответила я. – Видите ли, до Войны в основном прислушивались к экономистам и политологам, оказалось, все они нагло ввали. За деньги или в силу других обстоятельств, так или иначе. В то же время выяснилось, что некоторые футурологи смогли спрогнозировать развитие ситуации с относительно высокой долей достоверности. Так что теперь к нам прислушиваются отчасти, хотя, конечно, не очень.

Капитан серьезно кивнул.

– И много вас на кафедре? – спросил он.

– Нет. Три человека всего. Собственно, мы пока накапливаем массив, концентрируем информацию, прорабатываем полевые методы...

– Полевые методы?

– Да. У нас же прикладная футурология, она несколько отличается от классической. Собственно, это не традиционная прогностическая система, а, скорее, метод воздействия... Впрочем, это сложно.

– Прикладная футурология... – покачал головой капитан.

– Да, все так. Но определенная этнографическая компонента меня также интересовала. Чиновники островной администрации имеют определенное профессиональное искажение, оно не позволяет им адекватно оценивать ситуацию...

– Думаю, теперь это не очень актуально, – печально перебил капитан.
Да, действительно, глупо.

Капитан расколол лед несколькими точными ударами и высыпал его в пузатую хрустальную вазу; откуда-то сверху и сбоку проникали солнечные лучи, причем не имитация, а на самом деле солнечные лучи, видимо, добравшиеся в каюту по гибким световодам, эти лучи струились с разных сторон, попадали на вазу, и хрусталь вспыхивал бриллиантами. Мне казалось, что это не случайно – графин стоял в самом подходящем для красоты месте.

Капитан разрезал ножом несколько лимонов, и над столом повис лимонный туман, запахло точно другим миром, чистым и новым; капитан, вооружившись серебряной вилкой, стал выжимать в графин лимонный сок и мякоть; он делал это быстро – и методично, и скоро графин наполнился соком до трети, и только после этого он добавил в сосуд ломаный лед.

Лимонад. Примерно по такому же рецепту делала лимонад мама, правда, она всегда добавляла для аромата и красоты дольки апельсина. Но у капитана имелся несколько иной рецепт, капитан поставил на стол полированную черную шкатулку и извлек из нее несколько матовых, по виду платиновых, пробирок и, свинтив с них крышки, добавил в графин по капле из каждой. И с каждой каплей со льдом происходили определенные метаморфозы – лед трескался, рассыпался в кубики и снова затвердевал и менял цвет, и после последней капли весь сок, который был в графине, впитался в лед. Капитан добавил в него большую ложку крупных золотых шариков, заправил газировкой из сифона и разлил по стаканам.

– Коктейль «Мак Артур», – сказал капитан. – Угощайтесь.

Каждый из миноносцев имеет свой коктейль, это, опять же, известно всем. Рецепт напитка хранит капитан, и угощают им старших и младших офицеров два раза в год, матросов же лишь раз в год, в день тезоименитства.

– А что подают на «Эноле»? – не удержалась я.

Капитан не ответил, достал золотой портсигар и закурил необычные коричневые папиросы, похожие на сушеные корни растения, пахнувшие корицей и шоколадом, причем курил капитан сразу две штуки, по одной в каждом уголке губ, при этом умудряясь держать их совершенно параллельно.

– Обстановка скверная, – сказал капитан негромко. – Я бы сказал, что она весьма и весьма...

Капитан замолчал, вдыхая и выдыхая шоколадный дым.

– ... скверная. Знаете, давление с запада... возрастает с каждым часом.

Вы же должны понимать.

Я понимала.

– Вы, как я понимаю, успели встретиться... с инфицированными, – сказал капитан.

– Да.

– Значит, вы не можете не представлять, насколько все серьезно.

Капитан был похож на капитана, невысокий, седой, с коричневым лицом. Каюта была большая, не думала, что на миноносцах возможны такие пространства. Хотя это седьмое поколение, тут у них, наверное, все возможно. Сама каюта тоже весьма капитанская, на стенах оружие, коллекция сломанных сабель и кортиков, стилеты, подернутые патиной, рынды с вырванными языками. Это убранство меня не удивило: многие капитаны собирали как раритеты, так и вполне обычные некогда вещи. Например, капитан «Мак Артура» собирал стекло. Этого я не ожидала, редко кто собирает стекло, да и мало его осталось, а здесь вполне себе коллекция, небольшие разноцветные стеклянные фигурки животных, ростом, может, в полпальца. Капитан сентиментален.

Коктейль был удивителен. Холодный, лимонный, искристый, безусловно, лучший коктейль в моей жизни, и еще некоторый вкус, неуловимо знакомый, но неопределимый, из далекого детства, времени, когда я жевала лакричные тянучки, приготовляемые бабушкой, и смотрела на океан в бинокль отца в ожидании «Эспаньолы». А еще много лимонных зерен, их можно было удалить, но капитан оставил их в бокале вместе с золотом. Золото принято глотать, такие напитки подают на императорских приемах, я с ними уже встречалась, немного декадентски, но и приятно, разумеется, золотые шарики смешно и тяжело скатываются в желудок.

– Мы можем переправить вас на Южную базу. – Капитан закурил новые папиросы. – Нет, я с удовольствием доставил бы вас и до дома, но у нас другая задача, вы должны понимать...

Я опять понимала, ясно, что задачи другие.

– Может, вы желаете поговорить с отцом? – спросил капитан. – У нас есть устойчивый канал. Он, должно быть, обеспокоен. Вы попали на Сахалин не в лучшее время. Думаю, ваш отец был бы рад...

Капитан курил. Я глядела на него и пыталась вспомнить, где я его видела. Ведь наверняка я его видела, если он знает отца... Хотя у нас все друг друга знают, высшее офицерство Империи, бал Первых цветов, благородные собрания, мы, видимо, встречались.

– У нас есть свободная каюта, – сказал капитан. – Через двенадцать дней мы возвращаемся в базу, так что...

– Я не одна.

Капитан посмотрел на сигарету в руке, потом на лимонад, потом снова на сигарету, предпочел сигарету.

– Да, разумеется. – Он закурил. – Я это и имел в виду. Он свободный, как я успел заметить. Прикованный к багру, если не ошибаюсь?

– Да.

– Это хорошо. Проблем не должно возникнуть. Если он Прикованный к багру, то включен в иммиграционные списки, можно уточнить, но я вам, разумеется, верю. Каюта достаточно просторная...

– Я не одна, – повторила я.

Капитан выудил из стакана кусок льда и приложил к виску, о другой висок он загасил окурок, при этом зажмурился с явным удовольствием. Старый. Хотя не совсем старый, как отец, примерно старый капитан.

– Сирень, вы же понимаете... – Капитан бросил окурок в стену. – Вы же знаете, нарушение режима изоляции наказуемо... Это приравнено практически к государственным преступлениям.

Капитан потрогал висок, я заметила, что там у него ожог толстый и давнишний, странная привычка; хотя у моего отца есть привычки и пооригинальнее. Золото, золото тяжело шевелилось в моем желудке.

– Я не могу нарушить режим изоляции, – сказал капитан. – Не могу. Вы же знаете, лица со спорным геномом не могут покинуть остров, равно как...

– Равно как и лица, относящиеся к группам, ограниченным в правах.

– ...китайцы, корейцы и прочие приравненные к ним, – закончил капитан.

– Но это не лица, – сказала я, – это экспонаты. Департамент Этнографии крайне заинтересован в их изучении.

– Они не пройдут карантин, – мягко ответил капитан. – Я в этом больше чем уверен. И вы это знаете.

Я промолчала. Конечно, я знала, не могла не знать. Я сидела и смотрела на него. А он на меня. Было тихо-тихо, я не слышала ни двигателей, ни моря, все-таки седьмое поколение. Тишина, компенсаторы инерции, полностью управляемые векторы тяги, полная автономность и много-много чего еще, техника завтрашнего дня все меньше походит на технику, все больше на живые существа. «Мак Артур» напоминал кита.

– Департамент Этнографии возлагает определенные надежды... – пробормотала я. – У меня есть предписание префекта, мне обязаны оказывать содействие...

Капитан помотал головой.

– К сожалению, – сказал он, – есть ситуации, когда ничего сделать нельзя. Я могу забрать только вас и вашего спутника. Остальным мы предоставим запас... пищи и воды на несколько недель. И надувной плот.

Я молчала.

– У нас получается странный разговор, Сирень, вам не кажется? – произнес капитан.

– Да, безусловно.

– Мы оба осознаем, что ситуация качнулась в непредсказуемую сторону. Осознаем, что в данной ситуации я не могу сделать то, о чем вы просите.

– Я не прошу, – сказала я.

Золото. Каждый год вулкан Кудрявый на Итурупке выбрасывает в воздух двадцать тонн золота. Если из них наделать золотых шариков, то этого хватит на миллион коктейлей «Мак Артур».

Я не прошу.

– Я ничего не могу, – сказал капитан. – Ничего.

– Расскажите о будущем, – попросила я.

Капитан ничуть не удивился просьбе, он отпил из стакана и стал рассказывать. Он не торопился, начал со времен предыдущей Реставрации, с рассказа о том, как его прапрадед обнаружил в себе талант вырезать деревянную обувь и скоро стал известным мастером. Капитан рассказывал про своих предков и про талант, который переходил от одного к другому, а я ждала, когда же начнется будущее. Разумеется, оно началось с дымом и порохом, которым в один из дней задышал западный ветер.

Он уложился примерно в пятнадцать минут.

– Как вам такое будущее?

Капитан улыбнулся и потрогал себя за нос.

– Думаю, вы сгущаете краски, – заметила я. – Игольное ушко будет не таким уж игольным. Впрочем, там поглядим.

– Вы правы, скоро увидим. Но лед тонок, тонок и слаб, и не все пройдут по нему, мне тоже так представляется. Лед тонок, это начинаешь понимать не сразу, конечно, но со временем.

Капитан достал из часового карманчика часы, турбийон, поздняя швейцарская школа, заслуженный аппарат, надежный и прочный, уже пережил своих прежних хозяев и переживет своего текущего хозяина.

– Через три часа мы принимаем под конвой сухогруз, идущий на Вакканай, – сказал он. – Я думаю, что мы сумеем с ними договориться.

Я поглядела на капитана. Наверное, в моем лице случилось что-то непристойно дикое, поскольку капитан неожиданно рассмеялся коротким

мальчишечьим смехом.

– Хорошо, – сказал он. – Хорошо, мы доведем вас до сухогруза.

Я поднялась, золотые шарики шевельнулись в желудке.

– С вами было очень интересно, – сказал капитан. – Спасибо вам, Сирень, я буду вас помнить.

Откуда-то из сплетения света и тьмы показался офицер и проводил меня из каюты капитана, я с трудом удержалась, чтобы не сказать ему спасибо, это бы все испортило, капитан меня бы не понял.

Офицер долго вел меня через внутренности миноносца, которые длились и длились, я не видела ничего, кроме стен вокруг, никаких технических вещей, ни ламп, ни обозначений, мы шагали по коридору, он представлял собой трубу овального сечения, светившуюся равномерно. Труба была проложена не прямо, а с извивами, так что мне представлялось, что мы продвигаемся по аорте огромного морского животного, мы шагали и шагали, и казалось, что прошли несколько километров, как вдруг офицер остановился и свернул влево, в стену, я за ним.

Дети спали. Они лежали рядом на невысоком диване, спали: трое, найденных в лодке, и Ерш, найденный на берегу. Артем сидел напротив на таком же диване и тоже спал, вытянув ноги. А я знала, что он не спит, но не стала подавать виду, хотя, думаю, он догадался, что я поняла. Села рядом с ним и вытянула ноги.

Хорошо. И снова тихо в двадцатый раз я подумала, что здесь очень тихо, так тихо, что я стала подозревать, что «Мак Артур» перешел в режим субмарины. Мир исчез, рассыпался и стал не нужен, остался только здесь. Я положила голову ему на плечо, Ерш дернулся и ударил костяшками пальцев в стену.

Время тянулось, или летело, или ползло, не знаю. Здесь не было ни иллюминаторов, ни ламп, свет и тепло, и полная тишина, в которой гремела кровь, бьющая в голову. Я сидела рядом с ним, вытянув ноги, и думала. Ну, что мы умерли. Да, умерли, где-то между Ловецким перевалом и берегом и лежим там, в канаве. У подножия сопки. Под черными сожженными деревьями. В колючей зеленой траве, я не помнила ее названия. Я знала, что это не так, мы живы, мы на борту «Мак Артура», миноносца седьмого поколения, он сейчас идет на юг по проливу, но все равно. Это из-за тишины.

Тепло. Стены не металлические, а из какого-то упруго-твердого материала, а цвет непонятный, то ли зеленый, то ли синий, от такого хочется спать, но мы не спали. А Ерш спал, и трое этих спали, вокруг было темно и хорошо, и вдруг я остро это поняла. То есть не поняла, а

почувствовала.

Будущее.

Я вдруг совершенно спокойно осознала, услышала его приближение. Профессор говорил про это, он даже пытался меня учить слышать, но я была глуха, бесчувственна и неспособна. Но здесь, в этой остановившейся тишине я неожиданно услышала, как кружится на невидимых нитях прекрасный и невесомый грядущий мир. Там, слева, к востоку мимо меня проплывал остров Сахалин, и мое прошлое оставалось с ним, кожа, моя кожа, сожженная солнцем и зацепившаяся за сопки Невельска, слезала и оставалась с этим островом и с этим временем, а я продолжала двигаться, и было легко, и новая кожа была гладка и чиста, моя голова лежала на плече Артема, и я знала, что он не спит.

Все сделалось не важно. Я попыталась вспомнить, но вспомнить смогла немного: отца, и маму, и бабушку, и профессора, и ручей возле нашего дома, в котором водились длинные серебристые рыбки, бабушка кормила их булкой и называла уклейками. Я помнила старика, который ходил по улице в нашем квартале и продавал свистульки, призывающие духов, и добрых, и злых, старик был сумасшедший и постоянно путал, какая свистулька каким духом заведует, и все окрестные дети над ним потешались и привязывали к его халату на нитках шмелей, и за стариком всегда тянулась жужжащая стайка. А соседский мальчишка научил меня вырезать на камнях, мы ходили к заливу и набирали там в корзину камни, похожие на большие черные яйца. Мы варили эти камни в медном котле, после чего отверткой проковыривали на их поверхности свои имена, а я приносила валенок – чтобы полировать поверхность камней. А еще мы ходили слушать старый мост, стоящий над пересохшей рекой; это было интересно – я прикладывала ухо к проржавевшей ферме и слышала перестук колес и гудки давно остывших паровозов, я их слышала совершенно отчетливо, чувствовала, как по щеке пробегает дрожь.

Сухое дерево в конце улицы, в его кору глубоко вбиты серебряные гвозди от злых душ, а еще возле него жила тощая черная собака, а раз в три года на ветках его появлялись цветы, причем этот год всегда случался засушливым. Муравьи, обитавшие на веранде нашего дома и каждый день воровавшие со стола сахар, и самодельные спички, самодельные спички.

Папа, мама, бабушка, профессор Ода и его коллекция свинцовых plomb, собрание Императорских печатей, его трубка и дом, тепло и печь, и крики последних чаек, записанные на магнитофон, все остальное размылось и сделалось малоразличимым и серым, новый сияющий мир безнадежно прорывался сквозь упаковочную бумагу мира старого, свет

залил остановившиеся мгновения. Свет.

«Каппа». Нет, я думала, что мне это показалось, но это была действительно «Каппа». Она покачивалась в нескольких метрах от борта «Мак Артура» и выглядела значительно хуже, чем когда я видела ее в последний раз; вся правая сторона судна почернела от огня и порыжелела от ржавых потеков, видимо, случился пожар, который не очень успешно потушили – кроме сажи и ржавчины на корпусе «Каппы» виднелись блестящие задиры. Между судами переливался безобразный буферный пузырь, по нему протягивался трап к сухогрузу, палуба которого чернела людьми, причем чрезвычайно густо, они стояли почти друг на друге. Впрочем, я отметила, что от борта, которым «Каппа» швартовалась к «Мак Артуру», толпа отхлынула.

Офицеры «Мак Артура» проводили нас до трапа, они нам помогли, взяв на руки двух мальчишек. Артем подхватил на руки найденную девочку, Ерш же привычно залез мне на спину. Надо придумать им имена.

Трап приплясывал на пузыре, он походил на серую лоснящуюся медузу, и мы перебирались на борт «Каппы» довольно долго, медуза шевелилась под нами, крайне неприятное ощущение – ходить по такому большому и живому.

«Каппа» ждала. С нетерпением, вернее сказать, нетерпеливо, раздраженно и вынужденно, озлобленно, «Каппа» бежала, а мы ее задержали, наверное, поэтому на нас смотрели странно, скажу более, враждебно, хотя расступались безропотно.

«Каппа» была совсем другая. Ее палуба тряслась крупной дрожью, отчетливо отдававшейся в ноги, кроме того, здесь отчетливо ощущалась качка, чего вовсе не чувствовалось на снабженном компенсаторами «Мак Артуре».

А еще здесь чувствовалась вонь. Солдаты, чиновники, какие-то люди, грязные, потные, в оборванной одежде, настоящая толпа бродяг, и все японцы, я давно не видела столько измученных японцев, на их фоне команда «Мак Артура» выглядела настоящими инопланетянами, в белоснежных перчатках и в белоснежных же кителях, с гладкой, светлой кожей, не привыкшей к морским ветрам.

Нас встречал помощник капитана Тацуо. Он сдержал слово, даденное в момент высадки на Сахалин, – обещал, что каюта останется за мной, и она осталась. Ее заставили ящиками и завалили мешками, так что для жизни осталось не много места, но зато койка и стол оказались свободны, Артем разложил койку второго яруса, запрыгнул туда и уснул, а помощник капитана стоял в дверях и смотрел, как мы устраиваемся.

Тацуо за то время, что я его не видела, посерел и похудел, но телесные потери он возместил новым непромокаемым френчем и ботинками с серебряными – это помощник Тацуо подчеркнул особо – подковами, видимо, он вырос в судовой иерархии, поскольку стал еще надменнее, а глупость его концентрировалась как соль в опреснителе. На меня Тацуо поглядел с большим воодушевлением и с ехидством осведомился, удачен ли был мой вояж, я ответила, что более чем удачен. Тацуо с презрением поморщился на Артема и на детей и объявил, что «Каппа» не в состоянии развить должную скорость, поскольку один из котлов пострадал во время пожара, из-за чего машина не развивает мощность, так что до Вакканы придется шлепать и шлепать, но ничего, как-нибудь дошлепаем.

Я ему улыбнулась. Корабль дрогнул, отталкиваясь от «Мак Артура», Тацуо отозвали по судовым делам, «Каппа» легла на курс, каюта наполнилась грохотом и лязгом.

Дети играли. Я не знала эту игру. Они собрались в кружок, разложили на полу кубики со знаками, красные пластиковые фигурки людей и зеленые фигурки динозавров, монеты разных размеров и два прозрачных шарика. По очереди кидали шарик, двигали человечков или динозавров, все это они делали молча, и, что удивительно, Ерш играл с ними, как будто давно знал правила, а может, он их и знал, точно знал, в этом нет ничего удивительного, может, и я знала их когда-то. Они играли молча и сосредоточенно, лишь иногда из-за наклона пола каюты шарик укатывался в дальний угол, и тогда Ерш поднимался на ноги и шел за ним и ловил шарик беспальными ладонями, а остальные его ждали, а когда он возвращался, начинали играть снова.

Артем спал. На этот раз он спал по-настоящему, устроившись на койке и вытянув ноги, погрузился в оцепенение.

Было жарко. Дети разделись. Эти новые дети скинули куртки и остались в нарядных футболках разного цвета, и на каждой футболке было изображено какое-нибудь животное, но не по-настоящему изображено, а юмористически, а Ерш все продолжал сидеть в моем старом красном свитере. Я тоже не стала снимать макинтош, мне казалось, что без него я останусь беззащитной, а в нем хорошо и спокойно. Я сидела в углу. Сушеные морские звезды все так же покачивались под потолком старой знакомой каюты, они окончательно протухли от жары и влажности и упорно распространяли зловоние, к которому мы, впрочем, быстро привыкли и перестали его чувствовать.

Помощник капитана Тацуо никак не мог нас оставить, он то исчезал, то снова появлялся в дверях и пялился, заходил без стука в каюту и

приваливался к стене недалеко от меня и говорил бесконечные глупости, а порой и откровенный бред. Об угле, которого не успели загрузить достаточно, о боцмане, который стал решительным и законченным скотом и научил половину команды ловить тараканов, жарить и употреблять в пищу, о том, что персонально у него, помощника капитана Тацуо, есть перспективы, потому что он хорошо себя показал во время паники в Холмске, и хотя в Холмск они вряд ли вернутся в ближайшее время, он рассчитывает стать старшим помощником. Да, после того ада, что приключился в Холмске, он твердо рассчитывает на это место, кроме того, – тут помощник Тацуо переходил на доверительный шепот, – он позаботился о некоем благополучии, которое в обозримом будущем еще и непременно прирастет, поскольку можно говорить что угодно, но остров потерян, с этим может спорить только непроходимый болван. А это означает, что все сложившиеся с островом негодии нарушатся и волей-неволей придется настраивать новые, а из доступных для негодий территорий остаются лишь маршруты к Курильской гряде, а там у него так замазки замазаны, что не пройдет и пяти лет, как он, Тацуо, спишет на берег и откроет мыловарню, мыловарня сейчас актуальна. Мне не хотелось ничего слушать про мыловарни, прачечные лавки и прожарочные кабины, про то, что с пресной водой недостаток, и он обострится, когда с острова сбегут все японцы. Не пройдет и месяца, как страна завшивеет, а он знает секрет ловушек для вшей, абсолютно эффективных, абсолютно незаметных, за такими ловушками будущее. А можно открыть вентиляторную мастерскую...

Тацуо посмотрел в потолок и сообщил, что и система вентиляции из-за пожара вышла из строя, поэтому придется потерпеть. И на борту в три раза больше народу, чем положено. И груза взяли изрядно. Я не представляю, каких ему, Тацуо, сил стоило сохранить эту каюту, а он сохранил. А материалы для вентиляторов он спрятал в трюме...

«Каппа» плелась неспешно, и чем дальше она уходила от Сахалина, тем сильней становилась качка и тем жарче становилось в каюте; открытый иллюминатор не спасал, попытки открыть дверь в коридор ухудшали положение – в каюту немедленно начинало просачиваться дыхание всех, кто сидел в коридоре.

Постепенно детей сморило, игра их замедлилась, фигурки двигались по полу медленно и неуверенно, Ерш стал зевать, и остальные стали зевать за ним, и я стала зевать, а Тацуо рассказывал правду про мыло – оказывается, что все дешевое мыло, продающееся в москательных лавках, варится из сахалинских мертвецов. Слухи о том, что мертвецами топят

электростанции, есть бессовестная ложь, мертвецами топить нельзя, но зато из них получается отличное мыло, из каждого примерно два куска, поскольку мертвец маложирный и негодный, зато из сожженных лесов отличная зола, главное, знать точную пропорцию.

– Принеси нам воды, – попросила я. – Воды, пожалуйста, здесь очень жарко.

Тацуо ухмыльнулся, поправил на груди бинокль.

– Воды не хватает, баки пусты. Слишком много там... – Тацуо указал пальцем вверх.

– Вы же должны осознавать, – сказал он. – Мне огромных трудов стоило найти для вас место, особенно в такой компании.

Тацуо кивнул на спящих:

– Это ведь, кажется, корейцы?

– Нам понадобится вода, – повторила я. – Принеси воды. Хотя бы бутылку.

Помощник капитана Тацуо вздохнул.

Я опустила руку в карман макинтоша, в правый карман.

Я нащупала его давно, еще когда поднялась на борт миноносца, он уютно лежал в кармане, выдавив в подкладке дыру и теперь удобно устроившись в ней, и он очень не хотел покидать свое местечко. Я пыталась выудить его двумя пальцами, а он не поддавался, выskalывал и тяжело возвращался обратно, мне чудилось, что он нарочно покрылся испариной, но это, разумеется, был всего лишь мой пот. И разумеется, я победила.

Тацуо понял, что это, глаза его замаслились от жадности и от перспектив, он взял кусок металла и зажал в кулаке и явно не собирался выпускать, в его голове крутились мыловарни, пивоварни, скобяные лотки и прочая мелкая буржуазия, и домик, и каждый вечер медный таз с разогретым красным песком, в котором можно держать ноги, да мало ли.

– Нам нужна вода, – повторила я.

Тацуо скрипнул зубами, удалился и вернулся минут через пять, под френчем у него оказалось несколько гибких полиэтиленовых трубок для закладки аммонита, но сейчас они были наполнены не взрывчаткой, а водой. Три кишки, и в каждой примерно поллитра, немного и теплая, нагретая Тацуо. Я поинтересовалась, не слишком ли мало, помощник капитана обещал принести еще, но позже.

Он ушел, а я положила кишки с водой на полку под иллюминатором, мне хотелось, чтобы они проветрились от Тацуо, чтобы солнечное тепло вытеснило из воды тепло помощника капитана. Сухогруз раскачивался,

солнце снаружи покачивалось вместе с ним, и лучи, проходящие через воду, скакали по полу. А дети воду почуяли, каюту заполняла вонь стухших морских звезд и запах Тацуо, но они почувствовали воду, проснулись и захотели пить.

Я проколола в кишке дырку и налила в кружку, они пили и морщились, рассказывали, что у них дома часто была апельсиновая вода, очень вкусная и холодная, не то что эта, а Ерш молчал. Глаза у него разные: один синий, другой красный.

После воды они продолжили играть в свои фигуры, но это продолжалось недолго, потому что они уснули опять, от жары и от качки. Только я не могла спать, думаю, из-за этих золотых шариков в желудке, там как будто пули лежали. Не сиделось и не лежалось, я чувствовала беспокойство, папа и мама всегда спорили, где в человеке сидит душа, и папа уверенно отвечал, что в животе, где-то в районе солнечного сплетения, а мама склонялась к мысли, что душа помещается в груди, возможно, она вообще не помещается в теле, витает где-то рядом, над головой. Теперь я думала, что отец прав.

Я сдернула с нижней койки плед и накрыла уснувших на полу детей, покрывало было большое, и его хватило на всех. Сама я села на койку. Опять явился Тацуо, он принес еще воды, но немного, сказал, что сумеет достать еще вечером, сказал, что мы подползаем к Крильону и что дело плохо, поскольку весь берег на подходе к мысу заполнен трупходами. Их очень много, очень, они упираются в стену, отделяющую военную базу. Про значительное количество инфицированных Тацуо сказал, впрочем, с удовольствием, видимо, прикидывал, сколько из инфицированных можно сделать мыла, когда они будут не трупходами, а трупотрусами. Много мыла. МОБ держится в живом носителе и погибает через несколько минут после остановки сердца, так что для мыла все сахалинские мертвецы ой как сгодятся, мы будем завалены мылом, обеспечены мылом на сотню лет вперед, обречены на мыло на тысячу лет вперед... Почему я обречена на Тацуо? Мне никак не нужен сейчас Тацуо, но Артем спит, а этот бодрствует, что у них тут за порядки на судне, чем он тут занимается? И капитана я не видела, ни в прошлый раз, ни сейчас, может, его и нет уже, может, корабль управляется призраками и сумасшедшими, «Каппа», каторжный каботаж, корабль обреченных, курсирующий через Стикс с сумасшедшей командой, с больными и безумными пассажирами.

Я вспомнила Ину, убийцу из соседней каюты, вспомнила, как он выл по ночам и бился в стены, из Ину тоже получится хорошее мыло. Тацуо рад, время Тацуо, в этот раз он принес с собой раскладной бамбуковый

стульчик и бесцеремонно устроился напротив меня. Он пребывал в прекрасном настроении и от этого был навязчив и невыносим особо, то и дело он доставал из кармана слиток, перекладывал его из ладони в ладонь, я слышала про такое, звездная медь воздействует на людей, на всех по-разному, многие на ней сосредотачиваются чересчур, гипнотически.

Меж тем гул машин начал стихать, вибрация уменьшилась, и стаканы на столе перестали подскакивать, видимо, Крильон на самом деле был уже рядом, и «Каппа» замедляла ход, намереваясь снять с берега тех, кто еще остался.

Помощник капитана Тацуо услышал это и отвлекся от металла, спрятал его в кожаный мешочек на шее и удалился, чему я обрадовалась гораздо больше, чем воде. Вряд ли долго простоим, насколько я знала, у Крильона причала не было. Значит, приблизимся насколько сможем, к берегу пошлют лодку, подхватим отставших и в путь. Интересно, что дальше? Блокада, это понятно, изоляция. Через месяц, когда погибнут последние инфицированные, берег освободится. Потом... Видимо, команды огнеметчиков, кислотная промывка, «агент V», год-другой остров, конечно, будет безжизненным, а дальше...

Наверное, все сначала.

Монерон, Холмск, Углегорск, «Три брата», еще одна страшная легенда, еще одно жестокое чудо, да кого нынче этим удивишь?

«Каппа» встала. Якорь опускать не стали, просто убрали ход, сейчас подойдут лодки.

Дверь открылась, в каюту вошли двое, корабельные офицеры, но среди них не было помощника Тацуо, хотя я этих двоих видела раньше, но запомнила плохо. Один, тот, что вошел первым, начал кричать, прямо с порога, чтобы мы выметались отсюда, что надо освобождать помещение. Я потребовала позвать помощника капитана, но они не слушали, первый орал, а второй начал стучать в стену, Артем проснулся.

Артем молчал. Он изменился и больше не походил на себя прежнего, стал чересчур спокойным и уверенным, точно в нем вдруг проснулось какое-то недоступное мне знание, новая суть, вселявшая в душу пугающий покой и какую-то радость, что ли. В нем и так не было страха, я чувствую страх, он есть во всех людях, даже в моем отце, даже в профессоре Ода, в Артеме тоже присутствовал страх. Немного, на доньшке, а сейчас его не было. Страх кончился.

Я назвала имя и сказала, кто я, но пришедшие офицеры не слушали. Артем двинул плечом, но я покачала головой – не надо.

Нас вывели на палубу. Не грубо, скорее брезгливо, стараясь не

прикасаться.

Солнце светило. Жара.

Крильон.

Я хотела увидеть Крильон; он несколько отличался от фотографий, которые я видела раньше. Мы вышли к мысу с северо-запада, и он отлично просматривался в полуденном воздухе, берег, скала, скалы, маяк; правда, на всех снимках Крильон был зелен, покрыт травой и часто цветами, сейчас ничего этого не осталось. По берегу с заходом в воду ржавели мощные заграждения, фермы, вкопанные в землю, густо увитые колючкой, причем сами фермы стояли в два ряда, перегораживая мыс поперек.

На огороженном участке сосредотачивалась техника, в основном транспортеры, грузовики и автобусы, они стояли нос к носу, брошенные, с открытыми дверями и выбитыми стеклами, и издали походили на стадо овец, забытое пастухом. Здесь же валялось барахло. Ветер гонял бумагу.

На скале возвышалась радиомачта, а рядом с ней маяк, в его зеркалах по-прежнему сияло солнце, и он отчего-то выглядел празднично и неподходяще, казалось, что его построили недавно, а двухэтажные бараки, расположенные вокруг маяка, лениво горели, отчего в небо поднимались три столба черного дыма.

У подножия скалы на черном песке кучкой стояли люди, военные сил самообороны, человек двадцать, не больше, наверное, те, что еще не успели эвакуироваться, видимо, «Каппа» шла за ними. На берегу рядом с военными лежали оранжевые резиновые лодки, что было странно – отсюда до Японии, в общем-то, недалеко, почему нельзя добраться своим ходом? Хотя понятно: едва сухогруз приблизился к берегу на милю, военные спустили свои лодки на воду и направились к нам на веслах, судя по всему, двигатели на их лодках были неисправны.

Да, еще. За колючей проволокой кишели люди. То есть, разумеется, уже не совсем люди, инфицированные, много, тысячи, они пришли сюда со всего Южного Сахалина и теперь стояли возле преграды. Стена из колючей проволоки прогнулась и натянулась под давлением, и те, что стояли возле самой проволоки оказались продавлены сквозь нее и выпадали на другую сторону кусками мяса.

Лодки с берега приближались к «Каппе», довольно быстро, на море никакого волнения и ветер попутный, и гребли военные сильно, налегая на весла. Артем улыбался и угощал чем-то детей, они ели и выглядели понуро, боялись, а Ерш то и дело оглядывался на меня, а я ему улыбалась, я не могла понять. Я, наверное, все-таки отупела, переутомленный мозг то и дело отключался, бытие мерцало, и приходилось прилагать усилия, чтобы

склеивать куски реальности в единое.

Да, действительно, я отупела. Потому что поверила Тацуо. Уже на палубе Тацуо сообщил, что каюта нужна для того, чтобы принять с берега раненых бойцов, которые не могут стоять на ногах ввиду сложности своего состояния. Я поверила. Артем не поверил, он же не такой дурак, он умный, он только чуть кивнул. Артем где-то раздобыл белую веревку, наделал на ней петель, и теперь дети за эти петли держались, и Ерш держался. Я подумала, как легко Ерш нашел общий язык с остальными и как они его приняли, они ведь тоже никогда не видели других людей. Все легко.

На палубе происходило копошение, толпа шумела, кто-то смеялся и пел, но едва мы вышли наверх, как все замолчали, Тацуо проводил нас к левому борту, объяснив это тем, что тут меньше народу и чище воздух. Я сказала, что мы не собираемся тут сидеть, особенно ночью, но помощник капитана заметил, что эти неудобства до вечера, потом они ужмут место в каютах и снова найдут, где нас расположить, а до вечера он принесет брезент. Тацуо продолжал выглядеть самодовольно и то и дело поглядывал на свой пояс, на котором теперь висел большой пистолет в кобуре.

Я продолжала спорить с Тацуо, мы спорили о брезенте, я требовала брезент немедленно, а Тацуо говорил, что его сейчас принесут, что он послал людей и они вот-вот его принесут, кроме того, он сумел договориться о воде, целая бутылка, хватит всем, а потом толпа расступилась и перед нами вдруг оказались солдаты. С них стекала вода, видимо, именно они причалили на лодках к «Каппе», бойцы сил береговой охраны, изможденные и явно страдающие обезвоживанием, с ввалившимися щеками и дикими, перепуганными глазами. К нам выступил молодой лейтенант с перевязанной головой и штурмовой винтовкой под мышкой, Тацуо замолчал и отступил в сторону.

Лейтенант покачивался и смотрел на меня хрустальными глазами, у него дрожали руки. Лейтенант начал говорить, и некоторое время я не понимала, что ему нужно, он говорил и говорил, а слова его пролетали мимо, я не сразу стала их понимать, но потом стала. Он говорил то, что я должна отойти в сторону. Что я нарушаю режим изоляции, пытаюсь провезти на территорию Японию лиц с поврежденным геномом и к тому же корейцев. Что я занимаю неполноценными корейцами место, необходимое для раненых. Что он, лейтенант, при таком раскладе не может гарантировать мою безопасность и безопасность моего сопровождающего – лейтенант покосился на Артема. А я поглядела на Тацуо, но он разглядывал свой пистолет и ковырял ногтем кобуру, был занят совершенно другим, а Артем улыбался и выглядел расслабленно, зевал и поглядывал вокруг,

точно ничего и не происходило, он тоже что-то грыз, не знаю, где он нашел еду, не знаю, откуда у него вообще аппетит. Они обступили нас, плотно и жадно, от них воняло сильнее, чем от моря, казалось, что они нарочно дышат в мою сторону.

Я спросила, что он хочет, лейтенант ответил, что я должна немедленно освободить судно от лиц нежелательного статуса, что у них будет лодка, и они смогут добраться до берега – лейтенант указал стволом винтовки: бараки разгорались, и маслянистые дымы поднялись еще выше. Я ответила, что это дети и эти дети не способны самостоятельно куда-то добраться, но он не хотел слушать. Тогда я назвала ему свое имя, но лейтенант рассмеялся и сказал, что ему насрать. Что я или остаюсь здесь, или он сажает меня в лодку вместе с корейскими ублюдками, что его бойцы не заслуживают, что он сам не заслуживает... Что я позорю своего отца, если бы мой отец видел меня, он бы сдох, сдох бы три раза, а потом сдох бы еще раз, наверняка.

А я ответила, что лейтенант может подавиться тем, что он думает, потому что, если он посмеет дотронуться до меня хоть пальцем, я отрежу ему этот палец и заставлю сожрать.

Жаль, что у нас больше не было оружия. Никакого. Артем стоял, сунув руки в карманы, и улыбался, а я не могла улыбаться, я кинулась на лейтенанта, лейтенант же оказался расторопен, невзирая на рану головы. Я бросилась на него, а он вскинул штурмовую винтовку.

Думаю, он сломал мне нос, но тогда я этого не заметила – удар в лицо, и темнота, и только что-то качается под спиной. Когда я открыла глаза, обнаружилось, что это палуба.

– Артем!

Я позвала Артема.

Он не ответил. Он должен был мне ответить, но промолчал, я попробовала сесть, у меня не получилось, слишком тяжелый лоб, настолько большой и тяжелый, что я его могла видеть. Я позвала снова и в этот раз села.

Тацуо протянул руку, но я справилась и без него. Тацуо говорил.

Берег был далеко, думаю, мили две или даже больше, «Каппа» уходила в пролив.

Я вцепилась в борт, Тацуо стоял рядом, он никак не мог заткнуться, он все говорил, вернее, объяснял, показывая пальцем, стараясь сбоку заглянуть мне в глаза.

Это он сам. Нет, правда, сам, его никто и пальцем не коснулся, он сам. И все это добровольно, они сами забрались в лодку, сами. И он сам

спустился, никто его пальцем не коснулся, напротив, лейтенант удержать его хотел, честно, на самом деле удержать хотел, но он слушать не стал, спустился в лодку.

Я поглядела на берег. Крильон. Пляж с темным песком и черной галькой. Маяк, горят бараки, и дым все выше, а зеркала на маяке блестят как ни в чем не бывало, и слева от скалы на пляже оранжевая лодка. И пять фигурок рядом – четыре маленькие и одна побольше.

Тацуо никак не замолкал, бормотал, чуть ли не всхлипывая, – Артема никто в лодку не загонял, он сам, совершенно добровольно, его хотели удержать, но он настаивал, сам сошел по трапу и спрыгнул, сам. И я знала, что это, конечно же, правда.

Я сорвала у шеи Тацуо бинокль.

Я увидела Артема, не знаю как, но едва приложила окуляры к глазам, как нашла его.

Он сидел на камне, а они сидели вокруг и что-то делали. Я не видела, что именно, но тут Ерш шагнул чуть в сторону. Они собирали каирн. В основании лежало несколько больших плоских камней белого цвета, а они клали на них маленькие черные, и столб был уже довольно высокий, тянулся к небу, как тянулись за ним к небу смоляные столбы дыма от горящих крыш барачков.

Ерш, как всегда чуть выворачивая колени, направился к прибою и стал собирать камни, он ловко подхватывал их беспальными руками и перекладывал в мятое ржавое ведро, при этом он корчил удивительно веселые и глупые рожи, от которых остальные дети почему-то смеялись. Хотя они не могли эти рожи видеть, но...

Смеялись.

Артем тоже смеялся. Он указывал на Ерша пальцем и смеялся, и сам Ерш смеялся, и другие дети смеялись, а через колючую проволоку продолжали кусками выдавливать трупороды, сама проволока натянулась и стала похожа на невод, в который набилось много рыбы, так много, что вытащить ее нельзя, а сам невод вот-вот лопнет.

Ерш набрал камней, надел ведро на предплечье и двинулся обратно, но запнулся и упал, камни разлетелись из ведра, и все захохотали, потому что Ерш упал действительно по-дурацки, нелепо.

Я смотрела, как Ерш собирает камни и вдруг поднял голову, улыбнулся и помаhal мне рукой.

Я отскочила от борта. Справа грязным оранжевым комом лежала полусдутая лодка, я, качаясь и хватаясь за леера, направлялась к ней. Там должны быть пиропатроны, думала я. В каждой лодке есть запасные

пиропатроны, сейчас я подкачаю лодку, спущу ее за борт, Тацуо, иди к черту, провались, сгори, крысеныш, я сейчас, Артем, я...

Завыла сирена, я почувствовала, как «Каппа» прибавила ход, Тацуо исчез, а я стала разбираться с лодкой. Никто не мешал. Да еще сирена. Она запускалась через равные промежутки времени, где-то прямо над головой, так что от каждого звука что-то внутри болезненно сжималось и отдавалось сильной головной болью.

Лодка оказалась никуда не годная – по правому борту два баллона пропороты, и починить их можно было лишь вулканизацией, однако меня ничуть не смутило это обстоятельство, дно и левые баллоны оставались пригодны для плавания, и я не сомневалась, что сумею добраться на них до берега. Оставалось найти пиропатроны. Обычно они располагались на носу, в отдельном отсеке, но у этой лодки конструкция отличалась, во всяком случае, на носу пиропатронов я никак не могла обнаружить, а они должны тут быть, должны, так положено, на каждой лодке есть пиропатроны, а тут нет, какой-то гад взял и перепрятал, вор, безмозглое животное, зачем он это сделал, а еще бинокль этот мешает, болтается на шее, кто придумал делать такие тяжелые бинокли...

Кто-то потряс меня за плечо, Тацуо, испуганный Тацуо, нижняя губа оттопырилась от страха и сделалась похожей на хоботок, так что теперь это бормотанье разобрать было сложно, какое-то обезьянье прихлебывание. Как приятно видеть, что Тацуо боится, что с лица у него сошла самоуверенная улыбка, что он больше не радуется серебряным подковам на своих ботинках и не бахвалится пистолетом.

Тацуо замычал абсолютно непонятное и указал пальцем. Я посмотрела.

Там, справа от нас, к западу от нас, круто переключившая галс, шел белый и остроносый, как чайка, корабль со знакомым силуэтом, он уходил от острова на максимальной скорости, вытягивая кормой в воздух воду, которая превращалась в пар, и из этого пара поднималась в небо высокая радуга, точно «Энола» работала на солнечном двигателе.

Тацуо завизжал и снова указал пальцем. «Энола», несущая радугу.

Наверное, тогда я и поняла, что именно хотел сказать Тацуо.

Я наконец поняла, зачем здесь «Энола».

Но это ничего не меняло, я оттолкнула Тацуо и вернулась к лодке. Я спущу эту проклятую лодку. Я успею, «Каппа» не отошла слишком далеко...

Тацуо, наглая бестолковая крыса, попытался ухватить меня за локоть, но я ударила его биноклем, разбила ему зубы, а зачем он завел себе такой

тяжелый бинокль? Но он не отстал, схватил меня за руки, подло схватил, вывернул локти, а я с удовольствием ударила его головой в разбитое лицо. Помощник капитана не отступал, на помощь к нему подоспел раненый лейтенант, и они стали держать меня вдвоем. А я рвалась, не стесняясь, ругала их последними словами, пиналась, царапалась и кусалась, а справа над морем всходила высокая радуга.

Снова заревела сирена, теперь она взрыкивала беспрерывно, рывкала, выла, кричала. Лейтенант, что пришел на помощь Тацуо, неожиданно отпустил меня и упал на палубу, но Тацуо не отпускал, держал и орал что-то в ухо, брызгая слюной и кровью мне в лицо.

«Энола» набирала ход и была различима над водой только по сияющему облаку, в полумиле от миноносца шли киты, косатки, стая – несколько взрослых и китовая шпана, они все торопились от берега, как и мы.

«Каппа» ревела, корпус дрожал, Тацуо вцепился в меня клещом и орал:

– Ложись! Ложись! Ложись!!!

Все остальные уже лежали лицом вниз, закрыв головы руками, свернувшись, на палубе, вжавшись в нее, вцепившись ногтями. Потому что они понимали.

– Ложись!

А я смотрела. Бинокль разбился о голову Тацуо, но я видела и без него. Снова мыс Крильон со скалой и пожарами и черный песок. Артем смотрел на меня, я это знала. Ерш махал мне руками. «Энолу» окутал кипящий пар, через секунду из него вырвались и унеслись в зенит белые острые стрелы.

– Падай! – булькнул Тацуо. – Падай!

Он упал и как все остальные зажал голову руками, а я смотрела в небо.

Оно было прозрачно и сине, дым от горящего Крильона не успел добраться до самого верха и смешаться с синевой, и ракетные следы подпирали небо оплывающими оловянными карандашами, а еще через секунду мыс Крильон встретился с огнем.

Я закричала. Наверняка кричала, кричала так, что потом не могла говорить надорванными связками. А может, я не хотела говорить, думаю, что так.

Помощник капитана Тацуо лягнул меня под колени, я упала, ударившись обо что-то лицом и закрыв глаза, и попыталась подняться, но тут пришел свет. Он прожег мои закрытые веки, я увидела «Каппу» в красном, увидела сделавшееся черным небо и звезды, и луну с ее мертвым нефритовым зайцем, и сразу стало темно, свет кончился, и мир

погрузился во тьму, в которой визжали, выли, хрипели и скрежетали зубами. А совсем рядом захлебывался помощник капитана Тацуо, и его подкованные серебром каблуки били в фальшборт рядом с моей головой.

И когда пришел звук, я почувствовала облегчение. Впрочем, может, это был тот же свет, хотя и не такой яростный, иногда звук может смешиваться со светом, теперь я это знаю. Я открыла глаза.

Передо мной сидел человек с горящими волосами, из ушей у него текла кровь, и из глаз, щеки у него потрескались. Человек очнулся и стал снимать с себя волосы вместе с кожей.

Палящая волна догнала «Каппу», ударила в корму и перекатилась через палубу, смяв лежащих на палубе людей в кучи, выжав воздух из легких. Море прогнулось, подняло сухогруз на хребет и понесло. За моей спиной разгорался ад, а «Каппа» летела по воде, набирая и набирая скорость. Я не удержалась. Я оглянулась.

Оглянулась.

Свет смешивался со звуком, с водой, с высотой и со вскипевшими радугами, с моим криком, с кровью лопнувших в горле сосудов, с матросом, который стоял рядом, – его волосы вспыхнули, и кожа мгновенно вспучилась белыми пузырями, и уши загорелись – у него смешно загорелись уши, и всюду стал свет, и я это увидела.

Нити.

Возможно, это было галлюцинацией, оптическим эффектом, иллюзией, чем-то вроде фата-морганы, возможно, это было тенью от нервных сплетений глаз, упавшей на спекшуюся роговицу, всегда ведь можно найти объяснения.

Я их видела. Снизу-вверх. Нити. Везде. Везде. Везде.

Всюду.

Вокруг меня к небу тянулись нити. Сквозь воду и землю, сквозь блистающий миноносец «Энола» и ржавую «Каппу», сквозь солнце, сквозь меня, прорастая через кожу и через глаза. Нити.

Это было самое прекрасное, что я видела в жизни. Над нами уходил в небо гриб ярко-лимонного цвета. У его основания клубилась расплзающаяся по сторонам огненная буря, поглотившая море и землю, и все-все-все. И дальше, на горизонте, восходили к небу чудовищные пламенные столбы.

За секунду до того, как в блистающем потоке испарилась сетчатка моих глаз, я успела их сосчитать. Их было двенадцать.

Где-то вокруг с шипением падали в воду раскаленные камни. Горел человек. Пахло спекающимися волосами и кожей, человек горел, и я не

сразу поняла, что этот человек – я.

Деусу

В пятнадцать часов семнадцать минут миноносец Императорских сил береговой охраны «Энола» санировал мыс Крильон и южные земли острова Сахалин залпом двенадцати крылатых ракет.

Эпилог

Артем

Профессор Ода хмурился, кусал губы и, кажется, не знал, что сказать. На столе лежала его коллекция свинцовых пломб, бывших в ходу еще задолго до Реставрации Мэйдзи, пломбы были расположены в строгом порядке: по вертикали годы, по горизонтали префектуры, так чтобы в любой момент можно было определить, к какому времени и месту относилась та или иная. Тут же лежали принадлежности – большая лупа, кисточка из беличьего меха, баночка с пастой и набор надфилей.

Я думала про свинец. Про его пластичность, готовность принимать любую форму – сейчас пломбы, сейчас пули. Издали пломбы походили на пули, сплюснутые при попадании в тела и извлеченные потом пытливым хирургом. Я бы не удивилась, если бы профессор коллекционировал битые пули. Коллекционирует же мой отец сабли, побывавшие *в деле*.

Сбоку, на самом краю стола, прижатая набором старинных купеческих гирь, лежала моя папка. Сам профессор прохаживался вдоль веранды, ожидая дождя, иногда, не доверяя глазам, высовывал руку из-под крыши, чтобы проверить. Хмурился, пощипывая себя за края ноздрей, чтобы вызвать подходящий для такой пасмурной погоды чих.

Он начал хмуриться с первой страницы, когда я принесла ему свою работу, и он нетерпеливо заглянул под обложку. Но сразу ничего не сказал, велел зайти попозже.

Я зашла, выбрав день, когда с моря надвинулись дожди, потому что профессор любит дожди. Профессор занимался пломбами, но, увидев меня, тут же выскочил из-за стола и стал прохаживаться по веранде. Я с удивлением отметила, что он был смущен, точно я застала его за каким-то предосудительным занятием.

– Это... – Профессор Ода достал сигару. – Это я даже не знаю...

Профессор опустил в продавленное бамбуковое кресло и стал курить. Веранда его виллы выходила не на море, а на горы, сейчас над ними висели низкие тучи, не пускавшие до нас небо и наполнявшие воздух влагой. Вот-вот должен был пойти дождь. Я знала, что это любимая погода профессора – предчувствие дождя, ожидание его, мгновения, когда он может начаться. В такое время профессор был особенно оживлен, он

быстро хромал по дому от одного окна к другому, проверяя, не начался ли дождь.

– Понимаете, Сирень, это такое...

Сигара в пальцах профессора вдруг погасла и от этого стала вонять гораздо сильнее. Ода засуетился и тут же закурил другую. Он постарел за эти два года.

– Это все странно, – сказал он. – Понимаете, с точки зрения...

Он почесал подбородок, вскочил и принялся ходить по веранде, то и дело прикладывая папку с моей работой ко лбу, останавливаясь и морща нос.

– Я понимаю, вы перенесли страшные испытания, такие испытания сильно меняют человека, однако...

Профессор Ода оперся на перила веранды.

– Однако, если говорить честно, я ни черта не понял, – признался Ода. – У нас была другая задача, вы же помните?

– Да, конечно.

Конечно, я помнила задачу.

Профессор, неожиданно забывшись, по-стариковски наивно пожевал кончик папки, но спохватился и усмехнулся собственной промашке. А я сделала вид, что не заметила.

– Карафуто остался в прошлом, – сказал Одо. – Равно как и наши северные земли. У меня в Вакканае жила сестра, впрочем, старая...

Он помолчал.

– К сожалению. К сожалению, мы ошиблись... Хотя нет, мы не ошиблись! Но кто же знал?! Это землетрясение спутало все планы, началось какое-то безумие... Даже здесь – безумие, паника... Могу представить, что творилось там, за проливом. Как, кстати, ваше здоровье?

– Благодарю, – кивнула я. – Я к ним почти привыкла.

– Да-да, я вижу... – смутился профессор. – Это, конечно...

– Правда, теперь они черного цвета, – добавила я. – Но к этому тоже привыкаешь.

– Разумеется, – вздохнул профессор. – Разумеется, с этим ничего поделать нельзя... Да, Сирень, у вас были самые чудесные глаза. Синие, как южное море. Чистые, как горные реки. Ах, Сирень, ваши глаза извиняли все банальности, сказанные про них...

Мы помолчали.

– Это был боец береговой охраны, – сказала я.

– Что? – не понял профессор.

– Офицер береговой охраны. Его звали Рензо Тё.

Он лежал в беспомощности в ожоговом отделении. Третья степень, обширные очаги по всему телу. Но голова сохранилась удивительно. Отец навещал Рензо в госпитале и увидел меня. Спустя три дня Рензо умер, так и не придя в сознание, а его отец велел отдать глаза сына мне.

– Я вижу вас глазами лейтенанта Тё, – сказала я.

Его отец, он иногда заходит в наш дом и смотрит на меня.

– А как ваш... – Профессор смутился окончательно.

– С ним все благополучно, – ответила я. – Вы же знаете, в Императорском госпитале прекрасное отделение радиологии.

– Да, я знаю. Вы молодец, Сирень, большой молодец. Может, вы все-таки хотите кофе?

– Пожалуй, – согласилась я.

– Да, я сейчас, конечно.

Профессор положил папку на стол и убежал варить кофе. В кофе профессор разбирается неплохо, как, впрочем, все люди, разбирающиеся в табаке и виски. Если бы не его пристрастие к омерзительным сигарам из водорослей, я бы могла сказать, что у профессора есть вкус.

Глазами лейтенанта Тё туча села на гору, и начался дождь.

В дождь дома у Ода особенно хорошо, я думаю, он не случайно выбрал это место, где дождь идет чуть ли не каждый день. Дом оживает, по крыше будто топают мягкие лапы, капли стучат по перилам, в крыше имеются нарочные отверстия в кровле, и дождь проникает в дом, в специально подставленные ведра, профессор Ода любит быть окруженным живыми звуками. А где-то наверху еще звенят дождевые колокольчики.

Профессор вернулся на веранду с большой кружкой и коробкой мерзких сигар. Ода явно намеревался обсудить рукопись обстоятельно. Вообще-то я полагала, что Ода вернет папку и пошлет меня куда подальше, однако он так не поступил и вызвал к себе на беседу.

Я отхлебнула горячий кофе, профессор закурил.

– Я представляю, что вам пришлось пережить, – сказал профессор. – Знаете, мне в свое время не посчастливилось попасть в зону Большого Цунами, не очень приятные воспоминания. Хуже, чем война. Так что я понимаю ваши чувства. Да, понимаю... Но вы должны были действовать как наблюдатель, как беспристрастный свидетель. Однако ваш текст...

Профессор притянул папку к себе, открыл, нацепил на нос пенсне и стал читать, постоянно трогая страницы, щурясь и морщась.

Я знаю, что он любит подниматься по утрам в гору, его коленей еще хватает на это. Раньше я тоже с ним поднималась, утром там интересно – туман ползет между искривленными, завязанными в узел деревьями и

синими камнями, поросшими синим мхом. На гору Ода поднимается с одной-единственной целью – встретить рассвет. Там он очень хорош. Там он внезапен. Однажды я встретила его на горе – туман вспыхнул золотом, заискрился, и резкий порыв ветра сдернул его, как покрывало. Профессор, кажется, верит, что там живут какие-то боги, но я знаю, что нет. Там нет бога. Его вообще давно нет на Земле. Что ему тут?

Он далеко. Миллиард параллаксов, миллиард секунд, синяя планета в системе теплого желтого карлика. Ждет, пока мы постучимся в дверь его дома.

Но рассвет на горе все равно хорош.

– Знаете, а я ведь знал одного Фукуи, – сказал профессор. – Он был, кажется, гидрологом и мастером сёги... Интересно, это тот Фукуи? Мир стал так тесен, что все время встречаешься со старыми знакомыми, и я не могу понять, плохо это или хорошо...

– Дождь сегодня сильный, – сказала я.

– Наверное, это все-таки не он.

Профессор жевал сигару.

– Не тот Фукуи, по возрасту не подходит... И все-таки я не могу понять, почему вы написали это? У нас ведь имелся определенный план, вы должны были проверить нашу гипотезу на практике...

– Я ее проверила.

– И к каким же вы пришли выводам?

Ода поднял страницу, посмотрел ее на просвет.

– Вы были правы, профессор.

– Да-да, разумеется... Остров – точка отсчета... Вы смеетесь надо мной, Сирень? Какая точка?! Тысячи километров атомного болота – вот какая там точка!

Профессор почти выкрикнул это. Очень разочарован, очень разочарован, я его понимала. Он уже стар.

– Как все некстати, – поморщился профессор. – Очень некстати. Столько усилий, столько трудов... Когда теперь еще представится такая возможность? Мы застряли, как мухи в смоле, динамика едва уловима, я очень рассчитывал на ваши сахалинские впечатления... А у вас беллетристика, Сирень.

Ода с сожалением поглядел на меня.

– Нет, с литературной точки зрения это, безусловно, интересно, – успокоил меня он. – Знаете, мой учитель любил повторять слова одного вашего... Не знаю, как это звучит в оригинале... «Счастлив, кто жил в мгновенья, когда качнулся мир», кажется так.

Я поздно встал. Дорога, ночью, Рим.

– Вы видели... много. Вы могли написать хотя бы про это. Но новеллы! Я совершенно не ожидал такого...

Он снова взял папку, достал из нее последний лист.

– «Мэтр Тоши», «Мордование негра в Углегорске», «Три письма на Окиनावу», «Поэт в декабре», «Показания Чека». – Профессор потрогал желтый лоб пальцами. – Почему?! Зачем?

Я молчала.

Профессор снова закурил, глядя в потолок, вслушиваясь в дождь.

– Я не знаю, что с вами делать, Сирень, – сказал он. – Совершенно. С ваших северных приключений прошло скоро как два года, а вы все еще не пришли в себя. Да, потрясения, да, госпиталь и все остальное, но беллетристика... Впрочем, ваш дедушка, кажется, опубликовал мемуары?

– Это было скорее для друзей, – сказала я. – Всего двести экземпляров.

– Но написано, должен признать, недурно. Я в свое время ознакомился, забавные записки, небезынтересные. Кстати, а что вы сами планируете делать со своим текстом?

Ода постучал пальцами по папке.

– Не знаю, – сказала я. – Я еще не думала про это.

Про это я действительно еще не думала.

Минуло девять месяцев, а потом еще три, и был лейтенант Тё, и я увидела мир. А когда волосы начали понемногу отрастать и кожа перестала блестеть, я выписалась из госпиталя и некоторое время жила дома. Еда, одеяло, горячая вода. Конечно, к сыну меня не пускали, да я и сама не торопилась, он не должен был видеть меня такой.

Мама. Она все время сидела рядом, вязала мне носки. Отец... Он заходил утром и вечером покурить в кресле, ничего не говорил, просто молчал и курил, и утром курил, и вечером курил, читал газету. Утром и вечером я слышала плач – это купали моего сына. Ему было больно, ванна размягчала коросту, покрывавшую его тело, после чего ее сдирали скребком. Он кричал, а глаза лейтенанта Тё совсем не умели плакать.

А я хотела плакать. Я попросила отца принести печатную машинку.

Мама возражала. Врачи возражали, говорили, что мне пока нельзя, лучевая болезнь, организм едва оправился от нее, пересаженные глаза можно травмировать нагрузками, пересаженная кожа отторгается, подумайте о ребенке, вам необходимы восстановительный период и усиленное питание...

Но отец все же принес мне ее, поставил на табуретку рядом с

постелью. И бумагу принес, три пачки, как я просила. Поинтересовался, нужно ли мне еще чего-нибудь? Может, принести старые карты, подзорную трубу? Почему-то я попросила макинтош, но отец сказал, что это пока невозможно – фамильный плащ фонил с такой силой, что его отправили на промывание.

А еще отец сказал, что в одном из карманов он нашел пустой пузырек из толстого стекла, его наполняла земля, которая оказалась заражена, не так сильно, как сам плащ, но все равно изрядно. Землю сожгли, как и все остальные предметы, найденные в макинтоше, а пузырек удалось сохранить, обработав надлежащим способом, так что, если мне этот пузырек как-то дорог, я могу его забрать.

Я сказала, что к пузырьку я совершенно равнодушна, я не помню, зачем этот пузырек, меня сейчас занимает другое. К примеру, смогу ли я печатать лежа? Сидеть мне не разрешают, да и не могу я, так что придется лежать.

Получилось.

Первыми были «Письма».

– Как вы себя чувствуете? – заботливо спросил профессор. – Вы как-то побледнели, Сирень. Может, вам не стоит пить кофе?

– Да нет, ничего, – улыбнулась я. – Это не от кофе. Доктор говорит, что скоро пройдет.

– Вы принимаете витамины?

– Да, принимаю. Витамины, фрукты...

Я выразительно покосилась на сигару, но профессор на это внимания не обратил.

– Я позвоню вашему батюшке, – сказал он. – Вы, мне кажется, слишком увлеклись своей беллетристикой... Знаете, Сирень, я несколько далек от всех этих дел... Сейчас что-то читают?

– Нет, – сказала я. – Почти нет. Насколько мне известно, в прошлом году были изданы только две художественные книги.

– И вы хотите быть третьей?

– Пожалуй. То есть не пожалуй, а да. Да, я хочу, чтобы мою книгу напечатали.

Профессор присвистнул. С годами он становится все эксцентричнее. Сейчас носит парик. А когда-то выбрил на своей лысине американский флаг.

– У меня есть средства, – сказала я. – Я вполне могу издать...

– Оставьте это! – профессор Ода строго стукнул пальцем по столу. –

Есть средства...

Профессор передразнил меня, высунув синий, в чернилах, язык.

– Сирень, сахалинский вояж негативно отразился на ваших мыслительных способностях. Вы, вместо того чтобы сочинять рассказы, лучше бы отдышали, я же вижу, вы до сих пор не в себе.

– Я вылечусь, – пообещала я. – У меня мама разбирается в травах, я пью настои.

– Пейте, Сирень, пейте. Лечитесь. Я рекомендовал вас на кафедру, им нужен старший преподаватель, так что лечитесь. Что касается ваших сюжетов...

Профессор взял со стола пломбу, стал на нее дышать и разглядывать.

– У меня есть один знакомый в издательстве. Сейчас они занимаются в основном технической литературой, но раньше, насколько я помню, уделяли внимание и художественной... Помните, «Зимние тропы», «Некий позитивист», помните же? Я попрошу его, он взглянет на ваши тексты, вдруг... Хотя не пойму, кому это нужно... Никто не читает книги, никто, Сирень. Зачем вам это нужно?

– Это нужно.

Профессор положил пломбу на стол.

– Вы сильно заблуждаетесь, Сирень, – сказал профессор. – Ни одна великая книга не спасла ни одну великую страну. Это банально, но это правда... Вы опять побледнели!

Профессор принес глюкозу.

– Я пойду, – сказала я. – Я устала. Я быстро устаю.

Я направилась к выходу.

– Мне понравились ваши рассказы, – сказал вдогонку профессор Ода. – Это хорошие рассказы, вы слышите, Сирень...

Я подняла воротник макинтоша и вышла под дождь.

Раньше я любила ходить под дождем, чувствовать капли, дышать пылью, но сейчас лучше так не делать – в атмосфере до сих пор висит пыль сожжения, и оттого нередки кислотные ливни. Иногда падает пепел. Или черный снег. Да, черный снег шел всю эту зиму, солнце светило плохо, к пеплу Сахалина прибавлялся пепел проснувшихся камчатских вулканов, за окном висели сумерки и падал теплый черный снег.

Это была зима фонарей, их не гасили даже днем.

В декабре ударили морозы, такие сильные, что в окнах трескались стекла, из-за ведра угля могли убить, бедные кварталы вымерзали и вымирали от голода. Император приостановил действие Атомного акта, и на восточном побережье запустили четыре новые атомные энергостанции, а

на площадях открыли паровые ангары, где мог отогреться и переночевать любой желающий.

В январе стало замерзать Восточное море. Со стороны Сахалина к нам потянулась изломанная коричневая клешня, которая увеличивалась с каждым днем – сводки об этом передавали по радио и печатали в газетах. Почти сразу возникли слухи.

О выживших на острове. Выжившие, которые ждут дня, когда море встанет окончательно, и тогда они пересекут пролив и ворвутся к нам, сея поток и разрушение.

О том, что МОБ мутировал и теперь может передаваться воздушно-капельным путем, о том, что тянувшийся с севера ледовый язык похож на лапу дьявола, что это скверное предзнаменование, очень скверное. Не исключено, что души, сгинувшие в огне Карафута, прокляли своих палачей, погасили солнце, и весна не наступит никогда. Подтверждением тому холода и лед, и когда лапа дьявола коснется японской земли, наступит конец, никаких сомнений.

Отец высмеивал эти домыслы и показывал свежие фотографии, сделанные с вертолетов береговой охраны. Море действительно замерзало, и пролив сузился вдвое, но никаких голодных толп на льду я не разглядела. С острова никто не выбрался, говорил отец. Там тьма и лед, и если там кто-то и остался, он не переживет эту зиму. Что лапа дьявола – фантазии одуревших от холода обывателей, если поглядеть на довоенные спутниковые снимки, то мы увидим, что эта лапа протягивалась к Японии в каждый холодный год и что Восточное море и пролив частенько замерзали и глупо поддаваться панике.

Я не поддавалась, мне нравился черный снег.

В феврале начались самые лютые морозы. В начале месяца в проливе жгли напалм, в середине пустили ледоколы, в конце бомбили. В феврале мой сын сделал первый шаг.

В марте в середине месяца с Тихого океана пришел тайфун, он окончательно взломал лед, подмел побережье от зимней саж и расчистил небо, тайфун разогнал пепел, и показалось солнце. Весна явилась буйно и быстро. Кислые дожди плавили лед и выжигали зелень, а она все вылезала и вылезала. В апреле я впервые вышла на улицу.

Сейчас июль.

– Мне понравился рассказ про патэрена! – крикнул снова профессор. – Вы слышите?! Это очень хороший рассказ! Очень хороший!

А я уже шагала вниз по тропинке, выставя под дождь ладони и иногда пробуя языком капли, дождь нормальный, не кислый, только

холодный. Лестница, ведущая вниз, распухла от дождей, ступени поскрипывали и прогибались, по перилам бежали веселые ручейки, и все было, и все будет еще долго, я это знала.

Город укрылся от воды, попрятался по домам, чердакам и подвалам, лишь редкие прохожие в пластиковых дождевиках шли навстречу, озябшие и чужие, да прошел чихающий сопляк-полицейский, да проехал злой и упорный велосипедист, пыхтящий в гору со скоростью улитки, да еще старуха, продававшая разноцветные проволочные корзины.

Я спускалась по улице к морю, стараясь не поскользнуться на гладкой брусчатке, покачивая руками, точно я шагала не по дороге, а по канату. Я видела, как за одним окном ребенок показывал на меня пальцем и смеялся, хлопая себя по щекам.

Скучный пригород, небогатый и двухэтажный, с террасами, накрытыми разноцветными тентами, с вывесками, смытыми влагой, с запахом жареной фасоли и супа, с острыми ароматами рыбы и имбиря, с утренней суетой и ленивыми безлюдными полуднями. Профессор Ода, сын рыбака и торговки гребнями, поселился тут не случайно. Он любил кошек, на кошек у него была чудовищная аллергия, но он их любил, смотрел на них издали. А тут жили удивительно много кошек, они сидели под крышами и смотрели на прохожих сытыми глазами, эти кошки не боялись дождя и были весьма любопытны, я шагала посередине улицы, стараясь не попасть под струи дождя, стекавшие с крыш, и за мной увязались две кошки. Они были настойчивы, но не наглы, молча волочились почти до самой площади Реставрации и представляли жалкое зрелище. В конце концов я согласилась их накормить – ну как не накормить таких целеустремленных кошек? Я заглянула в закусную на углу, села у окна и заказала недорогую рыбу с лапшой. Рыбу я разобрала пополам и положила части на пол, повар не стал возражать, видимо, они здесь к кошкам привыкли, а может, я оказалась ценным клиентом, возможно, единственным за этот день.

Кошки из южного пригорода проявили себя весьма деликатными созданиями, они ели аккуратно и с достоинством, чуть прищуривая глаза, точно перед ними лежали не кусочки рыбы, а свежепойманные, набитые икрой лососи, которые можно спокойно есть целый день и немного оставить на утро.

Я попробовала лапшу, но кошки тут же поглядели на меня с укоризной, тогда я отдала им и лапшу, они благодарно мяукнули. Я попросила чай и стала его пить из неожиданно недурственной прозрачной чашки, как раз такой, какой мне нравится, почти до невозможности горячий. Горячий чай,

и дождь за окном, и впереди еще полдня, и можно...

Что делать с этим временем, я не знала. Я закончила рукопись и теперь гуляла по городу, так, без цели, стараясь выяснить, с каких точек видно море. Составляла карту, отмечала крестиками, откуда видно море, откуда нет, где живут ласковые кошки, а где сердитые, где встречаются собаки... Зачем мне нужна такая карта, я не представляла, в последнее время я совершала много непонятных поступков, мне было простительно, все-таки контузия, сотрясение. Оказывается, контузия и сотрясение – это очень удобно.

Кошки покончили с рыбой, взялись за лапшу и снова удивили, поскольку поглощали лапшу с помощью весьма оригинального и необычного способа: опустив морды в лапшу, они надували щеки и довольно громко мурчали, не двигая челюстями, и лапша как бы всасывалась в них. При этом эти чудесные кошки даже не моргали.

Я подумала, что кошки, кажется, эволюционируют в новой среде, приспособляются.

Эти кошки мне понравились, и я заказала еще лапши. Они не возражали. Вчера я, кстати, тоже видела кошек, настоящих таких, портовых, они живут вокруг третьего причала и ошиваются вокруг рыбных лавок. Вообще-то я хотела найти собак, хотя бы одну собаку, но попадались почему-то только кошки. В нашем городе слишком много кошек, за последнюю неделю я насчитала семьдесят, впрочем, не исключено, что некоторых я посчитала не раз. А в восточном квартале сохранился электрический трамвай, его запускают раз в день, и на нем можно бесплатно проехать. А на западе живет лошадь. Самая настоящая рыжая лошадь, она развозит дрова и, кажется, спит на ходу, как-нибудь я покажу ее сыну. А от здания Императорской почты до залива сорок минут быстрой ходьбы, но моря оттуда не видно.

Дождь усилился, вода размывала город за витриной закуской, и теперь я видела только акварельные разводы сверху вниз.

Кошки обожрались лапшой и рыбой и тут же сделались неблагодарны и самодостаточны, не сказав спасибо, потихоньку выскользнули на улицу, пустились гулять под дождем. С улицы в кафе заглянул седой господин с кожаной сумкой и потребовал хлебной похлебки и водки, и мне тут разонравилось, и я вышла и двинулась вниз, к площади Реставрации.

Площадь Реставрации заливала вода. Она спускалась с пяти улиц и собиралась здесь, а канализация, конечно, не справлялась, стоки давно забились, и теперь площадь походила на овальное озеро. По нему плыли бамбуковые стулья, баки из-под воды, пластиковый мусор и листья, и

лодка, и цинковый таз с сидящей в нем крысой. Я развернула голенища сапог и отправилась гулять по площади. Дождь ослабевал, по воде уже не плыли пузыри, я вышла в центр, поймала стул и села, задрав голову, подставив лицо дождю. Серая мгла растянулась до горизонта, сплошная туча, и казалось, что сейчас она начнет ползти по крышам.

Дождь, чистый, не кислый.

Я промокла. После очистки макинтош поменял цвет – теперь он серый – и сократился в размерах, большую часть спасти не удалось, теперь он похож, скорее, на жилетку, рукавов не осталось, сейчас я ношу его поверх куртки.

В самом конце площади, в том месте, где раньше был фонтан, размещалась позорная клетка, в ней обитал довольно паршивый негр. Когда я направлялась в гости к профессору, он швырнул в меня пластиковой бутылочной пробкой, а сейчас сидел, прижавшись к прутьям и прикрывая голову размокшей газетой.

Это был очень второсортный негр, на Сахалине я видывала американцев куда приличнее, упитаннее, увереннее в себе, и, забрасываемые камнями, они держались с некоторым пусть невеликим, но достоинством, а этот нет. Зачем он кинул в меня пробку? Кстати, белый.

Он прижимался к прутьям, вдавливался в них, точно хотел, чтобы они защитили его от дождя. Никакой телесной плотности в этом американце не было – тощий, синий, с ребрами, которые прекрасно проглядывались на спине, с острыми позвонками, проступающими через кожу. Дождь теплый, как и погода, до первых заморозков ему никакой одежды не полагалось. Он сидел, вцепившись в прутья руками, и упершись ногами в пол, а спиной в прутья, в нечеловеческой позе, выгнувшись, раскорячившись в деревянной судороге.

Сначала я думала, что это на самом деле судорога, но потом вдруг поняла, что нет, негра просто била сильная дрожь, и, чтобы не трястись, он впился всем телом в свою клетку.

Вода постепенно прибывала, она уже доходила до колен. Вдруг негр отлепился от прутьев и повернулся – мимо клетки проплывал пластик, большой кусок, наверное, какая-то вывеска, сорванная ветром, или кусок крыши. Американец увидел его и снова прилип к прутьям. Крыша. Укрытие. Конечно, смотритель, который придет завтра, отберет, поскольку пластик в позорной клетке не положен, но смотритель приходит по утрам, и если американец ухватит вывеску сейчас, то до утра он сможет укрываться от дождя. Много часов без дождя.

Негр это понимал, он собрался и попробовал добыть себе укрытие, он

вытянул руку, схватил пустоту, пластик достать не получилось, он медленно проплывал мимо. Американец заволновался и, умудрившись просунуть сквозь прутья плечо, снова не достал. Он, кажется, заверещал, навалился на прутья всем телом, втиснув между прутьями голову. Он почти оторвал себе ухо и срезал кожу с плеча, он почти его зацепил. Поймал уплывающую крышу кончиками пальцев, на мгновение застыв в зыбком равновесье, вся его мускулатура напряглась, он словно влил все силы в пальцы, в указательный и в большой, и теперь напоминал уже не облезлую больную обезьяну, а скорее богомола, в нем совершенно исчезла связь с теплокровными.

Это продолжалось еще какое-то время, у него не получалось подтянуть к себе пластик, но и отпустить его тоже не мог; американец, выгнувшись и выкрутившись всеми сухожилиями, держал и держал.

Ветер. Не знаю, ветер это или течение, постепенно усиливавшееся, или у него сломались ногти, не знаю. Синий пластик сорвался. Американец ожил, принялся грести ладонью, пытаясь подогнать крышу к себе, но та уходила от него все дальше и дальше. Тогда американец зарычал, вскочил на ноги, отпрыгнув от прутьев, потом с воплем кинулся на них.

Он ударился о них с такой силой, что я увидела, как погнулись прутья. Американца отбросило назад, он упал на пол и тут же вскочил и снова кинулся на решетку. Синий пластик уплыл, это видела я, это понял и американец, но он все равно бросился снова, с рычанием.

Это повторилось несколько раз, американец в отчаянье бился о прутья, старался растянуть их, бодал и пинал, бился и рвался.

Потом затих, лежал на боку, не шевелясь.

Я направилась к нему.

Американец лежал с открытыми глазами. Он был в сознании, но на меня не смотрел, уставился на свою руку. Ногти на самом деле вывернутые, сломанные. Суставы на пальцах распухшие, и локти шарами. Старый белый негр. Я смотрела на него через прутья. Негр дрожал.

Я опустила руку в правый карман, достала из него кусок тусклого серого металла, овальный, с ямками от пальцев. Звездная медь.

Я сняла макинтош, свернула его и просунула через прутья. Дождь усилился и стал теплее, я направилась в сторону набережной.

Пройдет сорок семь лет. Всего лишь сорок семь лет, это так мало, это совсем ничего, я даже не успею как следует состариться. Металл останется со мной. Мир изменится.

В один из вечеров далекого сентября человек, сидя на веранде старого дома у залива, услышит, как дышит небо. Он будет слушать эту мелодию до

рассвета, он будет смеяться и плакать, а еще через четыре месяца он закончит принципиальную схему прыжка. И скоро звездная медь будет расплавлена и отлита в семнадцать отражательных пластин для двигателя, идущего вдоль нитей Хогбена.

Еще через три года будет построен первый прототип, способный преодолеть гелиосферу за время, равное промежутку между двумя ударами сердца, и первым пилотом корабля станет его изобретатель. Мой внук. Он будет высок, светловолос и голубоглаз, мой внук, лучший человек на Земле, с самым тонким чувством равновесия, идеальный пилот звездолета, первый, кому звезды послушно лягут в ладонь.

Да, он будет высок, светловолос и голубоглаз.

А еще он выберет для своего корабля имя.

Я футуролог, я знаю какое.

Показания Синкая

В ту зиму кошка выучилась спать в банке и есть лук. Лук ел и я, резал полукольцами, ошпаривал кипятком и смешивал с лапшой, в банке у меня спать не получалось, хотя, сказать по правде, я пробовал. Конечно, не в стеклянной, а в картонной бочке из-под чего-то раньше сыпучего, оставшегося на дне, но уже безвкусного и превратившегося в камень. Кошка спасалась от взбесившихся крабов, захвативших все прибрежные улицы, канавы и подвалы, я спасался от сырости, которая проникала везде. Я укладывал бочку возле печки, набивал одеялами со стружкой и залезал внутрь. В бочке было тепло, однако сны при этом были совершенно удручающие, так что пришлось бочку оставить и спать как раньше.

Шел третий год светозарного поворота.

Кошка бочкой тоже не заинтересовалась, оно и понятно, против крабов бочка, в отличие от банки, никаких преимуществ не представляла. Банка – другое дело, кошка забиралась в нее и спала, свернувшись восьмеркой, крабы по стеклу вскарабкаться не могли, только звенели всю ночь по стенкам клешнями и суетились выпуклыми глазами.

До Войны, если судить по книгам, эти крабы были съедобны, однако сейчас питаться ими стало смертельно опасно, и крабов расплодилось невероятное количество, особенно безобразничали они в полосатые годы, когда погода переворачивалась каждую неделю, каждую неделю оттепели сменялись заморозками, лед хрустел, лед таял.

Иногда крабов травили, и среди них случался мор; выходя по утрам, я разгребал ногами хрустящие панцирные завалы и морщился от сладковатой вони. Иногда крабов неожиданно становилось гораздо больше обычного, и они проникали в дом, и я вынужден был спать в гамаке и затыкать уши ватой, чтобы не слышать их заинтересованное шуршание и насекомью речь. В одно из таких нашествий кошка, еще молодая и неопытная, лишилась хвоста.

Отсутствие Америки.

Я хорошо помню волнение и панику тех дней. Корея, Китай, прочие страны, помнившие о нас, давно лежали во тьме, их не стоило опасаться, им осталась только память, да и то в сердцах немногих. Мир молчал, и в этой тишине слух о том, что Америка уцелела, разнесся мгновенно. Говорили, что уничтожено лишь развитое и многолюдное Восточное побережье, что перемолота армия и промышленность, но в глубине бескрайних континентальных равнин сохранились обширные, чистые и малолюдные земли, где простора и места хватит всем и откуда якобы подадут сигналы.

Слухи взбудоражили сотни тысяч голодных, отчаявшихся, надеявшихся. Прибрежные города кишели пришельцами с севера, караулившими уходящие суда и наполнявшие воздух истерическим ожиданием. Отец возвращался поздно и молчал, мама плакала и вспоминала дальновидную тетушку Хидэ, которая предусмотрительно перебралась в Америку задолго до Войны.

Прибрежные города бурлили безумцами с запада, они с криками и хохотом носились по городу и умирали на ходу от сердечной недостаточности.

В нашем городе царил хаос, за места на судах, уходящих за океан, сначала предлагали баснословные деньги, а потом и убивали. В порту то и дело возникали мятежи и бунты, отряды моторизованных патриотов терроризировали беженцев, те в ответ объединялись в группы самообороны, беспорядки не успевали подавлять, и припортовая территория постепенно погружалась в анархию. Я помню, как неделями не стихала стрельба в районе гавани. Те, что стремились убежать в Америку, всегда смотрели под ноги, те, кто хотел помешать им, злобно прищуривались и поправляли длинные куртки, под которыми прятались обрезки труб и укороченные автоматы. Те, кто оставался, растерянно жались к стенам и не знали, что делать. Поговаривали, что Америка есть, но беженцев не принимает, что корабли расстреливают на полпути, что их направляют в Мексику, где местные немедленно продают пассажиров в

рабство, что слухи эти – правительственный заговор, имеющий целью снизить количество населения, отправив его неизвестно куда. Ведь Америки больше нет, континент давно накрыло жгучее смертоносное облако, а над океаном открылась эфирная дыра – и все, кто оказывается под ней, умирают от космических лучей.

Корабли ушли в море, и город опустел почти наполовину; дома, наиболее удаленные от порта, стояли брошенными, со сломанными дверями и разбитыми окнами. А потом явились течения. Отравленные воды приносили из океана туши мертвых китов, ржавые сухогрузы и танкеры, острова дохлых рыб и мусора, разложившихся гигантских кальмаров и скелеты зубастых глубинных тварей. Я вырос в годы течений.

Я просыпался раньше других и катил на велосипеде к морю, хотел успеть до рассвета занять место на высоком камне, чтобы удобней было ждать. Восток начинал сиять, вода наливалась золотом, и за минуту до восхода солнца на горизонте возникали фантомы. Порой это были города, возносившиеся шпилями к небу, порой панорамы давнишних сражений, в которых сшибались и горели парусные суда, а иногда образы небывалых огромных зверей, шагающих по уходящим к небу равнинам. Туши мертвых китов, остовы кораблей, острова дохлых рыб и мусора, разложившихся гигантских кальмаров и скелеты неведомых тварей, освещенные восходящим солнцем, проплывали мимо, течения волокли вдоль горизонта прекрасный умерший мир. Как в театре теней. Свое первое стихотворение я придумал, глядя на мертвого белого кита, плывущего кверху брюхом.

Весной течения приносили яд, и наш город на несколько дней отселяли вглубь, в покинутые районы, мы жили там в брошенных домах, пережидая, пока пожарные боты не выжгут отраву из прибрежных вод. Я забирался на крышу, смотрел на зарево, поднимающееся над заливом, и засыпал, укутавшись в мешковину.

Летом течения тянули пену и птичьи перья, они скапливались у береговой линии, громоздились причудливыми серыми айсбергами и через некоторое время застывали, как пемза. Ночные прибои разбивали глыбы в куски, но пока они были целы, на набережных собирались последние художники и предсказатели – художники искали в затвердевшей пене новое искусство, провидцы хотели узнать о дне смерти Императора. Я же просто смотрел. Наверное, я тоже хотел узнать будущее, но в изломанных острых кусках пены я ничего особенного не видел.

Осенью течения разворачивались и приводили за собой мусорные архипелаги, сформировавшиеся в центре океана. Осенью течения пересекались с ветрами, и архипелаги объединялись в плавающие горы, они

медленно дрейфовали к берегу, распространяя невыносимое зловоние. Тогда с северной базы приходили миноносцы и буксиры – миноносцы расстреливали мусорные горы ракетами и торпедами, а буксиры растаскивали их на части и уводили в море. В один год миноносцы не справились, и наш город завалило мусором. Это было весело, к зловонию мы привыкли быстро. В ту осень я сочинил рассказ про Мусорного Кодзи, а позже переделал его в песенку.

Зимой течения замедлялись и начинали светиться. И небо тоже начинало светиться. В воде размножался планктон, от этого глубины сияли синевой, казалось, что в воде шевелятся чудовищные щупальца, опутавшие мир. В небе сияли зеленые солнечные волосы, стекавшие через дыру над северной полярной шапкой. От смешения синего и зеленого отчего-то получался фиолетовый. В небе вспыхивали желтые стрелы и красные цветы, зима нравилась мне больше других времен года.

В одну из зим течения погасли и стали теплыми. Тогда не выпал снег, не замерзли реки и исчезли ночи. Небо светило настолько ярко, что ночью можно было без труда читать книги. Особенно яростно прыгало небо на востоке, кроме этого, над океаном поднимались гигантские черные дымные столбы, словно там, за водой, сошлись в битве проснувшиеся исполины. Весной небо погасло, но с него стал сыпаться пепел. Земля тряслась каждый день, и тряслась так сильно, что все дома выше третьего этажа не устояли. Колючая черная пыль покрывала крыши, скрипела на зубах и ботинках, она перекрасила в серый города и погубила посевы. Настали голодные годы, я вырос в голодные годы, в годы мусора, пепла и мертвых кораблей.

В годы одиночества.

Отец помнил самолеты, они летали из нашего города по всему миру; если люди смотрели в небо и не видели летящих самолетов, они начинали волноваться. В порту было так много теплоходов, что они стояли в очередь к причалам. Через пригороды тянули шоссе с магнитной левитацией и собирались копать транс- островной туннель, воздух звенел от радиоволн. Потом мы остались одни на своем каменном плоту.

Я пытался представить, что чувствовали люди, которые твердо знали о существовании за океаном земли. Теперь, когда ее нет, я ощущаю, что мир стал бесконечным и по-новому неизведанным. Раньше он был скатан в шар и стянут сеткой дорог, параллелей и воздушных маршрутов, теперь эти нити лопнули, Земля развернулась в плоскость, как было во времена Одиссея. Теперь за большой водой нет ни Америки, ни Австралии, там нет, пожалуй, и Итаки. Корабли, покинувшие наш берег, продолжают скользить

по тихой глади и не вернутся уже никогда. Я завидовал тем, кто тогда отправился в путь, теперь за океан не ходили.

Мой приятель и в некотором роде коллега Масахира в умеренном состоянии утверждал, что разворот Земли в плоскость отнюдь не поэтическая гипербола, так оно и есть на самом деле. Случившаяся Война повредила пространственную механику, и Земля теперь сплющена, как блюдо. В неумеренном состоянии Масахира строил яхту с намерением отправиться на восток и увидеть все собственными глазами. Иногда я ему помогал. Яхту удалось спустить в воду, впрочем, довольно быстро Масахира ее сжег по пьяни, и в поход мы не отправились. Чтобы утешить Масахиру, я через своего дядю, вхожего в определенные круги, добыл спутниковую карту Западного полушария. Масахира объявил ее подделкой и заговором. Сплющивание Земли открывало новые горизонты для астронавтики – теперь можно было запускать корабли с ребра земного диска, так гораздо легче и экономичнее, и он уверен, правительство уже потихоньку бежит. А карту какую угодно можно нарисовать.

Я проснулся поздно в тот день. От подоконника к полу протянулись похожие на клыки сосульки – погода с рассвета опять волновалась, на берег накатывала теплая солнечная волна, за ней приходил заморозок, затем снова солнце. Я нащупал на полу топор и кинул в сосульки, но попал только в левую, она разбилась, и по полу раскатились ледышки. Некоторое время я лежал, раздумывая, стоит ли подниматься. Сегодня я должен был идти в редакцию еженедельника за гонораром и есть мясо, но Масахира позвонил и сказал, что выпуск не разошелся до конца, гонорара нет, но у него есть идеи. Впрочем, о них он намерен переговорить лично.

Пришлось просыпаться.

Я поднялся, погулял по комнате, пнул подвернувшегося краба, выглянул в окно. На крыльце под окном энергично ссорились две старухи. Они жили здесь давно, однако их имен я до сих пор не знал, одна была чуть повыше и свирепее лицом. Высокая старуха кричала про то, что оба ее мужа погибли на Войне, а пособие она получает точно такое же, как низкая старуха, у которой на Войне погиб всего лишь один муж, да и тот горбатый. Низкая старуха отвечала, что мужи высокой старухи были негодными, за таких хоть за пять штук надо одно пособие платить, а ее горбатый был огого. Я подозревал, что они затеяли эту ссору нарочно – на прошлой неделе старухи разбудили меня своей бранью, и я спросонья швырнул в них поленом из прессованных опилок. Старухи замолчали, скоро из труб их печек потянулся дымок. Так что сегодня не будет им полена, пусть хоть заругаются.

Впрочем, старушечья ругань не особо мешала, я устроился на ящике возле окна и стал смотреть на улицу. Старухи вскоре разошлись, улица совсем опустела, ветер гонял вдоль домов снежные змейки, было необычайно тихо, словно на город обрушилась вата. Я расправил листок оберточной бумаги, приготовил карандаш.

Кажется, сегодня собирался странный и необычный день, нет, ничего необычного еще не произошло, однако... Я люблю угадывать дни, когда время запинается, упирается лбом и замирает, словно в раздумьях, куда свернуть, в такие безлюдные дни лучше всего сочиняются стихи, надо лишь немного подождать их в тишине.

Я сидел на ящике и слушал.

Да, раньше не было тишины, мир наполняли звуки, которые не стихали даже ночью. Потом звуков не стало. То есть их осталось немного, или очень далекие, или очень близкие. Шум исчез, и настало лучшее время для стихов. Только их почти перестали сочинять, хотя раньше, судя по всему, сочиняли многие.

Забавно, когда отец узнал, что я сочиняю стихи, он не стал сердиться, наоборот, подарил мне пачку старых тетрадей. И не смеялся, когда я ему читал. А мама хотела, чтобы я стал инженером.

На улице морозно крякнуло дерево, я выглянул в окно и обнаружил, что по улице крадется дровяной вор. У нас на улице уже давно украли все, что можно украсть деревянного, и воры утратили к нашему району интерес, скорее всего, это вор-неудачник, или начинающий расхититель, или просто обычный дурак.

В углу комнаты у меня хранился старый карабин, частенько я, желая услышать настоящий звук в зимнем безмолвии, стрелял из него в воздух. Я дотянулся до карабина, положил на подоконник, открыл крышки прицела.

Дровяной вор.

Я глядел на него и думал, кем бы стал дровяной вор, если бы не Война? Художником или музыкантом. Инженером биологических механизмов. Пилотом внесистемного рейдера, исследователем космической пустоты, ловцом корпускул творения. Великим педагогом, великим хирургом, великим... садовником или энергетиком. Кем бы мог стать я? Наверное, я не стал бы поэтом. Я не увидел бы сияющих течений и прекрасных предрассветных призраков на горизонте и не увидел бы мертвого кита с оранжевым хвостом, печально проплывавшего куда-то по своим мертвым делам.

Я смотрел в прицел. Дровяной вор торопился по улице, стараясь держаться в тени. Приблизившись к моему дому, вор перестал сторожиться

и вышел на середину улицы. На лице у него сияла улыбка, день явно начался удачно, и... Вор увидел меня.

Он остановился, замер и заплакал. Он не боялся, что я выстрелю в него, ему было жаль доску. Я свистнул, вор бросил дерево и побрел прочь, плача и размахивая руками. Подумал, что зря это, пусть бы вор порадовался, мне-то что?

Теперь доска валялась посреди улицы. Старухи не набрасывались, видимо, уснули или умерли, задохнувшись угарным газом возле печек. Я смотрел на доску. Если старухи умерли, то на улице остался я один.

Это про одиночество. От которого не увернуться. Про то, что теперь каждый один на один, и не на кого опереться, путь будет долог, труден, и не все его одолеют, но все равно оглядываться не стоит.

А надежда, пожалуй, есть.

Уложился в две страницы. Доска продолжала валяться, и ее уже до половины замело снегом. Не осталось никого, кто бы смог стянуть доску. Я сложил листок вчетверо и спрятал в карман.

В дверь стали нагло стучать, это явно явился Масахира. Он был уже определенно пьян, но не сильно, что добрый знак – значит, Масахира рассчитывал на вечер.

– Открывай! – бил в дверь Масахира. – У меня хорошие новости! Я договорился!

Замок не выдержал, Масахира ворвался внутрь.

– Смотри, что нашел! – Масахира суну мне в руки доску. – Это к удаче!

И тут же принялся вынюхивать. Разумеется, зная повадки Масахиры, я предусмотрительно спрятал всю оставшуюся еду, а может, я съел ее вчера и забыл. Масахира нашел кошку в банке, и они долго смотрели друг на друга сквозь стекло. Масахира проиграл.

– Мне кажется, у нее лишай. Это ничего, надо просто варить подольше...

Кошка зашипела.

– Но я не об этом. Тут один пианист умер.

Масахира стал дразнить кошку, выпучивая глаз, кошка не пугалась.

– Какая наглая кошка, просто удивительное... в своей наглости существо.

Я отобрал банку с кошкой, поставил повыше.

– Вот и я говорю, – сказал Масахира. – Одни...

Масахира подмигнул кошке, та брезгливо отвернулась.

– ... одни энтузиасты открыли ресторан в здании старого телеграфа...

или кафе, вернее...

– Кафе?

– Кафе. Разрешено открывать кафе, рестораны и столовые, в старом телеграфе открылся «Зуб водяного», у меня там знакомая повариха.

– У меня нет талонов, – перебил я. – У меня кончились талоны еще в прошлом месяце...

Масахира ухмыльнулся.

– Талоны я достану, – заверил он, – через пару дней, но не в этом дело. Я же говорю – там помер пианист!

Это Масахира сообщил с непонятым удовольствием. Музыкантов немного в наши дни, жаль музыканта. Их собрали со всего севера, поселили в ангаре возле брошенных доков и кое-как кормили, чтобы совсем не поывелись, и пристраивали на кормление, кого на вокзалы, кого в госпитали, кого по площадям распределили. Пианиста отправили в «Зуб», он играл там на старинном фортепиано и питался при кухне, однако вчера вечером почувствовал себя плохо и помер, не поднимаясь с места.

– Я не умею на пианино, – сказал я.

– Тебе и не понадобится на пианино, ты будешь читать стихи.

– Кому нужны стихи?

– Да какая разница?! Нужен шум, звук, тишина пугает людей и отбивает аппетит. Так что стихи пойдут. Прочитаешь что-нибудь с кривляньем, а нас накормят. Ты когда последний раз ел?

Это было мудрое замечание, есть надо чаще.

– Уже опухать начал. – Масахира нюхал воздух, настырно пытаясь найти съедобное. – Надо питаться хоть иногда горячей едой. Дотянем до весны, а там поднимемся. У меня есть надежды... Чего сидишь? Пора идти!

Масахира схватил меня за руку и поволок из дома, погрозив напоследок кошке когтистым мизинцем, отчего меня накрыло необычайно мощное дежавю. Я почувствовал, что видел это. Голодного человека, кошку, страх и снег, в год светозарных надежд, видел.

Или увижу еще.

Мой друг Масахира.

Мы шагали в сторону центра. На улицах постепенно появлялись горожане. Угольщики, собиратели золы, городские бродяги, продавцы жареного теста, краболовы, прочие люди, идущие в город, чтобы найти еду и работу.

Масахира веселился. Он бил доской по стенам и радовался, когда с них падал подтаявший снег, а если этот снег попадал в прохожих, Масахира

смеялся еще громче.

На солнечном углу он купил у торговки свечку из китового жира, проверил ее счетчиком и поморщился – свечка фонила. Масахира собирался свечку выкинуть, но потом ему пришла идея. Он зажег свечку и стал лупить доской по спинам разносчиков угля. А когда те вздрагивали и оборачивались, хохотал и кричал, что хотел встретить человека, а не угольную крысу. Так мы и добрались до «Зуба водяного».

Он действительно располагался в здании старого телеграфа, которое всегда пустовало, во всяком случае, сколько я его помнил. Теперь все поменялось. В здании горел свет, над входом зеленым полыхала газовая вывеска, пахло жареным луком и лапшой. У нас с Масахирой дружно забурчали животы.

– Я договорился, ты выступаешь по четвергам.

– Сегодня разве четверг?

Масахира пожал плечами и заметил, что сегодня устроили пробный вечер – если дело пойдет, то едой каждый четверг мы обеспечены, кроме того, он надеется выносить как минимум четыре порции.

– А если им не понравится?

– В этот район выселили студентов и преподавателей Университета, – сообщил Масахира. – У них культурные запросы выше, им понравится. К тому же здесь типографии, там тоже грамотные люди работают. Надо только расклеить афишки.

Мы вошли в «Зуб». Хозяин ресторана посмотрел на меня с сомнением, но все-таки выдал ведро с клейстером и пачку афиш, перерисованных из старинной рекламы телевизоров, афиши зазывали на вечер культуры и горячего супа. Культуру обеспечивал мертвый пианист, а в отсутствие его я – Масахира добавлял к имени пианиста «усопший», а снизу подписывал про меня: «Синкай, лауреат премии Акутагавы». Вранье, конечно. Но Масахиру это чрезвычайно забавляло, а мне было все равно, обещали кормить.

Так мы оклеили несколько кварталов в районе южного предместья, афиши и клей закончились, мы возвращались в «Зуб» переулками и вдруг вышли на улицу, сохранившуюся в неприкосновенности еще с начала прошлого века. Раньше она вела к сгоревшему театру, сейчас к пустырю, заросшему помойкой.

Улица была неожиданно многолюдной. На левой, солнечной, стороне расположились продавцы разнообразной старины, нужной и ненужной. Мы шагали вдоль рядов стоптанной обуви, радиоактивной военной амуниции, портативных компьютеров, по уверению продавцов, остававшихся в

рабочем состоянии, самодельных свечей, краболовок, книг, лапшерезок, собачьих ошейников и миллионов других вещей. Масахира перестал веселиться и разглядывал барахло. Меня оно не очень интересовало, я уже купил летный комбинезон и вполне еще ноские ботинки.

Человек продавал журналы, открытки, газеты и шкатулки. Старые, выцветшие, ветхие. Иногда мы покупали такие журналы и газеты, чтобы делать из них сатирические коллажи или оклеивать для тепла стены. Но сейчас Масахира разглядывал фотографии.

Масахира одержим наследием. Он не знает своих родителей, вырос в приюте, фамилию ему придумали перебором слогов, и от этого считает себя невыносимо второсортным. Поэтому Масахира конструирует свое прошлое сам, за взятку в архиве ему выписали приличную родословную, и теперь он заполняет ее купленными на рынке материальными свидетельствами: зазубренной саблей, принадлежавший его пращуру, жившему еще до первой Реставрации, фотографиями и письмами на желтой бумаге, костяной доской для го, спасенной предком Масахиры в Дни Огня. И еще каким-то старинным барахлом. Когда жизнь наладится, Масахира расставит все это по углам дома, приведет в него красавицу с юга и будет рассказывать детям о блистательном прошлом. Мою книгу Масахира приобрел в двенадцати экземплярах в надежде, что в будущем первое издание принесет ему благополучие и уважение. На первой странице он попросил, чтобы я подписал: «Моему другу Масахире».

Продавец не хотел уступать, Масахира нервничал и ругался, а потом совершил хитрый ход – добавил к обмену доску и забрал фотографии. На фотографиях свирепо хмурились в объектив бравые летчики в белых шарфах, Масахира был доволен, приосанился.

Афиши кончились, клей кончился, стало темнеть и холодать, мы отправились в «Зуб водяного», рассчитывая на горячее.

Кафе уже открылось для посетителей, но самих посетителей пока не набралось. Мы прошли на кухню. Здесь пахло имбирем, пекли печенье и что-то готовили. Масахира позвал повара, и через пять минут мы уже ели яичницу из порошка и пили эрзац-кофе, Масахира же еще и пригублял из зеленого четырехгранного флакона с длинным горлышком.

Скоро настроение Масахиры улучшилось, и он уже рассказывал о планах, роняя на брюки комочки яичницы и ловко подбирая их пальцами в рот. Недавно Масахире посчастливилось – он выиграл в кости старинный мобильный телефон, и этот телефон оказался в рабочем состоянии, что большая редкость. В памяти телефона нашлось множество изображений прежнего мира: ландшафты, милые животные, автомобили и мотоциклы,

веселые красавицы на пляжах и вкусная еда на тарелках. И теперь Масахира намеревался купить патент и издавать открытки, на Северных Территориях на них огромный спрос. Я предполагал, что это вряд ли возможно – ни бумаги, ни краски, ни свободной типографии сейчас не найти, я-то знаю. Но Масахира утверждал, что все решается, главное – хотеть.

– У меня есть человек, он может все устроить – и печать, и переправу. Но ему нужно показать товар. Вот что я предлагаю...

Надо взять мою книгу, обрезать бумагу по краям страниц – все равно стихи только посредине – и на этой бумаге напечатать открытки, небольшие, но красивые. Бумага отличная, из нее получатся великолепные блестящие открытки...

У меня заболела голова. Масахира явно перебрал сегодня, слушать его открыточный бред было утомительно, я взял с плиты чайник и отправился в зал.

Здесь оказалось неожиданно многолюдно, пока мы с Масахирой ели на кухне яичницу, в кафе собралось изрядное число людей, наверное, из-за погоды. Да, с моря задувал ледяной ветер и периодически сыпался снег с неба, в зале сидели семнадцать человек, я пересчитал их из кухни. А может, из-за чая набрались. Официант разносил по залу чайники, сегодня можно было заказать чайник и дальше доливать сколько угодно кипятка. Я устроился за столиком перед сценой и выложил на стол книги. Десять штук. Дома в цинковом ящике хранилось еще сорок. Я открыл книжку.

Масахира схватил за руку хозяина ресторана, притащил его ко мне и предлагал отличный план – посетителям, купившим пять банок пива, предлагать в подарок книгу стихов, автор ничего против не имеет, особенно если завтра самого автора и его лучшего друга накормят обедом.

Автор ничего против не имел. Из подсобки показался повар, он протиснулся в дверь спиной и вытащил за собой пурпурное пианино. Хозяин и Масахира попросили после каждого стихотворения брякать на клавишах что-нибудь ободряющее и улыбаться. Автор согласился.

Я прочитал первое стихотворение.

Я не люблю читать вслух. Стихи, произнесенные с бумаги, теряют половину, а то и больше, но людям лень читать глазами, им удобнее слушать. На крыше пианино остался след, видимо, вчерашний пианист приложился здесь лбом, это меня ничуть не смутило, закончив стихотворение, я подошел к фортепиано. Играть я не умел, поэтому просто растопырил пошире пальцы на правой руке и брякнул по клавишам. Пианино издало дребезжащий звук, тут уж все на автора посмотрели.

Масахира картинно захлопал в ладоши.

А я приступил ко второму стихотворению, решил читать по очереди, не мудрить. На середине дверь в «Зуб водяного» открылась, и появились новые посетители, странные для этого места, – женщина лет тридцати пяти и девушка, пожалуй, старшеклассница. Обе из верхнего города, это сразу видно. Кажется, они замерзли, поэтому и заглянули, устроились у стены, с краю. Заказали чай с пряниками. Я начал читать третье стихотворение, на этот раз громче, чтобы было лучше слышно.

Третье стихотворение в сборнике мне не очень удалось, цветистое слишком, но я знал, как его прочитать хорошо.

Странная девушка, по-настоящему странная. Синие глаза, настолько, что мне показалось, что она носит линзы с подсветкой. У ее матери были похожие глаза, однако не такие... лучистые, что ли, если в них и плескалось когда-то море, то уже давно пересохло.

Я читал стихи. Думаю, я их хорошо читал, лучше, чем обычно, хотя обычно... обычно я их читаю себе, кошке или крабам, когда кошка в паршивом настроении неделю прячется на чердаке. Старухам, когда они спят на лавке. Иногда я читал их в Университете, раз в месяц, когда там собирались любители литературы. Они смотрели на меня с уважением, у меня была настоящая книга, бумажная, в настоящей обложке.

А она слушала меня.

Я читал, перелистывая страницы, забыв брякать на пианино, Масахира брякал за меня, а потом тоже забыл. Пожалуй, в тот вечер я читал действительно хорошо, некоторые посетители отвлеклись от тарелок и слушали.

Я прочитал полкниги, мне похлопали, она тоже старомодно хлопала в ладоши и улыбалась. Официант принес горячий чайник, я отодвинул книжку, налил чаю, стал пить.

Она и ее мама подошли.

– Вы с детства хотели стать поэтом? – спросила она.

– Кажется, да.

Ее мама вежливо протянула деньги за две книги и попросила подписать каждую.

Имя у нее оказалось тоже странное, хотя и красивое, я сразу вспомнил, откуда оно.

– А вы кем хотите быть? – спросил я в ответ.

Девушка пожала плечами:

– Не знаю пока. У меня еще время есть. А вы будете еще читать стихи? Я собрался дочитать вторую половину книги, но официант сказал, что

пора заканчивать, посетители могут заскучать, еще одно стихотворение, не больше.

– Давай из нового! – выкрикнул пьяный Масахира. – Чтоб зашло!

Я достал листок. Я еще не успел его хорошо запомнить и поэтому читал по бумажке, хотя я, если честно, люблю по бумажке, это совсем другое, нежели по книге.

Масахира фальшиво, но буйно сыграл вступление из марша Белых Торпедоносцев. Все посмотрели на нас.

Я прочитал стихотворение.

Я его не очень хорошо прочитал, плохо, кажется, я все-таки ожег язык и теперь слегка присвистывал. Меня никто уже не слушал, только она и ее мать.

– А это стихотворение в книжке есть? – спросила она. – Про будущее и единорога?

– Нет, – ответил я. – Я его только сегодня сочинил.

– Можно я перепишу?

Я сунул руку в карман, достал листок и протянул ей. Она взяла листок и спрятала в книгу. Ее мама засмушалась и стала предлагать заплатить за листок отдельно, но я отказался. Масахира бил по клавишам пианино и топал ногами.

– Вы очень хороший поэт, – сказала ее мама. – Возможно, лучший из нынешних.

– Спасибо, – кивнул я.

– До свиданья. – Ее мама улыбнулась и направилась к выходу.

Масахира сломал пианино. Публика развеселилась, кто-то свистнул.

– Уже поздно, – сказал я. – Время позднее. Вам, кажется, пора.

– Я хочу увидеть будущее, – сказала она.

– Я тоже, – сказал я.

Это правда, я хотел бы увидеть будущее. Масахира стучал кулаком, пианино отвечало болезненными звуками.

Она кивнула. Мама вернулась, взяла ее за руку, они ушли. Некоторое время я не понимал. Так случается, что-то происходит, важное, главное, а ты понимаешь только через минуту.

В дверь кафе ввалилась компания. Да, было уже поздно, в порту заканчивалась смена, и в кафе заходили портовые рабочие. Начинало холодать. Печки не справлялись, рабочие заказывали больше водки и горячего супа. Ко мне приблизился худой взлохмаченный старик с желтыми ногтями. Он поздоровался и высказал критические замечания. Стихи ему не очень понравились, отмечался явный доминат образной системы над

формой.

Я не стал спорить.

– Последнее понравилось, – сказал старик. – Последнее мне понравилось. Я бы вот что порекомендовал...

– Мне пора идти. – Я вежливо поддержал старика за локоть, рассовал по карманам книги и поспешил на улицу.

Пьяный Масахира показывал печальной женщине с длинным лицом купленные фотографии и рассказывал про свой род, имевший фамилию еще до Революции Мэйдзи.

На воздухе действительно сильно похолодало, я вдохнул и замерз, на секунду пожалев, что не остался в «Зубе водяного». Посмотрел по сторонам. Я не успел заметить, куда они направились, но решил, что вряд ли вниз в сторону порта и полузаброшенных кварталов, они, конечно, отправились домой, вверх, я отправился за ними.

Я должен был ей сказать. Я понял, что забыл ей сказать.

Чем выше я поднимался в город, тем больше заполнялись прохожими улицы, и публика встречалась уже в основном приличная, одетая хорошо и утепленно, сытая и со спокойными взглядами, и некоторые встречные улыбались просто так, из дружелюбия. Я старался глядеть повыше, чтобы заметить их, ведь я ей должен был непременно рассказать.

Про будущее. Что она его обязательно увидит. И что там будет лучше, чем здесь.

Я шагал по освещенным, относительно чистым и красивым улицам и никак не мог увидеть тех, кого искал. Небо поднялось из воды серой ватой, провисло над хрупкими крышами и сыпало сухим разноцветным снегом.

Наверное, я все-таки свернул не туда, и мы разминулись в зиме светозарного поворота, потерялись в золотых фонарях и косых проулках, во льду и в снегу голодного года и прекрасного дня лучшего моего стихотворения.

Мы обязательно встретимся. Там, у ворот эдемского сада. Будущее. Я не сомневался: там лучше, чем здесь.

Table of Contents

[Эдуард Веркин Остров Сахалин](#)

[Итуруп](#)

[Монерон](#)

[Холмск](#)

[Показания Артема](#)

[Углегорск](#)

[Александровск](#)

[Тымь](#)

[Поронай](#)

[Показания Артема](#)

[Гастелло – Долинск](#)

[Южный](#)

[Ловецкий перевал](#)

[Невельск](#)

[Горнозаводск](#)

[Показания Артема](#)

[Крильон](#)

[Деусу](#)

[Эпилог](#)